

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК  
ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ

Ю. И. АЛЕКСАНДРОВ, Н. Л. АЛЕКСАНДРОВА

**СУБЪЕКТИВНЫЙ ОПЫТ,  
КУЛЬТУРА  
И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ**



Издательство  
«Институт психологии РАН»  
Москва – 2009

УДК 159.9  
ББК 88  
А 46

Александров Ю. И., Александрова Н. Л.

**А 46** Субъективный опыт, культура и социальные представления. – М.: Изд-во Институт психологии РАН, 2009. – 320 с.

ISBN 978-5-9270-0149-1

УДК 159.9  
ББК 88

В монографии сопоставляются системные структуры и динамика субъективного опыта и культуры. Обсуждаются закономерности формирования субъективного опыта в культуре. Рассматриваются проблемы ген-культурной коэволюции. Предлагается системное понимание языка как инструмента отчета о достигнутых индивидуальных результатах в терминах «оценивающего» социума. Анализируется соотношение сознания и эмоций, а также морали и закона как характеристик систем разного уровня дифференцированности, составляющих структуры субъективного опыта и культуры. Описаны результаты экспериментальных исследований, демонстрирующие динамику и одновременно стабильность социальных представлений об интеллектуальной личности в период социально-экономических изменений в России. Обнаруженная в результате кросс-культурного анализа специфика этих социальных представлений связывается с особенностями культуры России.

*Исследования, результаты, которых представлены в настоящем издании, поддержаны РГНФ (№ 99-06-00 251а, 00-06-00 080а, 05-06-06 055а, 08-06-00 250а), РФФИ (№ 05-06-80 357), Московским отделением Российского научного фонда (РНФ) при содействии Фонда Форда, Советом по грантам Президента Российской Федерации ведущим научным школам Российской Федерации (№ НШ – 4455.2006.6.; НШ – 602.2008.6).*

© Институт психологии Российской академии наук, 2009

ISBN 978-5-9270-0149-1

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>Введение</b>	5
<b>Глава 1. СИСТЕМНАЯ СТРУКТУРА СУБЪЕКТИВНОГО ОПЫТА</b>	16
<b>Глава 2. ФОРМИРОВАНИЕ СУБЪЕКТИВНОГО ОПЫТА В КУЛЬТУРЕ</b>	21
<b>Глава 3. СИСТЕМНАЯ СТРУКТУРА КУЛЬТУРЫ</b>	26
Определение культуры	41
Культурная специализация индивидов и комплементарность их геномов	48
Культура как набор эффордансов	61
<b>Глава 4. АНАЛОГИИ МЕЖДУ СИСТЕМНЫМИ СТРУКТУРАМИ СУБЪЕКТИВНОГО ОПЫТА И КУЛЬТУРЫ</b>	66
<b>Глава 5. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ УМНОМ ЧЕЛОВЕКЕ</b>	77
<b>Глава 6. ОТ ЭМОЦИЙ К СОЗНАНИЮ И ОТ МОРАЛИ К ЗАКОНУ</b>	141
Единая концепция сознания и эмоций	141
От эмоций к сознанию	159
От морали к закону	164
<b>Глава 7. СТАБИЛЬНОСТЬ И ДИНАМИКА СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ В МЕНЯЮЩЕМСЯ ОБЩЕСТВЕ</b>	223
<b>Заключение</b>	271
<b>Литература</b>	278

## ВВЕДЕНИЕ

**В** настоящий момент понятие «культура» еще не приобрело статуса категории, принятой в психологии, хотя необходимость его использования психологи отчетливо осознают и подчеркивают, что «культурное» шире, чем «социальное»; культурное включает, например, этническое, историческое своеобразие (Гусельцева, 2006). В настоящей работе мы проанализируем и сравним системные структуры субъективного опыта и культуры, рассмотрим их динамику и взаимозависимость с единых методологических позиций. Используя идеи системности и развития для проведения этого анализа, мы исходим из того, что системно-эволюционная парадигма, оперирующая представлениями об «исторически развивающихся системах», может рассматриваться в качестве междисциплинарной и отвечает «современным тенденциям синтеза научных знаний... на основе принципов универсального эволюционизма, объединяющих в единое целое идеи системного и эволюционного подходов» (Степин, Кузнецова, 1994, с. 196; см. также: Абульханова и др., 1996; Анохин К. В., 2006; Анохин П. К., 1975; Александров И. О., 2006; Александров, 1989; Александров, Дружинин, 1998; Александров и др., 1999; Александров, Крылов, 2005; Брушлинский, Сергиенко, 1998; Сергиенко, 2006; Степин, 1991; Швырков, 2006; Alexandrov et al., 2000; и др.).

Как нам представляется, результаты подобного анализа могут способствовать дальнейшему развитию того направления психологического (в том числе и психофизиологического) исследования, которое принимает необходимость учета представления о культуре для понимания психического. Оно может иметь значение и для анализа соотношения психического и социального, а значит, позволит продвинуться на пути разработки актуальной «психосоциальной проблемы» (Абульханова, 1994; Журавлев, 2003). Причем поскольку здесь будут привлечены и психофизиологические знания, разработка этой проблемы окажется связанной с результатами, полученными при исследовании естественнонаучных основ психики.

Если согласиться с хорошо обоснованным представлением о том:

- что разработка проблемы развития не может быть эффективна при ограничении исследования «каким-то одним доменом или уровнем развивающейся системы, будь то гены, физиология... социальные факторы или культура» (Lickliter, 2000, p. 330);
- что встреча психологии и культурологии на пути междисциплинарного синтеза помогает психологии избежать узости взгляда на указанную проблему (Гусельцева, 2006);
- что сочетание нейронаук с социальной и когнитивной психологией позволяет идти гораздо дальше, чем это может сделать каждая из дисциплин по отдельности, способствуя, в частности, возникновению «социальной когнитивной нейронауки» (Lieberman, 2000, p. 127, 128; см. также о формировании «нейроэкономики» на стыке нейронаук, психологии и экономики: Glimcher, Rustichini, 2004; о формировании нового направления в исследовании морали методами когнитивной нейронауки на стыке нейронаук, социологии, психологии, этики и культурологии: Moll et al., 2002; см. также о «нейроэтике»: Agnati et al., 2007), и, наконец, что задача психологической науки состоит в интеграции знаний, получаемых на всех этих уровнях (Абульханова и др., 1996; Журавлев, 2003; Ломов, 2003; Швырков, 2006; и др.),

то можно надеяться, что подобный подход окажется весьма полезным в разработке указанной проблемы.

В то же время предполагается, что контакт психологии и культурологии помогает последней избежать «психологического дилетантизма» в интерпретации закономерностей развития личности (Гусельцева, 2006, с. 14). Кроме того, логично полагать, что рассмотреть «личность как культурную сущность – значит подвести, по крайней мере, часть психологической теории под теорию культуры» (Марголис, 1986, с. 317). Можно надеяться, следовательно, что решение этой задачи окажется полезным также и для развития областей науки, в фокусе внимания которых находятся общественные отношения, общественное знание и культура.

Мы полагаем, что эффективным инструментом для реализации эмпирического компонента такого анализа может служить исследование социальных представлений. В этой книге будут проанализированы результаты исследования имплицитных представлений об интеллектуальной личности в России в сопоставлении

с результатами, полученными при изучении этих представлений в других странах, особенности культуры которых имеют как сходные, так и различные с Россией характеристики. Специальное внимание будет уделено описанию результатов, демонстрирующих динамику имплицитных представлений в период социально-экономических изменений в России.

Какие аргументы имеются в пользу того, что изучение социальных представлений действительно 1) может способствовать пониманию связи структур субъективного опыта и культуры и 2) вписывается в системную парадигму работы в целом? Социальные представления не являются лишь суммой индивидуальных знаний. Они есть «социальный семиотический конструкт» – инструмент, обеспечивающий совместное действие индивидов, принадлежащих к данной культуре (Raudsepp, 2005). В качестве одного из главных препятствий на пути понимания сути концепции социальных представлений рассматривается недоучет того, что стержнем последних является динамическое взаимоотношение индивидуального и социальной структуры (Voelklein, Howarth, 2005; Wagner, 1995). Социальные представления отражают социальные процессы, в которые включены индивиды; при этом индивидуальные знания оказываются с необходимостью социальными (Moscovici, 2001). Д. Жодле подчеркивает, что «социальное представление лежит на границе между психологическим и социальным... это ментальная деятельность индивидов и групп» (2007, с. 375). Таким образом, анализ социальных представлений не просто имеет отношение к индивиду и культуре, но и обязательно к соотношению структур опыта индивида и культуры, в которой опыт формируется, к пониманию связи между ними.

Обосновывая целесообразность использования эмпирических исследований социальных представлений в качестве инструмента анализа соотношения между структурами субъективного опыта и культуры, отметим, что эти исследования имеют также и самостоятельное значение. Кросс-культурное сопоставление социальных представлений, в частности, представлений об интеллектуальной личности, и анализ их модификаций в связи с изменениями общественного устройства существен не только для развития собственно науки (психологии, социологии, культурологии), заинтересованной в понимании состава, вариативности, культурной специфичности и динамики обыденного знания, но и опосредованно для формирования самого этого знания. Именно от содержания последнего

в немалой степени зависит эффективность индивидуальной (коллективной) деятельности и выживание социума (Московичи, 1995а, б).

Что касается соответствия теории социальных представлений системной парадигме, подчеркнем, что эта теория совершенно не случайно имела особый успех именно у отечественных психологов. Он связан со свойственным ей «системным», «холистическим» подходом к построению культурных моделей психического, который в большой мере соответствует традициям отечественной психологии, чем редуccionистским западным традициям (Raudsepp, 2005, p. 456). В связи с тем, что системный подход является методологическим основанием нашей работы, остановимся на этом моменте подробнее.

Не подвергается сомнению тот факт, что история, культура, общественное устройство, философские воззрения в разных странах имеют свою специфику (см., напр.: Астафьев, 1996; История Этических учений, 2003). Естественно, и наука, являющаяся частью культуры и включающая культуроспецифичное обыденное знание, обладает наряду с инвариантными характеристиками, отражающими ее мировой характер, определенными национальными (культурно обусловленными) особенностями (Абелев, 2006; Аллахвердян и др., 1998; Астафьев, 1996; Гачев, 1992; Грэхэм, 1991; Ильин, 1992; Моссе, 2003; Роуз, 1995; Слобин, 2004; Уорф, 1960; Флоренский, 1990б; Шишкин, 2006; Юревич, 2000; Gavin, Blakeley, 1976; Graham, Kantor, 2006; Das, 1994; Lewontin, Levins, 1980; Nosulenko et al., 2005; Peng et al., 2001; de Waal, 1996). Причем возможно, что чем «мягче» наука, тем больше выражены указанные особенности (Yrevich, 2007).

Говоря о культурной обусловленности, мы подчеркиваем лишь *специфику наук, принадлежащих к разным культурам*, но не имеем в виду утверждения линейной причинной связи культура – наука, которую, как полагают (Graham, Kantor, 2006), невозможно установить. Выявляющий эту связь истинный эксперимент не стоит здесь даже пытаться планировать. Наука сама является компонентом культуры. Причем границы, отделяющие ее от других компонентов, размыты.

Показано, что люди, принадлежащие к разным культурам, используют разные стратегии решения математических задач и что эти решения обеспечиваются существенно разной мозговой активностью (Cantlon, Brannon, 2007; Campbell, Xue, 2001; Tang et al., 2006). Приведены аргументы в пользу того, что «теоретики,

работающие в разных традициях и в разных странах, будут приходить к теориям, которые, соответствуя всем известным фактам, тем не менее взаимно несовместимы» (Фейрабенд, 1986, с. 54, 55).

Выраженные особенности есть и у российской науки (Мироненко, 2007; Юревич, 2000). К важнейшим из них, как мы полагаем, могут быть отнесены «системность» и «антиредуccionизм» (Александров, 2005б, 2006а). По-видимому, с этими особенностями связано появление «Тектологии» А. А. Богданова (1913–1917) в то время, когда создателю общей теории систем Людвигу фон Берталанфи было всего 12 лет, или разработка П. К. Анохиным «теории функциональной системы, опередившей на много лет формулировку основных кибернетических закономерностей, данную Норбертом Винером, и возникшее недавно движение за системный подход в биологии» (Анохин, 1990а, с. 220).

Н. Винер и сам признавал приоритет теории функциональных систем (Анохин, 1990б). Что же касается фон Берталанфи, «у многих ученых вызывает недоумение, как Л. Фон Берталанфи, размышляя в 40-е годы над системными проблемами, смог пропустить немецкое издание «Тектологии» А. А. Богданова, опубликованное в 1926 г., и впоследствии во всех своих работах ни разу не упомянуть имени Богданова» (Рыков, 2005, с. 8). Не было ли это игнорирование проявлением европейской версии американского синдрома, который С. Роуз точно определил как «*Изобретено не здесь?*» «Эта формулировка символизирует род научного шовинизма, склонности игнорировать или преуменьшать ценность всего, что делается за пределами США» (Роуз, 1995, с. 265). Отметим, правда, что с 1949 г. Берталанфи постоянно проживал в США и Канаде. И все же, по-видимому, подобная версия существует, в пользу чего можно привести много аргументов, например, такое недавнее утверждение: «На *первом этапе* существования теории систем в 1950–1960-х годах системный анализ находился в значительной степени под влиянием работ Людвиг фон Берталанфи», – пишет итальянский исследователь D. Tosini (2006, p. 540; курсив наш. – Ю. А., Н. А.). Заметим, на самом деле к указанному автором периоду прошло около 40 лет (более 20, если иметь в виду немецкое издание) с момента публикации книг Богданова и минимум 15 лет с момента формулировки идеи теории функциональных систем, а к моменту публикации статьи D. Tosini – более 20 лет с момента издания и английского перевода книги Анохина в Pergamon

Press (Anokhin, 1973); было также опубликовано много статей в международных журналах с соответствующими ключевыми словами. В этих публикациях без труда можно было обнаружить все указанные датировки. Идеи Анохина хотя бы *формально* можно отнести к «специализированным теориям систем» в отличие от таковых Берталанфи, которые можно классифицировать как «общую теорию систем» – метатеорию (см.: Садовский, 1974), и тем объяснить упомянутое выше утверждение Tosini как относящееся лишь к общим теориям. Что касается Богданова, и такое «объяснение» не проходит. Но никаким «шовинизмом» не объяснить, как было возможно в 1976 г., т. е. примерно через 30 лет после формулировки идеи теории функциональных систем, на протяжении которых эта теория интенсивно разрабатывалась, а также при том, что системные направления исследований развивались в нашей стране и в других областях науки, таких, например, как философия и психология, писать, отметив заслуги Берталанфи, что за рубежом, *но не у нас* системному подходу уделяется большое внимание и имеются весьма плодотворные направления исследований (Медников, 2005). Если предположить, что информированный автор таким образом просто пытался привлечь внимание к системному подходу, то подобная тактика представляется весьма сомнительной. Примерно в то же время В. Н. Садовский (1974) действовал иначе: характеризуя интенсивное развитие системного подхода в конкретных дисциплинах, он цитирует работы П. К. Анохина, Н. А. Бернштейна, Н. И. Шмальгаузена, В. А. Энгельгардта, А. А. Малиновского, Г. П. Щедровицкого, Л. С. Выготского и др.

В то же время доминирование механицизма и редукционизма (связываемого с картезианством) в науках о природе и обществе считается особенно характерным именно для западной науки (Lewontin, Levins, 1980; de Waal, 1996; Graham, Kantor, 2006; и др.). Конечно, антиредукционистские идеи могут формулироваться не только в России:

*Живой предмет желая изучить,  
Чтоб ясное о нем познание получить, –  
Ученый прежде душу изгоняет,  
Затем предмет на части расчленяет  
И видит их, да жаль: духовная их связь  
Тем временем исчезла, унеслась!*

Эти знаменитые строки нельзя объяснить русской ментальностью автора – они принадлежат Гёте. Скорее, они могут быть связаны с идеями немецкой философии, среди творцов которой были друзья и корреспонденты Гёте, которые рассматривали системность как принципиальную характеристику познания, а знание как систему. Эти идеи, несомненно, оказали значительнейшее влияние и на нашу науку. Видимо, именно особенности культуры России, о которых будет сказано ниже, обусловили то, что «немецкая мысль и литература того времени *нигде* не имели столь глубокого и мощного отклика, как в России» (Кожин, 2002, с. 128).

Подчеркнем, что восстание против механицизма, «исключительно заповолившее мысль Запада» (Астафьев, 1996, с. 101), «бунт против картезианства – основы и символа западного мышления – состоялся именно в России» (Gavin, Blakeley, 1976, p. 101). И именно «в истории русской и советской мысли имеет глубокие корни антиредукционистский подход», – считает Л. Р. Грэхэм (1991, с. 102).

Заметим, что Л. Р. Грэхэм противопоставляет западный картезианский редукционизм не только русской, но и советской теоретической мысли. С. Роуз также сравнивает «редукционизм англо-американской школы» с более перспективными традициями исследований в Советском Союзе, в соответствии с которыми считается, что поведение несводимо к простой цепи сочетаний реакций с подкреплением; оно отражает целенаправленную активность, формулировку гипотез и многое другое (Роуз, 1995; с. 264, 265). Причем именно «в советской *психологии и физиологии*, как ни в одной из наук<sup>\*</sup>, существует особая русская традиция интерпретации исследований» (Грэхэм, 1991; с. 163; курсив наш. – Ю. А., Н. А.). Отмечая стабильность указанной характеристики науки в нашей стране, рассмотрим ее как первое указание на то, что, видимо, связанные с данной характеристикой особенности культуры России сохраняются даже при таких радикальных социально-экономических изменениях, которые имели место после 1917 г.

Из сказанного выше следует, что мы, как, очевидно, и другие авторы, говоря о «западной» науке, не имеем в виду гомогенность Запада, даже если привлекаем к рассмотрению одну из множества характеристик одного из множества компонентов культуры. Кроме

\* Здесь имеются в виду следующие науки: биология развития, генетика, социобиология, социология, кибернетика, информатика, химия, физика, космология.

того, при сопоставлении подразумеваем относительность, а не абсолютный характер различий. Возьмем, например, сравнение особенностей немецкой и американской психологии, результаты которого согласуются и с тезисом о негомогенности, и с представлением о системности как существенной характеристике наук России и Германии. Подобное сравнение приводило (Watson, 1934) и приводит (Toomela, 2007) авторов к выводу о более выраженном холизме и системности первой и редукционизме второй. А. Toomela (2007) относит к европейскому холистическому направлению и Россию.

М. Поповский (1978) замечает, что, когда говорят о советской науке, иностранцы иронически улыбаются, потому что для них прописной истиной является утверждение, что есть лишь одна наука – мировая. Мы полагаем, что улыбаются в подобной ситуации отнюдь не только иностранцы, эта ирония – вовсе не показатель профессионализма и глубины понимания проблемы, а наоборот, свидетельство того, что анализ поверхностен и основан на использовании штампов – «прописных истин». Свидетельство непонимания того, что национальное своеобразие наук – принципиальная характеристика и ценность мировой науки (подробнее см. главу III).

Для удобства ознакомления с книгой ниже кратко излагается содержание ее глав.

В главе 1 описывается системная структура субъективного опыта. Рассматриваются закономерности формирования этой структуры в процессах системогенеза, дается определение ее элемента и единицы.

В главе 2 приводятся аргументы в пользу необходимости учета культурной обусловленности субъективного опыта. Указывается, что игнорирование этой обусловленности ведет к «когнитивному солипсизму». Обсуждается проблематичность деления «психических функций» на низшие – «природные» и высшие – «культурные», возможность существования культуры в сообществах животных.

В главе 3 рассматривается системная структура культуры. Для того чтобы проанализировать развертывание поведения и оценку его результатов *в культуре*, рассматриваются социальность сознания и действия. Результаты этого анализа используются для последующей формулировки представления о языке как инструменте отчета обществу о достигнутых результатах индивидуального поведения. Обсуждаются особенности отчета на довербальных стадиях индивидуального развития. Отмечается скрытый характер

социального принуждения. Проведенное в главе предварительное обсуждение позволяет после сопоставления различных типов понимания культуры сформулировать ее системное определение, выделить ее элементы и единицы. С позиций системного понимания культуры обсуждается феномен культурной специализации индивидов, ее мозговые основы. Вводится и обосновывается понятие культурной комплементарности геномов. Эволюция индивидов в культуре рассматривается как ген-культурная коэволюция, включающая, возможно, определенные формы культурно обусловленного отбора. Приводятся аргументы в пользу того, что создание новых единиц культуры, как и их оценка, осуществляется индивидом, но опосредуется обществом. Противопоставляется взгляды на культуру и социальные представления с позиций концепции стимул-реакция и с позиций парадигмы активности.

В главе 4 на основе результатов проведенного в предыдущих главах обсуждения и с привлечением материала биологических, психологических, культурологических, исторических и др. исследований формулируется ряд общих принципов структурной организации, формирования и актуализации культуры и субъективного опыта.

В главе 5 отмечается, что в соответствии с аргументами, приведенными во введении, анализ социальных представлений может быть рассмотрен в качестве дополнительного инструмента для разработки представлений о соотношении системной структуры субъективного опыта и культуры. В начале главы проводится сопоставление научного и обыденного знания, к последнему относятся имплицитные представления об умном человеке. Обсуждается соотношение научного и обыденного знания, а также значение кросс-культурного анализа социальных представлений. В рамках этой дискуссии специально сопоставляются методы и функции религиозного и собственно научного познания. На основе данных литературы сравнивается содержание имплицитных и эксплицитных концепций интеллекта. Обосновывается важность кросс-культурных исследований имплицитных концепций. Подчеркивается недостаточность эмпирической разработки проблем специфики русской ментальности, которые были предметом либо вненаучного, либо сугубо теоретического анализа. Описываются результаты собственных эмпирических исследований имплицитных представлений об интеллектуальной личности в России, а также осуществляется их сопоставление с данными, полученными при изучении этих

представлений в других странах, особенности культуры которых имеют как сходные, так и различные характеристики. С привлечением значительного объема литературы рассматриваются особенности культуры России, соотносимые с выявленной авторами спецификой имплицитных представлений об интеллектуальной личности в России. В контексте данного обсуждения анализируются данные, указывающие на то, что разные языки соотносятся с разным видением, восприятием мира, разными способами мышления людей.

В главе 6 обсуждается, как соотносятся понятия когнитивного, интеллектуального и морального, которыми мы пользовались для анализа содержащихся в главе 5 данных, с приведенными в главах 1–4 описаниями системных структур субъективного опыта и культуры. Кроме того, содержание главы 6 позволяет дополнить сопоставление структур субъективного опыта и культуры рассмотрением дифференциации структуры культуры в процессе ее развития и дает возможность по-новому, с системной точки зрения подойти к пониманию морали и нравственности. Обосновывается представление о том, что системная дифференциация субъективного опыта может быть рассмотрена как движение от эмоций к сознанию, а культуры – от морали к закону. Сравняются интуитивистские и рационалистские подходы к пониманию морали, рассматривается ее эволюционный генез и возможные последствия его игнорирования. Сопоставляется также системная динамика, лежащая в основе феноменов регрессии у субъекта и архаизации в общественной жизни. Приводятся аргументы в пользу того, что нравственность как характеристика субъективного опыта феноменологически может быть сопоставлена с семантической и таксонной памятью.

В главе 7 культура рассматривается как динамическая среда. Приводятся данные литературы, демонстрирующие изменение во времени как сложных концепций и представлений, так и «элементарных» когнитивных и эмоциональных процессов, а также в связи с этим и языка. Описана динамика социальных представлений об умном человеке в России, оценивавшаяся путем сравнения результатов, полученных в начале 90-х годов (глава 5) и через 10 лет. Показатели стабильности и динамики социальных представлений рассматриваются в сопоставлении с результатами проведенного в этой главе анализа стабильных на протяжении столетий и меняющихся характеристик культуры России.

В заключении сведены наиболее важные положения работы, чтобы дополнительно продемонстрировать связь между разными частями исследования, определяемую общностью примененной методологии.

Авторы благодарны проф. В. В. Знакову и чл.-корр. РАН А. В. Юрвичу за полезные замечания по первоначальному варианту рукописи.

## ГЛАВА 1

## СИСТЕМНАЯ СТРУКТУРА СУБЪЕКТИВНОГО ОПЫТА

**В** системной психофизиологии (Александров, 2004а, 2006а; Александров, Дружинин, 1998; Швырков, 2006; Alexandrov et al., 2000) системогенез, т. е. образование *новой системы*, направленной на достижение полезного приспособительного результата, рассматривается как формирование нового *элемента субъективного опыта* в процессе научения.

Вероятно, реорганизация субъективного опыта путем формирования его нового элемента не единственный механизм приспособления к новым условиям существования. В ряде случаев реорганизация ограничивается перестройкой межсистемных отношений (Безденежных, 2004), установленных между уже сформированными элементами опыта (см.: Александров, 2005а). Ранее J. Piaget (1951) обосновывал представление о том, что перестройка памяти может происходить как за счет ее «рутинной» реорганизации (перестройки отношений между компонентами имеющейся памяти), так и за счет «эвристического» акта, включающего формирование нового компонента\*.

*В основе формирования новых систем при научении лежит процесс специализации нейронов относительно вновь формируемой системы.* Нейроны для специализации отбираются из популяции «преспециализированных» клеток, сформированных на ранних этапах онтогенеза. Свойства преспециализированных клеток определяются и генетическими, и эпигенетическими факторами в процессе созревания.

Этим положениям системно-селекционной концепции научения (Швырков, 2006) созвучны идеи о «функциональной специализации» клеток (Archavsky, 2003а, b; Barlow, 1972; Konorski, 1967) и о *селективном принципе* (отбор из множества *разнообразных* нейронов клеток с определенными свойствами), лежащем в основе формирования

\* Эта идея заимствована J. Piaget у J. M. Baldwin (см.: Kohlberg, 1982, p. 280), который предложил и известные термины «аккомодация» и «ассимиляция» (Baldwin, 1906; цит. по: Cahon, 2003), позднее использованные J. Piaget для изложения данной идеи.

*нейронных объединений на ранних и поздних стадиях онтогенеза* (Шанже, Конн, 2004; Edelman, 1987; Piattelli-Palmarini, 1989). Принцип селекции пришел на смену идеям о «функциональной локализации» и об инструктивном («инструктивное» мозга соответствующими сенсорными сигналами) принципе формирования нейронных групп. В соответствии с инструктивным принципом мозг рассматривался как *tabula rasa*, на которой стимулы процарапывают следы (памяти). Если в биологии и психофизиологии вызовом инструктивному принципу были упомянутые выше селекционистские концепции, то в лингвистике – теория Н. Хомского, выступающая так же, как и они, против представления о *tabula rasa*, на которой «пишет» среда.

Имеется два этапа селекции. Первый связан с формированием разных наборов преспециализированных клеток в раннем онтогенезе (первичный ассортимент по Edelman). В процессе этой селекции множество неотобранных клеток (около 50%) гибнет. Второй этап имеет место при обучении индивида видоспецифическим и индивидуально специфическим актам. При этом из наборов преспециализированных клеток отбираются те, свойства которых наиболее соответствуют вновь формируемому поведению. Наборы нейронов, специализированных относительно систем конкретных актов данного индивида, составляют вторичный ассортимент.

Ж.-П. Шанже также выделяет два этапа селекции: «нейронный дарвинизм» на самых ранних стадиях онтогенеза, включая пренатальный период, когда, по его мнению, происходит отбор синапсов, обеспечивающих связи между клетками, и «ментальный дарвинизм» у взрослого, связанный с изменением эффективности синапсов. Здесь единицами отбора, считает автор, служат не связи, а совокупности нейронов, способных к совместной согласованной активности, отобранные из элементов, прошедших первый этап селекции (Шанже, Конн, 2004).

В основе селекции как в индивидуальном развитии, так и в эволюции – достижение положительного результата. Как подчеркивает Wright (1995), мозгу индивида, как и юристу, нужен успех, а не истина. Так же и эволюционные силы «ценят» не истину, а выживание вида (Cacioppo, Gardner, 1996).

*Системная специализация нейронов постоянна и означает их неизменное вовлечение в реализацию соответствующих функциональных систем. Нейроны системоспецифичны.* В настоящее время обнаружены нейроны, специализированные относительно самых

разнообразных элементов опыта: актов использования определенных слов или идей у людей, актов «социального контакта» с определенными особями в стаде у обезьян, актов инструментального поведения у кроликов, актов ухода за новорожденными ягнятами у овец и мн. др.

Положение о системоспецифичности не означает абсолютной предопределенности: как в раннем онтогенезе селекция не обеспечивает полную готовность, предопределенность моделей результатов даже видоспецифических актов: они формируются в зависимости от особенностей индивидуального развития, так и у взрослого наличие групп нейронов со специфическими свойствами, которые могут быть отобраны при научении, по-видимому, означает возможность сформировать не определенный акт, а определенный класс актов. Если принять, что при формировании новой специализации нейронов в процессе научения (системогенеза) новому поведению используется очередной, новый вариант реализации данного индивидуального генома, то индивидуальное развитие может быть представлено как последовательность системогенезов и «актуализация» генома, связанная с системогенезами (Александров, 2004а, 2005а).

Преспециализация нейронов, предназначенных для древних систем видоспецифических актов, сравнительно жестко детерминирует, относительно системы какого акта они будут специализированы при научении. Однако эта детерминация не однозначна. Как мы уже говорили, видоспецифические акты формируются в зависимости от особенностей индивидуального развития. Если крысятам сразу после рождения давать молоко только из поилок, то вместо сосания у них формируется другое пищеводобывательное поведение, сильно от сосания отличающееся – лакание. Известно, что в норме у детей первичная вокализация – лепет – является доречевой стадией формирования речи. Однако при определенных условиях вместо вокализационного формируется «мануальный лепет» (подробнее см. ниже).

Значительно менее ясно, на каком «языке» «написана» преспециализация нейронов, предназначенных для формирования индивидуально специфического поведения у взрослого индивидуума. Предположим, если один экспериментатор учит животное нажимать на педаль для получения пищи, он обнаруживает нейроны, специализированные относительно системы этого акта. Другие экспериментаторы после обучения животного потягиванию зубами кольца находят нейроны, специализированные относительно

системы этого акта. Нельзя думать, что они, а также и все другие акты, которые может придумать экспериментатор, заранее предопределены «своей» преспециализацией. У взрослого человека могут быть сформированы специализации нейронов относительно систем таких культурно обусловленных действий, техническая возможность осуществления которых появилась уже после завершения первого этапа селекции: формирования преспециализаций у данного индивида. Говоря об индивидуально специфических актах, следует полагать, скорее, что отдельные группы преспециализаций предназначаются для последовательных стадий индивидуального развития на протяжении всей жизни. И язык индивидуально специфических преспециализаций есть язык стадий, отвлеченный от их конкретного индивидуально специфического содержания.

Вновь сформированные, все более дифференцированные системы не заменяют ранее сформированных, а «наслаиваются» на них. Таким образом, субъективный опыт индивида представляет собой структуру, образованную системами разного «возраста» (рисунок 1). Осуществление поведения обеспечивается не только посредством реализации новых систем, сформированных при обучении актам,

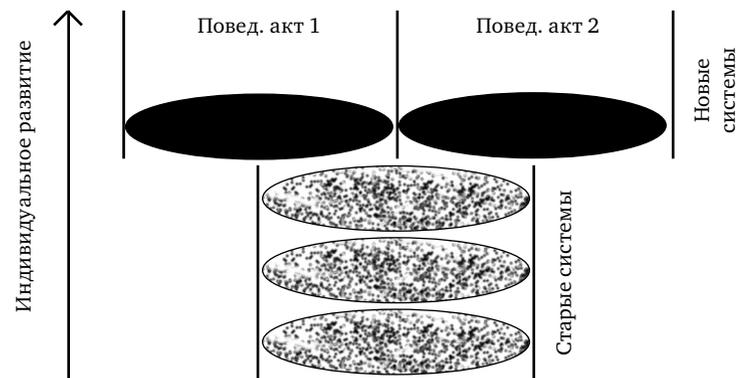


Рис. 1. Системная структура субъективного опыта

Поведенческие акты 1 и 2 реализуются за счет одновременной актуализации систем разного возраста, сформированных на последовательных этапах индивидуального развития в процессах научения (системогенеза). Хотя наборы систем, обеспечивающие достижение результатов этих актов, различаются, но возможно и перекрытие составов, т. е. одни и те же системы актуализируются при реализации разных актов.

которые составляют это поведение, но и посредством одновременной актуализации множества более старых систем, сформированных на предыдущих этапах индивидуального развития.

Реализация поведения есть реализация истории формирования поведения, т. е. множества систем, каждая из которых фиксирует этап становления данного поведения. При этом минимально необходимый набор систем разного возраста, актуализация которых обеспечивает достижение результата отдельного поведенческого акта, может быть рассмотрен как *единица*, а отдельная система как *элемент* субъективного опыта. Из сказанного следует, что если история формирования внешне одинакового поведения у разных индивидов разная, то разными окажутся у них и структуры их опыта, и характеристики мозговой активности, обеспечивающей актуализацию этого опыта (подробнее см.: Александров, 1989, 2004а; Гаврилов, 2004; Горкин, Шевченко, 1995; Швырков, 2006; Alexandrov et al., 2000).

## ФОРМИРОВАНИЕ СУБЪЕКТИВНОГО ОПЫТА В КУЛЬТУРЕ

**К**ультурная обусловленность субъективного опыта. Культура, подчеркивает К. Лоренц, «предписывает индивиду, чему и как ему следует учиться» (2000, с. 67). Научение или формирование субъективного опыта в процессе системогенеза, которое происходит в культуре, оказывается как культурно-, так и одновременно генетически детерминированным (через индивидуальные характеристики специализирующихся в процессе системогенеза нейронов). Зависящими от культуры оказывается не только формирование у индивидов сложных концепций (таких, например, как представление о целомудрии, бережливости или об умном человеке – см. ниже), но и опыт, опосредующий «простое» поведение, обычно рассматриваемое как «врожденное», «генетически фиксированное». Вообще «органическое развитие в культурной среде» должно быть рассмотрено как «исторически обусловленный биологический процесс» (Выготский, 1983, с. 31).

Показано, что люди в разных сообществах ходят очень по-разному. Ходьба – навык, который усваиваются в культуре и особенности которого передаются от поколения к поколению как часть культурной традиции (Ingold, 2000). Культурно обусловленными оказываются позы, мимика. Так, например, в Америке мигание двумя глазами сигнализирует о согласии, а в восточных культурах подмигивание – дурной тон и может обидеть присутствующих (Стефаненко, 2004).

«Нет информации без интерпретации» (Jablonka, Lamb, 2007, p. 458) и селекции (Уайтхед, 1990, с. 74), а селекция и интерпретация – культурно- (в частности, языко-) зависимы. Показано, что особенности перцептивной активности и мышления культурно обусловлены (Коул, 1997; Лебедева, 1999; Haun et al., 2006; Nisbett et al., 2001; Peng et al., 2001; Sebanz et al., 2006; Witkin, 1967; Witkin et al., 1962; и др.). Мир, в котором мы себя обнаруживаем, есть, по выражению У.Р. Матурана и Ф.Х. Варела, «не определенный, а некий мир», который мы создаем вместе с другими членами культурного сообщества (2001, с. 216). Интересно, что, хотя теоретические идеи, из которых вытекает ныне хорошо эмпирически аргументированное

утверждение о культурной обоснованности перцептивной активности и мышления, были выдвинуты давно, но, как недавно (в 2005 г.) подчеркивали R. E. Nisbett и Y. Miyamoto, основной объем данных о культурной обусловленности перцепции был накоплен в последние несколько лет (2005, р. 467).

Основы такой культурной обусловленности, пронизывающей все субъективное отражение, могут быть поняты с привлечением представления о познании как проверке гипотез. Говоря о познании в науке и в обыденной жизни, К. Поппер (1983, 2000) критикует, как он ее остроумно называет, «бадейную» теорию познания, согласно которой в сознание из внешнего мира, как в бадью, вливаются знания («информация», «сырые сенсорные данные» и т. п.), которые *затем* интерпретируются, инкорпорируются или отбрасываются. Вместо этой картезианской идеи вслед за И. Кантом К. Поппер рассматривает процесс познания как проверку гипотез, сформулированных индивидом на основе имеющегося у него опыта и «накладываемых» на природу, тестируемых в ней. Именно результаты тестирования подвергаются последующей интерпретации и модифицируют структуру опыта. Как мы полагаем, такое представление хорошо вписывается в системное, «активное» понимание субъективного отражения мира и противоречит «реактивному» подходу к этой проблеме (Александров, 2004а, б; см. также критику репрезентационализма у У. Р. Матурана и Ф. Х. Варела (2001) и раздел «Культура как набор эффордансов» в следующей главе).

В контексте обсуждаемой здесь темы важно, что в соответствии с этим представлением находятся идеи С. Московичи, который считает ошибочной точку зрения о том, что люди познают природный и социальный мир «посредством сенсорного восприятия информации, рассмотренной и объясненной затем в адекватных понятиях». Он подчеркивает, что эта точка зрения неприложима к индивидам, которые живут в обществе. Способ существования общества, культурно определяемый, диктует его членам, что и как воспринимать, классифицировать и оценивать. Автор согласен с тем, что мнения, имеющиеся у людей, почерпнуты ими «не непосредственно из Природы, а из материнских рук... из коллективного представления» (1995а, с. 7).

Имея в виду сказанное о культурной обусловленности поведения, свойственного всем индивидам и индивидуально специфичного, нельзя согласиться с известным делением психических функций на низшие – «природные» (биологически обусловленные)

и высшие – «культурные» (Выготский, 2002). Такой подход, предполагающий «разделение психологии на две: натуральную и культурную» и в связи с этим в качестве «главного итога» предлагающий «каждому психологу» выбрать одну из двух взаимоисключающих позиций: «психика человека» – «результат естественного развития или результат присвоения ее культурных форм»? (Веракса, 2002, с. 12), на протяжении ряда лет подвергался критике, в том числе и изнутри парадигмы (см.: Леонтьев, 1982; Ярошевский, 1993). Это деление ставится под сомнение также Н. Д. Гордеевой и В. П. Зинченко (2001), которые приводят экспериментально обоснованную аргументацию в пользу существования рефлексии на всех уровнях организации и стадиях развертывания действия.

В то же время В. В. Давыдов, ссылаясь на более поздние утверждения Л. С. Выготского, в частности, о том, что функции, считавшиеся наиболее элементарными, подчиняются у ребенка совсем другим законам, чем на более ранних этапах филогенеза, считал, что «Л. С. Выготский пересмотрел свое прежнее представление о „натуральном“ характере элементарных (или низших) функций» (2005, с. 608).

*Культура у человека и у животных.* В заключение своей последней, опубликованной посмертно статьи А. Р. Лурия писал: «Общественные формы жизни заставляют мозг работать по-новому, приводят к возникновению качественно новых функциональных систем, и именно они являются предметом психологической науки» (1977, с. 76). Существует, однако, подкрепленное экспериментально и теоретически представление о том, что «определить культуру как качественно специфический для человека феномен логически соблазнительно, но эпистемологически сомнительно. <...> Если культура человека, принадлежит к культуре приматов, то, следовательно, культура приматов принадлежит к культуре млекопитающих, которая принадлежит к культуре позвоночных... Каждый вид уникален, но чем больше накапливается данных, тем ясней, что межвидовые различия культуры носят скорее количественный, чем качественный, характер» (McGrew, 1998, р. 303, 306, 322). Поэтому характер, степень и в особенности качественный характер постулируемой А. Р. Лурия новизны могут быть предметом специальной дискуссии.

В этой дискуссии придется учесть мнения ряда авторов (см.: Панов, 2005; Ушакова, 2004а), в том числе N. Chomsky с соавт. (Chomsky, 1968; Hauser et al., 2002) в пользу принципиальных отличий

языка животных от языка человека (хотя и появляется все больше данных, свидетельствующих о *континуальности* эволюционного перехода от первого ко второму – см.: Hauser et al., 2002), а также наличие именно у человека передачи знаний, символизированных в артефактах, от поколения к поколению (Tomasello, 1999)\*, а у эволюции человеческой культуры – свойства кумулятивности (Tomasello, 2008).

Дискуссия неизбежно должна будет затронуть и проблему существования у животных сообществ и протокультуры. Социальный фактор оказывает влияние на все развитие индивида, начиная с пренатального периода (см.: Lickliter, 2000), причем это влияние прослеживается на всем протяжении филогенеза, начиная с его первых стадий (Tobach, 1981). Принадлежность индивида к сообществу, неважно в качестве доминирующей или подчиненной особи, дает ему преимущества в защите от врагов, добычи пищи и пр. по сравнению одиночным индивидом (Adolphs, 2001; Wilson, 1998). Протокультура (другие названия: прекультура, субкультура, квазикультура – см.: Kawai, 1965) проявляется в передаче негенетическим путем приобретенных навыков, изготовлении орудий, использовании коммуникационных сигналов†, в том числе и при осуществлении животными коллективных действий, таких как потребление пищи, собирание ее про запас, обеспечение детей, защита от нападения, охота, включающая изготовление сложных устройств для поимки жертвы, отбор и запасание орудий для использования в будущем, ритуальные действия и т. д. (см. Панов, 2005; Файнберг, 1980; Csányi, 1993; Dejean et al., 2005; Donald, 1993; Lieberman, 1998; Mesoudi et al., 2006; McGrew, 1998; Mulcahy, Call, 2006; Rendell, Tomasello, 1999; van Schaik et al., 2003; Whitehead, 1998, 2001; Whiten et al., 1999, 2005; Wilson, 1998; и мн. др.). Учительство, которое отвечает строгим критериям (разворачивается только в присутствии наивного наблюдателя; требует значительных затрат и не приносит немедленной выгоды учителю; способствует обучению наблюдателя навыкам – Caro, Hauser, 1992) и характеризуется тем,

\* Под артефактом можно понимать любой искусственно созданный объект.

† Включая такие коммуникационные сигналы, которые рассматриваются (Csányi, 1993) как аналогичные предположительно существовавшим на миметической, доречевой стадии эволюционного развития языка, свойственной *Homo erectus* (Donald, 1993).

что «донор играет активную роль в передаче культурной информации», реализуется не только в мире животных и птиц, но и насекомых (Csibra, 2007, p. 95).

Наконец, в ней могут быть приведены аргументы и в пользу того, что другие ранее выдвигавшиеся критерии специфичности человеческой культуры, скажем, такие как 1) обучение передаваемым навыкам всех членов группы, 2) усвоение тонких культурных навыков как взрослыми, так и молодыми индивидами, 3) накопление модификаций от поколения к поколению, были впоследствии фальсифицированы эмпирически демонстрацией а) сообществ шимпанзе, все члены которых используют орудия для ловли термитов, б) передачи навыков от молодых горилл старшим, в) накопления и усовершенствования навыков в течение десятилетий у японских обезьян (McGrew, 1998). М. D. Hauser (2006a) пишет, что наблюдения за животными и изучение их, а также чтение об их поведении в работах коллег, сделали совершенно очевидным для него следующее заключение: все новые критерии, свидетельствующие в пользу представления об уникальности человека, часто отбрасываются прежде, чем они просуществуют хоть какое-то время.

В любом случае, т. е. при любых исходах подобной дискуссии, позиция А. Р. Лурии, Л. С. Выготского (Выготский, 1996) и их последователей, а также подобные приведенным выше данные о влиянии культуры на особенности формирования субъективного опыта в разных культурах четко указывают на *необходимость учета культуры как фактора, определяющего развитие психики*. Подобный учет, как справедливо считает М. Donald (2000; см. также: Sebanz et al., 2006), *совершенно необходим для того, чтобы избежать довольно распространенный в психологии и психофизиологии «когнитивный солипсизм», выражающийся в рассмотрении когнитивных процессов в связи с мозгом, но в отрыве от культуры*. М. Donald подчеркивает, что Л. С. Выготский был одним из первых, кто осознал существование «симбиоза» развивающейся психики и культуры.

## ГЛАВА 3

## СИСТЕМНАЯ СТРУКТУРА КУЛЬТУРЫ

**П**сихология и культурология. Структура культуры, как и структура субъективного мира, может быть проанализирована с позиций системного подхода (Иванченко, 1999; Карнейро, 1997; Левин, 2000; Alexandrov, 2001, 2002; Kitayama, 2002; White, 1949; и др.). Более того, Л. А. White предлагал рассматривать системный подход как основной в интерпретации культуры в качестве целостного образования и определял ее как интегрированную систему, состоящую из подсистем. Он считал, что когда символизированные явления (и предметы) рассматриваются во взаимосвязи с организмом человека, т. е. в *соматическом контексте*, их можно называть поведением человека, а изучающую их науку – психологией. Когда же они рассматриваются во взаимосвязи друг с другом, в *экстрасоматическом контексте*, их можно называть культурой, а изучающую их науку – культурологией (White, 1959).

Как нам представляется, последнее разграничение полезно, однако его не следует абсолютизировать. Скорее, реальности отвечает подход к этим двум контекстам как полюсам, между которыми «располагаются» интересы исследователей, формально принадлежащих к разным дисциплинам. При таком подходе можно сказать, что фокус внимания авторов настоящей книги расположен ближе к «соматическому» полюсу. Эта позиция, как мы полагаем, важна для разработки тех наиболее трудных проблем соотношения структур субъективного мира и культуры, решение которых максимально или даже критически зависит от накопления знаний о человеческом разуме и мозге (Поппер, 2000).

*Социальность сознания и действия.* Асоциального сознания не существует (Выготский, 1987; Леонтьев, 1975; и др.). «Очень наивно понимать социальное только как коллективное, как наличие множества людей, – писал Л. С. Выготский. Социальное и там, где есть только один человек и его личные переживания. Социальное, как говорит Бухарин, не вне нас и не между людей, а в нас самих, в головах этих же людей» (см.: Брушлинский, 1996, с. 23). Человек осуществляет «функции общения» и находясь наедине с собой (Выготский, 2002).

Сходные идеи выдвигались в работах Дж. Дьюи (2000) и J. M. Baldwin, который отмечал, что «общество и человек не две сущности, две силы, действующие порознь... и достигающие соглашения друг с другом. Напротив, они две стороны развивающегося органического целого» (1911, р. 170).

Индивиды зависят друг от друга. *Достижение результатов поведения индивидов имеет значение для других членов сообщества.* Имеются аргументы в пользу того, что чем в большей степени индивиды, принадлежащие к сообществу, контролируют среду, тем в большей зависимости они находятся друг от друга. При этом подчеркивается, что одно из главных отличий человека от других животных состоит в том, что человек контролирует среду существенно сильнее и лучше (Tobach, 1981, р. 63). Можно полагать, следовательно, что и зависимость от других значительно выраженной в человеческом сообществе. Человек все время координирует свои действия с действиями других (Sebanz et al., 2006) и, что особенно важно, «все поступки человека выступают как реальное изменение условий жизни других людей» (Рубинштейн, 1973, с. 372).

Общественная организация деятельности такова, что отдельные индивидуальные действия приобретают смысл только в связи с действиями другого человека (Лурия, 1975б; Леонтьев, 1975). Рассматривая соотношение индивидуального поведения и поведения других, Дж. Дьюи подчеркивает, что «каждый шаг человека (курсив наш. – Ю. А., Н. А.) зависит от ожиданий, требований, одобрения или осуждения окружающих» и что он не может не учитывать действия других, так как последние есть необходимое условие достижения этим человек его индивидуальных результатов. Причем, как будет показано ниже, часто этот учет осуществляется имплицитно. Когда один индивид наблюдает за действиями другого, подчеркивает М. Tomasello (1999), именно цели действий (модели будущих результатов) есть главное, на что направлено восприятие. «Считать, что деятельность индивида можно описать на языке его индивидуальных поступков, – продолжает Дж. Дьюи, – все равно что пытаться вообразить бизнесмена... продающего и покупающего в одиночку». Подобное понимание закономерно приводит Дьюи к выводу о том, что «объекты приобретают смысл благодаря их включенности в совместное действие» (2000, с. 17, 20). Не разделяя позиций В. F. Skinner, мы считаем полезным привести здесь его понимание культуры. Он подчеркивал тот аспект, в отношении которого наше и его понимание сходны: *тотальную зависимость*

оценки результатов индивидуального поведения и его формирования от оценки другими. «Культура – это организация подкрепления поддерживаемая в данной группе» (1988, р. 80).

Любое индивидуальное действие одновременно есть и действие групповое (White, 1959). Социальная характеристика деятельности рассматривается в качестве основной. Коренной особенностью деятельности оказывается то, что «*ее субъектом всегда бывает некоторая совокупность непосредственно кооперированных или опосредствованно связанных общественными отношениями индивидов*». Индивидуальный уровень «общественного бытия» при этом выступает как форма проявления социальных закономерностей, а психика – как «орган общественной жизни индивида» (Абульханова-Славская, 1980, с. 189, 24, 29, 33).

М. Вебер называет «социальным» такое действие, которое соотносится с действиями других людей (1990). Ясно, что с излагаемой здесь точки зрения и в отличие от представления М. Вебера все действия социальны. Не только «асоциального сознания», но и «асоциального действия» не существует.

*Язык как инструмент отчета.* Согласившись со сказанным выше, закономерно принять положение, что «люди объединяются речью» (Бэкон, 1938, с. 41), рассматривать речевые структуры как «разделенные» с другими (Московичи, 1995б), а использование языка как «форму совместного действия» (Sebanz et al., 2006, р. 70).

«Слово обретает одинаковый смысл для ребенка и взрослого, будучи используемым в совместной деятельности. Если же слово не является фактором совместной деятельности, непосредственно осуществляемой или воображаемой, оно действует лишь «как чисто физический стимул» (Дьюи, 1916/2000, с. 21). Близка к этому трактовка языка у G. H. Mead: понятие языка он определяет через разум и приводит весьма четкую формулировку. Mead связывает разумность с таким типом индивидуального поведения, осуществление которого согласовано с позицией и намерениями сообщества, к которому индивид принадлежит. Таким образом, поведенческий акт индивида отражает намерение сообщества и является составной частью кооперативного процесса. Для того чтобы приспособить свое поведение и его результаты к результату, необходимому сообществу, и обеспечить достижение последнего, индивид использует рефлексю. Индивид, который осуществляет такое согласование, является разумным. Термин же «разумность» применим в том случае, если индивид учитывает намерения других в построении собственного

поведения, ставит свое поведение под контроль этих намерений и в то же время контролирует поведение других посредством реализации собственного. Из этих представлений логично вытекает, что «использование языка как такового есть просто процесс, посредством которого индивид, вовлеченный в совместную деятельность, учитывает намерения других, также вовлеченных в нее» (1934, р. 134, 335, 336).

Само происхождение слова связывается с совершением человеком неких трудовых актов совместно с другими людьми (Богданов, 1913–1917; Лурия, 1979). Л. Нуаре утверждал: «Язык ненавидит все индивидуальное...» и с самого начала «мог обозначать не что иное, как то, что вытекало из коллективной воли, что было коллективным делом, коллективной работой, коллективным творением». Например, «индивидуальный глагол «есть» ... лишь кружным путем, через распределение пищи при коллективных трапезах, вступил в пределы языка» (1925, с. 56).

В согласии с этой мыслью Нуаре находится много позже сформулированная позиция К. Eder (1996), который полагает, что «принятие пищи – не только материальное, но и символическое присвоение природы. Коротко говоря, принятие пищи есть элементарная форма перехода от природы к культуре» (Eder, 1996, р. ix). Показано существование развитой структуры социальных представлений, связанных с едой и весьма различных для разных социальных групп, так как социальная идентичность включает традиции потребления пищи. Многие общественные события включают совместную еду (Lahlou, 1995, 1996, 2001; о коллективных приемах пищи во время «братчин» и о ритуальном значении еды в русской культуре см.: Шуклин, 1995).

И в индивидуальном развитии прослеживается связь самого возникновения речи с межиндивидуальным взаимодействием. Известна позиция Л. С. Выготского (1982, 1983, 2002), согласно которой речь первично обращена к другому. Лишь вторично, в результате процесса интериоризации речь становится неслышной речью для себя. Применяя к развитию речи представление о формировании структуры субъективного опыта путем наслаения, а не замещения, можно считать, что развитая внутренняя речь «сохраняет в себе» первичную стадию формирования, которая определяет ее неизбежно интерперсональный характер.

С. Д. Канцельсон рассматривает произвольный крик ребенка как «зародыш речи». Этот крик связан с осознанием «связи общест-

венного субъекта с объектом его воздействия и объектом-посредником». В филогенезе произвольный крик возникает в связи с необходимостью координации действий коллектива. Крик мог означать указание на необходимость согласованных действий коллектива. Число таких звуковых сигналов (криков) растет вместе с дифференциацией сообщества и специализацией его подгрупп (см.: Кацнельсон, 2001, с. 512, 513, 514, 544).

*Оценивая результаты любых своих поведенческих актов, человек, даже находясь наедине с собой, смотрит на себя «глазами общества» и «отчитывается» ему. Специальный видоспецифический инструмент отчета (если таковой требуется, например, при коммуникации или в условиях эксперимента), а также самоотчета – язык. Мы полагаем, что вне подобной оценки результатов действий не может ни сформироваться, ни реализоваться никакое целостное поведение (об оценке результатов на довербальной стадии развития см. ниже).*

С этих позиций ясно, что необходимо с осторожностью относиться к концепции «нелингвистической задачи» (см., например: Naun et al., 2006). Решение любой задачи, направленной на достижение результата отдельного поведенческого акта или их серии, включает использование языка. Задачи определенного типа могут рассматриваться в качестве нелингвистических в том смысле, что они не требуют совершения операций с языком по алгоритму, заданному экспериментатором. Эта позиция соответствует выводу, который делают Winawer et al. (2007) на основании результатов сопоставления показателей поведения дискриминации голубого и синего цветов у русских и англичан (не имеющих специальных слов для их обозначения: *lighter blues* и *darker blues*). Авторы приходят к заключению, что язык «спонтанно в режиме он-лайн» используется «во всех видах, казалось бы, нелингвистических задач», включая простые перцептивные дискриминации, не требующие использования вербального отчета по инструкции (Winawer et al., 2007, p. 7784).

Используя пример Н. А. Бернштейна (1990), можно заметить, что нелингвистические задачи отличаются от лингвистических, как обычная ходьба отличается от ходьбы испытуемого по полу, расчерченному на квадраты, на которые надо наступать в эксперименте по изучению ходьбы. Это ходьба в обоих случаях, но Н. А. Бернштейн подчеркивал, что в последнем она переводится на более высокий уровень организации по сравнению с обычной ходьбой, механизмы которой хочет изучить расчертивший пол на квадраты экспериментатор.

Говоря об оценке результатов, мы имеем в виду как «внешнее» (*overt*), так и «внутреннее» (*covert*) поведение. Например, мышление может быть рассмотрено как «беседа с обобщенным другим» (Mead, 1934). Самоотчет, видимо, – значительно более частое явление, чем отчет. Как отмечает Н. Хомский, «внутренняя речь – это большая часть речи» (2005, с. 215). Вообще «вся психическая активность... включает либо репрезентации других людей, либо использование артефактов и культурных форм, имеющих социальную историю... Вне лаборатории [т. е. на самом деле] <...> когнитивные процессы <...> связаны с совместными действиями» (Levine, Resnick, 1993, p. 605, 599; курсив наш. – Ю. А., Н. А.).

Можно согласиться с Г. Гутцманом (цитируемым Л. С. Выготским) в том, что речь неизбежно носит социальный характер и даже при эгоцентрическом содержании «обнаруживает, так сказать, своего рода альтруизм», она «туцентрична» («туизм» употребляется Л. С. В. как антоним Эго) (2005, с. 594) и с идеей самого Л. С. Выготского (1996) об эгоцентрической речи, являющейся «коллективным монологом» и превращающейся позднее во внутреннюю речь, а также с П. Я. Гальпериным, который подчеркивал роль речи в контроле за действиями, представляющем «общественное отношение к собственному действию: как бы со стороны других людей и с помощью ими данного критерия» (2006, с. 298).

Включение речи в отчет и самоотчет о результате действия означает, что она не только «оценивает» то, что получено, но и «планирует» достижение следующей цели. Дело в том, что в поведенческом континууме оценка параметров достигнутого результата включается в процессы организации следующего в ряду поведенческого акта (Александров, 2004а; Швырков, 2006; см. раздел «Единая концепция сознания и эмоций» в главе 6). Такой подход находится в соответствии с пониманием речи как связанной с активностью субъекта, с формированием «моделей будущего» (Бернштейн, 1990). Действительно, как подчеркивает М. Н. Эпштейн (2006), есть серьезные основания для сравнения, которое проводит Н. А. Бернштейн между «строящей будущее» речью и ДНК, кодирующей варианты будущего развития.

Л. С. Выготский (2005) отмечал, что в процессе развития речь ребенка перемещается к началу действия, предвосхищая его дальнейшее развертывание. С позиций представления о том, что оценка параметров достигнутого результата включается в процессы организации следующего акта, т. е. находится в начале этого акта, данные,

позволившие автору сделать приведенное выше заключение, также могут рассматриваться как свидетельство в пользу того, что речь включается в отчет о достигнутом результате и в разворачивающееся одновременно планирование следующего акта. О том же, вероятно, свидетельствуют и приводимые им данные, показывающие нарушение «моторного» поведения у афазиков.

С рассматриваемых позиций ясно, что *самоотчет об «одном и том же» внешне поведению будет различен в разных социумах хотя бы уже потому, что в них различны социальные представления, которые обуславливают характер взаимодействия людей в достижении ими коллективных целей.* Различно в связи с этим и значение «одних и тех же» слов, используемых для самоотчета (Voelklein, Howarth, 2005). Так, например, слово «работа»: существуют значительные культурные вариации в понимании того, что есть работа, за которую надо платить, а что – скорее дружеская помощь. Разнятся и те обязанности, которые ассоциированы с понятием работы. В японской культуре в отличие от других национальных культур к этим обязанностям непременно относится участие в развлекательных мероприятиях с коллегами по работе (Moscovici, 1981).

Представление об отношении речи к оценке поведения согласуется с рассмотрением восприятия человека в качестве действия (Барабанщиков, 2002; Запорожец и др., 1967; Сергиенко, 2004, 2006), как и познания вообще, которое, по мнению У. Р. Матурана и Ф. Х. Варела, и есть действие, в то время как действие и есть познание (2001).

Эта согласованность становится особенно ясной, если принять, что в восприятие предмета включается обозначающее его слово (Знаков, 2005а) и что слово представляет не просто объект, а действия с ним (см.: Канцельсон, 2004). Как подчеркивает Канцельсон, предпосылкой появления речи является не «чувственный образ предмета» (как если бы человека привели на выставку предметов), а образ – предвосхищение будущих результатов действий (2001).

Если все это так, не должно вызывать удивления, что многочисленные эксперименты с картированием активности мозга четко демонстрируют тесную связь мозгового обеспечения действий и функционирования тех «языковых» структур, которые семантически связаны с данными действиями. Обнаруживается, что «моторные программы» и «нейронные репрезентации слов», специфически связанные с данными программами, коактивируются (Pulvermüller, 2005).

Имея в виду при этом, что действие реализуется за счет актуализации определенных элементов опыта, сформированных для удовлетворения определенной потребности, можно согласиться с тем, что «словесное наименование лишь выражает в виде представления то, что повторяющаяся деятельность превратила в опыт, а именно то, что людям, уже живущим в определенной общественной связи... определенные внешние предметы служат для удовлетворения их потребностей» (Маркс, Энгельс, 1935, с. 461, цит. по: Канцельсон, 2004).

Следовательно, сама индивидуальная память, актуализация которой обуславливает достижение поведенческих результатов, также социальна в той мере, в какой процесс ее формирования основан на символической коммуникации между людьми (Levine, Resnick, 1993). Коммуникация при рассмотрении поведения как целенаправленного, а не реактивного не предполагает «передачи информации» от источника (стимула) приемнику (реагирующему на стимул-информацию). У. Р. Матурана и Ф. Х. Варела правы, говоря о том, что эта картезианская метафора, рожденная вместе с развитием «средств коммуникации», совершенно не верна. Коммуникация – характеристика организации, направленной на достижение согласованных результатов поведения за счет координации поведения индивидов. Она «зависит не от того, что передается, а от того, что происходит» с коммуницирующим индивидом (2001, с. 173). Коммуникация может быть рассмотрена как сложная система взаимодействия, не сводимая к передаче и приему информации (Барабанщиков, Носуленко, 2004) и имеющая своим результатом приспособление к окружающему миру и коммуницирующих субъектов друг к другу (Бергельсон, 2007). Это приспособление выступает в диалоге как установление сходства звучания речи, жестов, формирование сходного видения мира (Steels, 2006).

Предлагается (Журавлев, 1982) рассматривать в качестве единицы языковой эволюции социалему – социальную общность людей, говорящих на одном языке и связанных единством целей и задач. Предполагается, что именно планирование моделей будущих результатов (целей), о связи которого с речью мы только что говорили, имеет ведущее значение для развития речи как средства коммуникации между людьми (Gardenfors, 2002, см.: Сергиенко, 2006).

С нашей позиции, представляется справедливым утверждение А. Р. Дамасио (2000), который считает, что взрослые не могут избежать «вербального перевода» «невербального содержания» сознания. Неудивительно, что при достижении испытуемыми результата

действия, о котором они по инструкции не должны давать вербального отчета, у них все же обнаруживается повышенная активность «речевых» зон мозга (Иваницкий, 1997; Tan et al., 2008). Иначе говоря, эти области (например, зона Брока) активируются не только в «языковом поведении», но во множестве задач, казалось бы, никак не связанных с их «классической функцией» (см.: Lahav et al., 2007, а также выше о «нелингвистических задачах»).

Яркие данные получены при регистрации объективных показателей внутренней речи. Обнаружено, что речевые «кинестетические импульсы скрытой артикуляции» регистрируются не как непрерывные и одинаковой интенсивности, а залпами, вспышками. Электромиограмма скрытой артикуляции при «мысленной арифметике» особенно усиливается к моменту достижения результата внутреннего действия: к концу решения, к моменту формулировки конечного ответа в уме (Соколов, 1968).

А. Р. Лурия отмечал, что «генетические корни языка следует искать вне языка, в тех формах конкретных человеческих действий, в которых осуществляется... формирование... основных приемов общения ребенка с окружающими». «Такие «лексические функции», как выражение начала (-inсер) или конца (fin) действия... являются не проявлением априорных категорий духа, а отражением основных форм реальных действий» (Лурия, 1975а, с. 148). В связи с этим следует еще раз вспомнить о том, что уже было отмечено: и в конце, и в начале действия происходит оценка результатов. В конце оценивается результат данного действия, а в начале – результат предшествующего действия.

*Отчет или самоотчет о результатах действия с использованием языка, становится содержанием наиболее высоких уровней сознания (Alexandrov, 1999а, 1999b; Alexandrov, Sams, 2005), которое связывается с осуществлением совместной деятельности, достижением «коллективных» результатов (Леонтьев, 1972; Рубинштейн, 1989а; Уайт, 2004; и др.).*

*Отчет на довербальной стадии развития.* Д. И. Дубровский (1977) подчеркивает, что всякая деятельность сознания, в том числе мышление, – это общение. Общение связано с использованием языка, следовательно, с языком связано и мышление. Невербализованные уровни мышления, считает автор, существуют, но они находятся под постоянным влиянием процесса вербализации. Предположение о существовании этих уровней согласуется со следующими положениями.

Во-первых, как было отмечено выше, сформированные на самых ранних этапах индивидуального развития системы не сменяются вновь образованными, но сосуществуют, организуются с ними. Во-вторых, имеются аргументы как теоретические, так и экспериментальные в пользу того, что мышление (Выготский, Лурия, 1993; Mandler, 2004), как и большинство других «психологических функций» (Сергиенко, 2006), имеются у ребенка на стадии, предшествующей овладению языком.

Таким образом, утверждения, что «нет мышления без речи» (Поршнева, 1979, с. 144; и др.; ср.: Ушакова, 2004б), что «говорить = думать = быть человеком» (Lieberman, 1998, р. 4;) и «что реальный процесс мышления в любом случае – будет ли это решение вербальных или наглядных задач – всегда связано с языком» (Соколов, 1968, с. 208), что «бессловесное мышление есть бессмысленное слово» (Шпет, 1989, с. 397), а «без-словесная мысль – патология, это мысль, которая не может родиться» (Зинченко, 2000, с. 20), могут быть отнесены к периоду владения языком.

Однако это не означает, что на довербальном этапе самоотчет о достигнутом результате «не социален». Ребенок социален с рождения, в пользу чего свидетельствует значительный эмпирический материал (см.: Striano, Reid, 2006). Эта точка зрения подтверждается и эволюционной логикой (наличие согласования индивидуальных результатов в сообществах животных), и максимальной зависимостью ребенка от других в достижении результатов на довербальном этапе. И до овладения языком поведение ребенка регулируется взрослыми (Пиаже, 2006). Можно предположить, что у детей на этом этапе, как и у взрослых (см.: Иваницкий, 1997), наблюдается повышенная («праязыковая») активность «речевых» зон мозга при достижении поведенческих результатов, связанная с самоотчетом о достигнутом результате.

*Дифференциация систем, обеспечивающих гипотетический «языковой» отчет, ведет к последующему формированию систем, обеспечивающих дефинитивное использование языка. Можно полагать, что эта «праязыковая» активность является важной частью мозгового обеспечения «довербальных форм общения» (Сергиенко, 2006, с. 302), «терминология» которых используется в оценке результатов. Упомянутые дифференцированные системы «наслаиваются» на глобальные «праязыковые», не отменяя их: «язык картируется на превербальных концепциях» (Mandler, 2004, р. 512), на «ранее созданном... когнитивном базисе» (Clark, 2004,*

р. 476; см также: Лурия, 1975а; Meltzoff, 1999; Slobin, 1971). Подобное представление, в пользу которого имеются теоретические и определенные эмпирические аргументы, соответствует, как отмечает А. N. Meltzoff, ранее выдвинутым идеям Ж. Пиаже и Л. С. Выготского о том, что язык развивается на основе «невербального когнитивного и социального», и противоречит идеям Фодора и других «модулярных нативистов» о том, что язык является «отдельным модулем, независимым «ментальным органом» (Meltzoff, 1999, р. 261). Показано, что способность к триадному взаимодействию (которое включает двух людей, взаимодействующих в отношении к объекту или событию) в 10-месячном возрасте коррелирует с языковой способностью, определенной в 18 месяцев (Striano, Reid, 2006).

Проверка сформулированного нами выше предположения не укладывается в традиционные рамки исследования освоения языка в раннем онтогенезе, посвященного анализу перцепции и продукции слов (см., например: Bates et al., 1992). Она требует картирования активности соответствующих мозговых структур, как при изучении перцепции, но при совершении «неязыковых» действий с четко фиксированным результатом.

Имеются данные, свидетельствующие в пользу выдвинутого предположения. Понимание слов существенно опережает возможность их продуцирования. Причем прогресс в понимании ассоциирован с рядом лингвистических показателей развития (Bates et al., 1995; Ушакова, 2004а). Уже в 9-месячном возрасте свойства памяти, имеющейся у детей, обеспечивают возможность запоминать слова и использовать их при извлечении из памяти соответствующего объекта (Bates et al., 1992). В этом возрасте дети используют слова в качестве «указателя позиции» (placeholders) для индивидуации объектов (Xu, 2002).

Активность мозга детей на «довербальной» стадии при предъявлении слов, которые знакомы детям, отличается от таковой при предъявлении незнакомых слов (Mills et al., 1993). Недавно при картировании активности мозга у детей, находящихся на «довербальном» этапе развития (возраст – два-три месяца) (см.: Dehaene-Lambertz et al., 2002), были получены результаты, указывающие, что области мозга, связанные с языком, активируются у детей задолго до начала речепродукции. Эти активации, по мнению авторов, отражают функционирование «сетей», последующая дифференциация которых обеспечивает формирование зрелого речевого поведения (см. также о дифференциации «превербальных» глобальных

концепций: Mandler, 2004). В экспериментах G. Dehaene-Lambertz с соавт. выявлена латерализованная (слева более выраженная) активация тех областей (в левой височной доле), которые активны в этой ситуации и у взрослых. G. Dehaene-Lambertz с соавт. специально подчеркивают, что у детей в этом возрасте активируются и те структуры, которые активны у взрослых при извлечении вербальной информации из памяти.

Заметим, что, говоря здесь о языке, мы имеем в виду не слово само по себе, а знание, представленное словом (Рубинштейн, 1989а), знание, которое берет «свои истоки во взаимодействии людей и иным способом не образуется» (Московичи, 1995а, с. 8). В связи с этим целесообразно рассмотреть знание в качестве «способа консолидации людей вокруг концентрируемого опыта целесообразной деятельности» (Туровский, 1997, с. 87) и заметить, что знание может быть выражено не словом, а, например, жестом. В обоих случаях динамика формирования языковой коммуникации и ее мозговое обеспечение оказываются сходны, несмотря на совершенно разное «исполнительское» обеспечение.

У немых детей, которые с рождения подвергаются воздействию жестовой речи\*, вместо вокализационного наблюдается «мануальный лепет»: они продуцируют отдельные «речевые жесты» и их бессмысленные последовательности (Petitto, Marentette, 1991). Подобные движения рук наблюдаются и у нормально слышащих детей, рожденных глухими родителями (Petitto et al., 2001) С помощью картирования активности мозга взрослых обнаружено, что структуры мозга, активные в норме при голосовой речепродукции, активируются и у немых, но при жестовой речи (Corina et al., 1992). Вероятно, в значительной степени перекрывающиеся, хотя, возможно, и не идентичные группы нейронов специализируются в отношении «систем речепродукции», которые оказываются «вокализационными» в норме или «жестовыми» у немых (Александров, 2004а).

*Незаметное принуждение.* Отношение оценки результатов действия к наиболее высоким уровням сознания, постулированное выше,

\* Интересно, что для усвоения жестового языка существует сенситивный период, как и для усвоения обычного, голосового. Если глухие дети имеют доступ к жестовой речи с рождения, то они усваивают ее также легко, как здоровые дети усваивают обычный устный язык. В том же случае, если они сталкиваются с необходимостью усвоения жестовой речи, уже повзрослев, их трудности сопоставимы с изучением взрослыми иностранного языка (Пинкер, 2004).

не означает осознания субъектом того, что он постоянно смотрит на себя «глазами общества». Наоборот, по-видимому, особая сила социального воздействия состоит именно в том, что оно осуществляется без потери субъектом ощущения «независимости от общества».

Влияние культуры, в которой живет индивид, и социальных представлений, сформированных в ней и ее составляющих, на действия индивида настолько сильно, что определяется авторами (см.: Московичи, 1995а, б; Eder, 1996; Levi-Strousse, 1949) терминами «принуждение», «принудительные нормы». Это находит отражение в формах мышления и языка (Московичи, 1995б), наборе поведенческих альтернатив (Лотман, 2000).

Состояние индивида, осознающего реальность: постоянное принуждение и контроль со стороны социума («глаза общества») за каждым его шагом, каждой невысказанной мыслью – сюжет антиутопии. Однако, во-первых, по крайней мере, в значительной своей части принуждение и контроль не осознаются индивидом. Социальные представления существуют в имплицитной форме (см., например: Sternberg, 2002; Московичи, 1995а, б) и принуждение, оказываемое социумом и обеспечиваемое, в частности, их существованием, действует на бессознательном уровне (Eder, 1996).

S. Kitayama отмечает, что системы культуры выражаются и реализуются посредством «паттернов коллективных поведений» и поэтому часто остаются скрытыми для каждого данного индивида (2002, р. 92; курсив наш. – Ю. А., Н. А.). ««Власть родного языка» – инструмента организации коллективных действий – над образом мышления и поведением огромна, но человек думает о пунктах «соглашения» с другими людьми, на которых основано использование этого языка «не в большей степени, чем о воздухе, которым дышит»» (Вежбицкая, 1999, с. 272). Существует значительный экспериментальный материал, демонстрирующий, что, хотя имплицитные предпочтения и предубеждения определяют решения людей, последние не отдают себе отчета в существовании этого влияния (см.: Lieberman, 2000). Сходная идея была выражена еще Б. Паскалем: «Доказательства убедительны только для разума. Куда неотразимее доказательства обычая: он воздействует на автомат, который затем незаметно склоняет на свою сторону разум» (1999, с. 171).

Какие мозговые процессы могут лежать в основе эффектов социального принуждения, было показано в работе V. Klucharev с соавт.

(2009). Авторы обнаружили, что, когда оценка привлекательности чьего-либо лица, данная субъектом, расходится с оценкой группы, его оценка позже изменяется в сторону групповой. В случаях конфликта оценок активируются мозговые структуры, которые согласно имеющимся в литературе представлениям, обеспечивают «детекцию ошибок», способствуя научению. Причем в работе показано, что чем сильнее активация, связанная с «детекцией ошибки», тем сильнее последующая модификация оценки привлекательности, приближающая ее к групповой.

К осознаваемым индивидом эпизодам принуждения могут, вероятно, относиться, в частности, случаи применения разных форм наказания к провинившемуся – юридических и неформальных. Так, экспериментально показано, что эффективным инструментом, организующим кооперацию, является «альтруистическое принуждение». Оно выражается в том, что индивиды испытывают отрицательные эмоции по отношению к «отступникам», нарушителям законов кооперации и наказывают их, хотя это наказание не приносит им самим непосредственной выгоды, а может быть, даже и вредным. Но оно хорошо для группы в целом (Fehr, Gächter, 2002). Кросс-культурные исследования показывают, что частота применения такого «альтруистического наказания» коррелирует с частотой проявления альтруизма в сообществе. Авторы (Henrich et al., 2006) рассматривают эти данные как соответствующие предсказаниям теории генкультурной коэволюции (см. ниже).

Во-вторых, попадание под влияние социального контроля неизбежно в социуме, в определенном смысле это «плата» за преимущества принадлежности к нему, плата, необходимая для согласования индивидуальных результатов, составляющих коллективные. Показано, например, что преимущества отчетливо проявляются в решении ряда интеллектуальных задач, которое производится группой эффективнее, чем лучшими индивидами по отдельности (Laughlin et al., 2006). Д. В. Ушаков (2003) отмечает, что хорошо известный в социальной психологии феномен нашей зависимости от существующих в обществе стереотипов не является «пороком, омрачающим человеческую природу». Стереотип – это инструмент, обеспечивающий необходимую селективность для нашего «когнитивного функционирования», необходимо согласующегося с функционированием других.

Центральным выводом, к которому на основании обзора большого числа работ, посвященных влиянию «социальных сведений»

на поведение, приходят М. J. Ferguson и J. A. Bargh, является заключение о его «имплицитном» или «автоматическом» характере. Экспериментальные данные социальной психологии свидетельствуют в пользу того, что, когда субъект совершает действия, в том числе «перцептивные», социальная информация, имеющая к ним отношение, «спонтанно и немедленно извлекаются из памяти без осведомленности или специального намерения субъекта». Упомянутая информация «придает форму и направляет ощущения, заключения и чувства субъектов, хотя субъекты остаются неосведомленными относительно того, что это влияние имеет место» (2004, р. 33). Приведены эмпирические аргументы в пользу того, что мозговые основы «социально обусловленного поведения» существенно сходны с теми, которые показаны для хорошо выученных и «автоматически» осуществляемых «моторных» актов. Процессы принятия «социальных решений» осуществляются бессознательно, интуитивно (Lieberman, 2000).

A. N. Whitehead (1911; цит по: Хайек, 2003) полагал, что продвижение цивилизации выражается в том, что все больше операций разного рода индивиды осуществляют, не задумываясь. Если это так, можно полагать даже, что число «имплицитных» влияний социума растет. М. Вебер отмечал, что поведение «цивилизованных» людей, с точки зрения его «субъективной структуры», – это «повторяющиеся массовые действия, без всякого соотнесения с их смыслом». По мере дифференциации культуры данный разрыв увеличивается. Оказывается, что рациональная основа, причина, обуславливающая поведение, обычно более скрыта от «цивилизованных» людей, чем смысл магических процедур, совершаемых колдуном, от «дикаря». Последний «знает неизмеримо больше» о социальных детерминантах своего существования, чем «цивилизованный человек» (1990, с. 544–545). Развиваясь, общество все разнообразнее и незаметнее определяет активность индивида.

Итак, человек – общественное животное (zoön politicon по Аристотелю). Ему свойственно общение и обособиться он может только в обществе. Обособление индивида вне общества – бессмыслица. Такая же, как развитие языка вне целей совместной деятельности. Всякое проявление жизни индивида как общественного существа, «даже если оно и не выступает в непосредственной форме коллективного, совершаемого совместно с другими, проявления жизни, является проявлением и утверждением общественной жизни» (Маркс, 1956, с. 710, 590).

Их сказанного выше следует, что независимость от общества может быть названа иллюзией. Эта иллюзия, в частности, оказывается следствием того общего свойства, что структура, всегда являющаяся принуждением, незрима, хотя все степени свободы в этой структуре заданы ею (Шинкаренко, 2005). *Даже сама концепция независимости – продукт общественной организации, одна из предоставляемых ею «степеней свободы».* Но с позиций обыденного знания эта концепция оказывается вполне приемлемым социальным представлением, длительное существование которого, возможно, объясняется его полезностью для поддержания существования общества (путем формирования у людей чувства независимости, индивидуальности, свободы от посторонних влияний и мнений).

*Следовательно, «независимой от общества» оценки индивидом совершенного им целостного поведенческого акта не может быть. Не может потому, что эта оценка неизбежно производится с использованием социальных представлений и языка, одним из центральных назначений которых можно считать именно соотнесение, согласование индивидуальных и коллективных результатов\*.*

Перейдем к определению культуры с позиций развиваемого здесь варианта системного подхода.

#### ОПРЕДЕЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

Примем, что культурной реальностью являются идеи, социальные представления (Московичи, 1995а, б), а не только артефакты. Б. Малиновский, суммируя результаты культурологических полевых исследований, заключает: культура – «инструментальный аппарат», благодаря которому человек решает проблемы, связанные с удовлетворением его разнообразных потребностей, идет ли речь о потреблении пищи или священнодействии. «Это система объектов, видов деятельности и установок, каждая часть которой является средством достижения цели» (1997, с. 683, 690).

При этом учтем имеющиеся в литературе точки зрения о культуре как развитии деятельностного опыта человечества (Туровский, 1997), но взятом во «внетелесном аспекте» и выступающем как «надбиологической, надпсихологической класс феноменов, предметов и явлений, которые состоят в осуществлении... уникальной человеческой

\* В рамках такого понимания представляется не столь очевидным диалектическое противопоставление внешней и внутренней речи по кажуемому несомненному критерию: речь «для себя» и «для других» (Выготский, 1996).

способности к символизации» (Уайт, 2004, с. 79)\*. М. Tomasello (1999) также подчеркивает, что главное отличие среды, в которой развиваются люди, от среды развития животных (включая приматов) состоит в том, что первая включает знания, символизированные в артефактах. Они составляют третий мир по К. Попперу (Popper, Eccles, 1977): мир знания «в объективном смысле», фиксированного на материальных носителях (книги, диски, сооружения и т. д.).

На ранних этапах развития человечества в качестве носителей знания выступали старики (Эфроимсон, 1995; Diamond, 2001). Интересно, что у тех видов животных, у которых имеется четко очерченный набор специфичных для данного сообщества поведенческих навыков, передающихся от более старших молодым, самки (которые главным образом обеспечивают передачу навыков потомству; Файнберг, 1980; Whitehead, 1998) живут существенно дольше после завершения репродуктивного периода, чем у тех видов, у которых подобные наборы не отмечаются (Rendell, Whitehead, 2001).

Примем во внимание возможность понимания культуры в самом широком смысле как ненаследственной памяти коллектива, выражающейся в определенной системе запретов и предписаний (Лотман, Успенский, 1977); как системы правил, инструкций и планов, используемых для организации поведения (Geertz, 1973), а элементов культуры как символизированных способов удовлетворения человеком своих побуждений во взаимодействии с внешним миром и другими людьми (Murdock, 1965).

Важно подчеркнуть именно аспект взаимодействия и коллективности. Оказавшие серьезное влияние на исследователей в области культурологии определения культуры включают ее понимание как среды, в которой формируется поведение индивида не только в связи с его потребностями, но и в зависимости от намерений других членов общества; таким образом, предусматривается согласование результатов поведения разных индивидов (см.: Andrade, 2001).

Хотя различия между культурами велики, но поскольку наряду с различными имеются и общие потребности, то могут быть выделены культурные универсалии – черты свойственные самым разным культурам, например, спорт, образование, похоронные ритуалы, и пр. (Смелзер, 1994).

\* Анализ различий в использовании знаков-символов у человека и животных см.: Бернштейн, 1990; Панов, 2005; Ушакова, 2004а; Hauser et al., 2002.

Учтем и позицию Д. Марголиса, понимающего под «культурными» системами такие, «в которых существуют личности и результаты их деятельности», эти личности используют язык и ведут себя интенционально; все, что производится «культурными» системами, «постижимо только в терминах следования правилам» (1986, с. 363).

Наконец, отметим, что на протяжении многих лет исследователи постоянно сталкивались с необходимостью выделения единиц передачи культуры, особенно очевидной при подходе к ее рассмотрению с эволюционных позиций (Luman, 2006; Mesoudi et al., 2006).

Мы предлагаем следующее определение культуры. *Культуру данного сообщества можно рассматривать как структуру, представленную набором элементов (систем) и единиц, которые символизируют пути достижения коллективных результатов в данном сообществе на данном этапе его развития* (Alexandrov, 2001, 2002).

Мы согласны с А. А. Богдановым (1906), А. Р. Лурией (1975а), А. Н. Леонтьевым (1975) и др. в том, что артефакты, во всяком случае орудия, суть «материализованные операции» («открывательная» способность ключа, «притягательная» крючка; см.: Паскаль, 1999, с. 20); они опредмечивают навыки деятельности, предполагающей постановку *разнообразных* целей и достижение результатов (в том числе редуцируют сложное поведение к относительно простым фиксированным формам; см.: Иванченко, 1999), а с Л. Уайтом (2004) мы согласны в том, что элементы культуры являются предметами или явлениями.

Тогда, если накопленное в культуре знание в узком смысле слова: идеи, теории, концепции, правила и пр. – выступает в качестве набора «инструкций» (записанных или устных) по достижению тех или иных целей сообщества, то и *артефакты являются «материализованными», «морфологизированными» инструкциями, фиксирующими способы достижения результатов, важных для сообщества.*

В качестве орудий, инструментов могут рассматриваться не только артефакты как таковые. Римляне рассматривали в качестве инструментов рабов, животных и неодушевленные предметы орудия, различая их только по признаку речи: орудие, обладающее речью (*instrumentum vocale*), обладающее полуречью (*instrumentum semivocale*) и немое, неодушевленное орудие (*instrumentum mutum*) (см.: Выготский, 2002, с. 570).

Следует подчеркнуть, что если говорить об индивиде, развивающемся в культуре, для него «инструкции» выступают в виде *условий, задающих (канализирующих) научение достигать определенных*

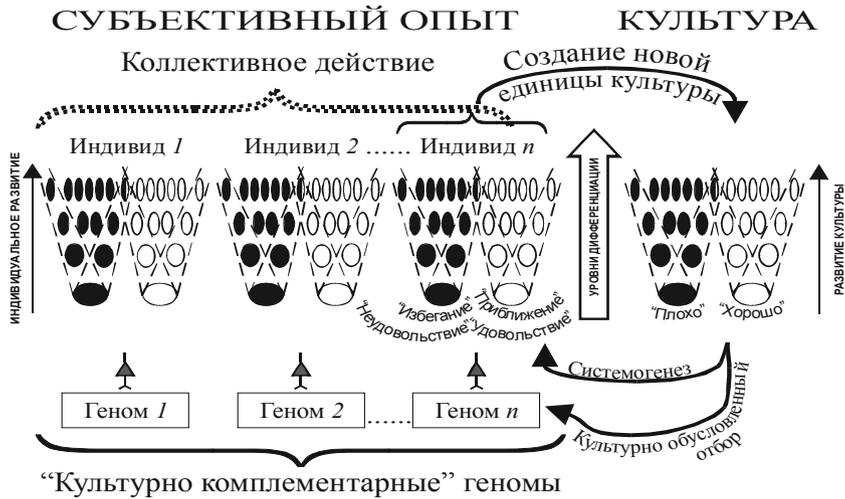


Рис. 2. Структуры субъективного опыта (слева) и культуры (справа)

Стрелка «уровни дифференциации» обозначает возрастание уровня дифференциации сравниваемых структур по мере их развития. Большие овалы внизу обозначают системы субъективного опыта и культуры наименьшей дифференциации. По мере развития число систем и уровень их дифференциации увеличиваются. «Белые системы» субъективного опыта обеспечивают реализацию поведенческих актов приближения (положительные эмоции), черные – избегания (отрицательные эмоции). В структуре культуры белые и черные овалы символизируют элементы культуры, задающие формирование в процессе системогенеза разрешенного, поощряемого и запретного, неодобряемого поведения соответственно. Пунктирные линии на фрагментах слева отграничивают наборы систем разного возраста и дифференциации, одновременная актуализация которых обеспечивает достижение результатов поведенческих актов, соответствующих тому или иному набору; справа наборы систем – элементов культуры разного возраста и степени дифференциации, входящих в единицу культуры. Пересечение черных и белых овалов слева обозначает внешне одинаковые акты поведения, направленные на достижение разных целей (приближения, избегания), справа – возможность использования в разных ситуациях разных единиц культуры, принадлежащих к поощряемому или запретному поведению для формирования внешне одинаковых групп действий. Стрелка «культурно обусловленный отбор» иллюстрирует идею ген-культурной коэволюции, а «системогенез» – идею о том, что формирование элементов опыта происходит в культуре. Между прямоугольником «геном» и овалами, символизирующими элементы-системы субъективного опыта, расположено схематическое изображение нейрона, указывающее на то, что реализация генома в данной культурной среде, выражающаяся в формировании систем субъективного опыта в процессе индивидуального развития, опосредована селекцией и специализацией нейронов в отношении этих вновь формирующихся систем (дальнейшие пояснения в тексте).

результатов (системогенез; см. стрелку с соответствующим обозначением, направленную от культуры к структуре субъективного опыта на рисунке 2), а не в виде конкретных указаний, напоминающих инструкцию к бытовому прибору, «стимулов-инструкций», предопределяющих определенную реакцию (см. раздел «Культура как набор эффордансов»).

Так, Ю. М. Лотман (2000), утверждая, что культура может быть представлена как набор текстов-правил и ограничений, содержащих информацию, подчеркивает необходимость анализа процесса «обучения», механизмы которого связаны со структурой кодов и которые обуславливают «усвоение» правил.

Используя термины теории деятельности (Леонтьев, 1975; Рубинштейн, 1989б), в частности, имея в виду представление об уровнях ее макроструктуры, можно отметить, что в орудиях «материализованы» именно операции, а не действия и не цели (Леонтьев, 1975; Лурия, 1975). Операция в соответствии с этим представлением может входить в состав разных действий, и, соответственно, одна и та же цель в разных условиях может достигаться посредством актуализации разного «операционного состава» (Леонтьев, 1975). С развиваемых здесь позиций операция – понятие феноменологическое, характеризующее не специальный уровень организации, не «структурный состав» действия, а его специальную характеристику (Александров, 1995б; см. также критику представления об «операционном составе действия»: Абульханова-Славская, 1980, с. 66). Но и при таком взгляде оказывается, что одна и та же «операционная характеристика» может принадлежать разным действиям. Следовательно, «инструкция», фиксированная в артефакте (например, «резать»), не предопределяет того, какое именно поведение индивид сформирует, но предоставляет возможность сформировать множество разных поведений.

Есть определенное логическое соответствие между подобным пониманием влияния культуры на индивидуальное развитие и пониманием соотношения между универсальной грамматикой и овладением языка у Н. Хомского (1972). Универсальная грамматика не предопределяет, какие предложения будут порождены индивидом. Множество предложений, которые произносятся и выслушиваются, – произнесены впервые за всю историю существования языка. Язык – не набор реакций на соответствующие стимулы. Индивид, согласно представлению Н. Хомского, имеет рецепт изготовления бесконечного числа фраз, хотя число слов ограничено. Бесконечная

генеративная способность языка человека рассматривается как его видоспецифическая особенность (Hauser et al., 2002).

Выше говорилось о том, что системная структура и мозговое обеспечение «одного и того же» внешне поведения зависит от истории его формирования. Поскольку культура не набор «стимулов-инструкций», стабильно вызывающих реакции, которые определяются текстом «инструкции», постольку важно не только, какая «инструкция» используется, но и вслед за чем и перед чем данное научение в культуре реализуется. Например, в культуре может быть приобретен опыт вынашивания ребенка и ухода за ним, замужества и замужней жизни и завершения обучения в институте. Однако ясно, что если опыт перечисленного поведения будет приобретаться в последовательности, обратной только что указанной, он окажется существенно другим.

Наше понимание культуры, включающее элементы, сгруппированные в единицы, может быть сопоставлено с концепциями мемов (Дукинз, 1993) и культургенов у социобиологов (Wilson, 1998), под которыми понимается идея или паттерн, соответствующие артефакту или поведению. Иначе можно сказать, что культура состоит из фрагментов информации, передаваемой по наследству (Ingold, 2000). Фрагмент (его мозговой эквивалент) в индивидуализированной форме хранится в мозгу субъекта (Wilson, 1998, p. 136).

Авторы этих весьма популярных концепций находятся непосредственно на соматическом полюсе. Они рассматривают мозг как «среду обитания» единиц культуры, и, нам представляется, совершенно незначительно, меньше, чем это минимально необходимо даже при подходе к анализу культуры с биологической стороны, учитывают экстрасоматический контекст.

Некоторые авторы отрицают, что Р. Дукинз привязывал единицы культуры – мемы – к мозгу и настаивал на том, что они «существуют в мозгу» (Blackmore, 2006). Попытки избавиться от мозговой локализации мемов понятны и заслуживают, мы полагаем, всяческой поддержки. Однако оригинальную позицию Р. Дукинза, как верно отмечают А. Mesoudi с соавт. (2006), эти «похвальные попытки» искажают: «Мемы должны быть рассмотрены как единицы информации, находящиеся в мозгу», – пишет Dawkins (1982, p. 109).

Не вдаваясь в детальное сопоставление, отметим главное. Мы вслед за L. A. White (1959) считаем, что единицы культуры существуют экстрасоматически. Мы полагаем, что индивид усваивает и хранит «в мозгу» (в памяти) элементы субъективного опыта,

сформированного в культуре, а не единицы культуры. Хотя мы, как это будет показано, обнаруживаем аналогии между системными структурами культуры и субъективного опыта, но считаем необходимым выделение и системный анализ каждой из этих различных структур.

С других позиций к сходному выводу приходит М. Donald (2000), который отмечает, что позиция Р. Дукинза есть позиция когнитивного солипсизма (о котором мы уже писали): мемы в соответствии с концепцией последнего не влияют на формирование структуры субъективного мира, но являются естественными продуктами ментальных структур. Kitayama также настаивает на том, что сведение систем культуры к структурам индивидуального знания неоправданно сужает взгляд на культуру (2002).

В настоящей работе мы рассматриваем аналогии именно между системными структурами культуры и опыта (см. главу 4), а не между элементами культуры и генами-репликаторами, как это делают авторы упомянутых концепций, пропускающие, с нашей точки зрения, принципиальное звено – системные специализации нейронов (см. схематическое изображение нейрона между геномом и структурой опыта на рисунке 2). Наличие этого звена делает невозможной редукцию поведения, субъективного опыта или «когнитивных процессов» непосредственно к генам (Александров, Сварник, 2005; Анохин, 2004; Fisher, 2006; Kovas, Plomin, 2006; и др.).

Представление о существовании «генов языка, альтруизма, агрессии, солидарности» (см., например: Haidt, 2007) и т. п. – недоразумение. Это такой же показатель отсутствия понимания проблемы, как и миф о *tabula rasa* (Добжанский, 2000). Само выражение «ген для того-то», подразумевающее его специфическую привязку к генерации определенной функции целого организма, является не просто удобным ярлыком, но концепцией, вводящей в заблуждение (Fisher, 2006). Хотя известно, что если у ребенка есть специфические нарушения речи, то в 80% случаев они проявятся у однойяйцевого близнеца и лишь в 35% – у разнояйцевого, но даже авторы, придерживающиеся представления о существовании врожденного «языкового инстинкта», приводят аргументы против наличия специального «грамматического гена». Из того, что, возможно, один-единственный ген «негативно воздействует на грамматическую правильность речи», о чем можно судить по связанным с семьей наследственным нарушениям речи, не следует, что «один-единственный ген управляет грамматикой. (Если удалить

распределительный вал, то машина не будет двигаться, но это не значит, что машиной управляет распределительный вал.)». Возможно даже, что в норме «этот ген вообще не участвует в строительстве грамматической схемы» (Пинкер, 2004, с. 284, 308)\*. Хотя политические пристрастия (даже более специфично – отношение к налоговой системе) чаще совпадают у однояйцовых (идентичных) близнецов (80% случаев), чем у двуяйцовых (неидентичных – 67% случаев), это не означает, что существуют гены, детерминирующие «либерализм» или «консерватизм». Скорее, различаются целостные фенотипы, и политическое пристрастие оказываются одной из характеристик этих фенотипов, коррелирующей с другими характеристиками. Так, ксенофобия коррелирует с наличием крайне правых взглядов, страх смерти – с консерватизмом, поиск нового – с либерализмом. Либералы и конерваторы обнаруживают и различную мозговую активность в одинаковых поведенческих ситуациях; например, активация передней цингулярной коры после совершения ошибки выше у либералов (см.: Giles, 2008). Здесь важно упомянуть и результаты, которые считаются (Adolphs, 2001) важным свидетельством в пользу серьезного значения «социальных» факторов в развитии поведения: у генетически идентичных мышей, тестируемых с применением одинаковых методик, обнаруживаются глубокие контекст-зависимые поведенческие различия (Crabbe et al., 1999).

#### Культурная специализация индивидов и комплементарность их геномов

*Культурная специализация.* Культурную специализацию индивидов мы рассматриваем как *формирование такой структуры субъективного опыта в данной культуре, которая комплементарна структурам опыта других индивидов.* Специализация (имеющаяся

\* Та же логика, которая является аргументом против «генетического локализационизма», приложима и к локализационизму мозговому. На основании описания последствий локального поражения мозговой структуры мы можем локализовать симптом, а не функцию, – предупредил А. Р. Лурия (1973). Это совершенно верно, но привлекательность представления о «специфических функциях» отдельных генов и мозговых структур сильна, поскольку это представление четко вписывается в картезианский редукционизм, имеющий до сих пор прочные позиции в науке. Поэтому упомянутая логика во всем кусте наук, смежных с психологией, генетикой и нейронауками, если даже временами и упоминается, то чрезвычайно редко последовательно проводится.

и в сообществах животных; см., например, Файнберг, 1980) индивидуализирует членов сообщества, но так, что подчеркивает важность и принципиальную включенность индивидуальных результатов в достижение именно целей сообщества. Индивидуальное развитие разных индивидов – их оттогенезы в сообществе, упрощенно говоря, не индивидуальны, но согласованы и являются «компонентами сети онтогенезов» (Матурана, Варела, 2001).

Специализацию можно сопоставить с процессом, называемым в социологии социализацией: накопление людьми опыта и социальных установок, соответствующих той социальной роли, относительно которой индивид специализируется (Смелзер, 1994). Этот процесс, по мнению Л. С. Выготского (2005), разворачивается как «социальный отбор» – отбор путем воспитания некоторых «социальных возможностей» из множества, которое имеется у ребенка.

Иначе говоря, *обучение в культуре означает, что индивиды научаются выполнять определенную часть общей работы в достижении коллективных результатов.* Отсюда ясно, что чем более дифференцированы способы достижения результатов, тем разнообразнее и «тоньше» специализации людей. Как отмечал А. А. Богданов (1913–1917), *специализация индивидов в обществе является проявлением системной дифференциации и нарастает по мере дифференциации структуры культуры.*

Постоянство социальной структуры сохраняется, подчеркивает Ф. А. Хайек (2003), не потому, что индивиды, сменяющие друг друга совершенно одинаковы, а потому что люди, являясь «„узлом“ в переплетении человеческих взаимосвязей», занимают то же положение, что сменяемые ими, в отношении к другим людям. Таким образом, культурная специализация – фактор поддержания стабильности социальной структуры.

Культурная специализация индивидов и связанные с ней особенности субъективного опыта обнаруживаются при исследовании мозгового обеспечения поведения: у индивидов, имеющих разную специализацию, паттерны мозговой активации при осуществлении внешне одинаковых действий оказываются разными (например, у людей, являющихся экспертами-орнитологами или специалистами по автомобилям; Gauthier et al., 2000). Выявлены и различия проекции частей тела на мозговые структуры, что с наших позиций означает различия «проекции опыта» (использования соответствующих частей в поведении) на эти структуры (Александров, 2004а; Швырков, 2006).

Так, у музыкантов, играющих на струнных инструментах, проекция пальцев занимает достоверно большую площадь в коре мозга, чем у остальных людей (Elbert et al., 1995). Увеличено у музыкантов и представительство тонов в слуховой коре, соответствующих по спектру звукам фортепиано (но не чистых тонов) (Pantev et al., 1998). Изменения функционирования по сравнению с контролем выявлены у музыкантов не только в «специфической» (слуховой) области коры, но также в зрительной, моторной областях коры и мозжечке (см.: Musacchia et al., 2007). Обнаружено также, что у музыкантов по сравнению с немусыкантами латентные периоды потенциалов мозгового ствола короче, а амплитуда потенциалов больше при предъявлении звуков музыки и речи. Эти данные позволяют утверждать, что реорганизация захватывает не только центральные, но «периферические сенсорные структуры», причем эта реорганизация тем более выражена, чем дольше индивид профессионально занимается музыкой (Musacchia et al., 2007).

Следовательно, «музыкальная специализация» обуславливает, вероятно, специфику функционирования всего мозга. Даже размер мозговых структур может варьировать в связи со специализацией людей. Обнаружено, что гиппокамп (структура, связываемая в литературе с когнитивным картированием пространства) у лондонских водителей такси увеличен по сравнению с контролем (Maguire et al., 2000).

Мысль С. Пинкера (2004) о том, что человек обучается языку примерно в том же смысле, в каком паук обучается плести паутину, имеет определенное отношение и к культуре в целом. Но только в том аспекте, что имеется генетическая предрасположенность к освоению соответствующих видотипических навыков. И у человека, и у животных существует биологическая (генетическая – Эфроимсон, 1995) predisposition к усвоению культуры; в то же время, какие конкретно нормы, какой вариант культуры будет усвоен, зависит от специфики культурной среды, в которую попадает данный индивид (Эфроимсон, 1995; Cummins, Cummins, 1999). Predisposition выступает не как врожденность «инстинктивных» (hard-wired) культурных навыков, а в виде «канализации», связанной с тем, насколько формирование определенного навыка эффективно в условиях нормальной средовой вариации (Cummins, Cummins, 1999).

*Ген-культурная коэволюция и комплементарность индивидуальных геномов.* Наличие социальной среды обуславливает культурозависимую генетическую эволюцию (Дубинин, 1977; Donald, 2000;

Whitehead, 1998). При этом биологическая и культурная эволюция могут быть рассмотрены в качестве аспектов единого процесса «ген-культурной коэволюции» (Henrich et al., 2006; Mesoudi et al., 2006; Rendell, Whitehead, 2001) и «поняты только как компоненты единой системы» (Добжанский, 2000, с. 24).

Е. О. Wilson (1998) описывает динамику взаимосвязи генов и культуры следующим образом: гены определяют эпигенетические правила, канализирующие развитие и усвоение культуры. Культура в значительной степени определяет, какие гены будут выживать и «размножаться» от генерации к генерации. Новые «успешные гены» модифицируют эпигенетические правила в популяции. Измененные правила изменяют направленность и эффективность усвоения культуры.

С одной стороны, индивиды данного вида вносят вклад в конструирование своей экологической ниши а, с другой – ниша детерминирует давление отбора на них и их потомков (Day et al., 2003; Bloom, 2001), так что генетически и эпигенетически детерминированный набор нейронных преспециализаций (см. главу 1) у особей данного вида оказывается в определенной степени нише- (культуро-) зависимым (Александров, 2005а; Alexandrov, 2001).

Мы хотели бы более подробно остановиться на только что упомянутом моменте в связи с его важностью: речь идет об эволюционной детерминации именно характеристик набора преспециализаций нейронов. С последовательно системной точки зрения, очевидно, что эволюционный отбор имеет своим объектом не какие-либо отдельные адаптивные признаки и кодирующие их гены, как это принято считать (см., например: Доукинз, 1993). Как нам представляется, значительно ближе к истине утверждение, что отбираются целостные соотношения организма со средой – поведенческие акты (Швырков, 2006). Ближе, поскольку здесь речь идет об отборе по результатам, достигаемым за счет системной общеорганизменной интеграции. Но необходимо добавление. Эффективность признаков (выделяемых, кстати, не эволюцией, а исследователем при сравнении разных объектов, как справедливо отмечал Швырков) в обеспечении достижения адаптивных результатов и выживания зависит от множества других признаков. То же и с актами.

Один и тот же признак (или акт) может в сочетании с одними признаками (или актами) увеличивать адаптивность, а с другими – понижать. Может в одной среде увеличивать шансы на выживание, а в другой – уменьшать. Так, М. Hauser (2006а) приводит яркий пример

ситуации, в которой поведенческий паттерн, может быть, вполне адаптивный в других ситуациях, оказывается крайне неудачным – проще говоря, смертоносным: транспортирование бабуинами детенышей на животе часто приводит к гибели потомства, когда во время наводнений взрослые бабуины преодолевают водную преграду.

Логично поэтому считать, что при рассмотрении индивидуального (не популяционного) уровня можно говорить о том, что отбору подвергаются целостные фенотипы (Шишкин, 2006; Fodor, 2007), каждый признак которых связан со всей зиготой, развивающейся в определенной среде. Ген какой-либо поведенческой черты, как мы уже отмечали, – миф. Фенотипы – проявление генотипа, выступающего как «функциональная система» и не описываемого в терминах отдельных генов (Шишкин, 1984, с. 122; см. также: Медников, 2005), в терминах их независимых эффектов (Иогансен, 1933). Присутствие данного гена не гарантирует появления определенного признака (Добжанский, 2000).

Давно известно о существовании плейотропии (способность одного гена определять несколько признаков) и, с другой стороны, полимерии (влияние нескольких генов на признак). Чтобы в фенотипе проявилось действие одного гена, требуется согласование активности многих других генов, локализованных в разных хромосомах. Отсюда следует, что «представление о генах как о независимых в своем действии и обладающих неизменной селективной ценностью единицах придется оставить» (Медников, 2005, с. 156). Хорошая иллюстрация – результаты наблюдения за эффектами селекции. Так, при одомашнивании хищных животных произошло существенное уменьшение размеров мозга и клыков, а наряду с этим «изменение некоторых частей тела, которые выглядят как не связанные между собой анатомические фрагменты». Речь идет, например, о таких морфологических признаках животных, как вислые уши и белые пятна на меховом покрове. При одомашнивании черно-бурых лис в течение 40 лет отбирались животные по тому, насколько хорошо они переносят контакт с человеком, подпускают его близко к себе. (Здесь особенно хорошо видно, что признак есть выделенное наблюдателем общее, в данном случае – требуемое свойство многих форм поведения.) Как и в других случаях с одомашниванием животных, новое «контактное» поколение лис и выглядело по-другому: белые пятна, закрученный хвост, вислые уши, и существенное уменьшение размеров черепа по сравнению с диким типом (см., например: Hauser, 2006a, p. 349, 350).

В связи с подобной «системностью генома» отбор по фенотипу приводит не к сохранению одинаковых «мутантов», а к появлению совокупности особей с разными вариантами генома (Шишкин, 2006). Отбираются фенотипы по критерию набора результатов, присущих данной фенотипической вариации; только эти результаты и существенны для естественного отбора (Швырков, 2006; Fodor, 2007). Отбор, успешность которого определяет качество достигаемых результатов, осуществляется через индивидуальное развитие, включающее формирование преспециализированных и специализированных нейронов.

Мы подчеркнули, что рассматривали отбор на уровне индивидов. Однако системная логика предполагает, что он должен рассматриваться на популяционном уровне (о котором мы лишь упомянули, сославшись на Шишкина). Это легко обнаружить, сопоставив только что сказанное с известным «эффектом Болдуина», интерпретированным в терминах системогенеза. Описание этого эффекта есть результат теоретического анализа влияния индивидуального поведения, зависящего от генетических особенностей, на эволюцию (путь «попадания в гаметы»). Если есть генетически близкие индивиды и у них есть возможность индивидуального обучения, то при определенных условиях среды, предоставляющих возможность совершения очень эффективного, «хитроумного» поведения: «Good Trick» (Dennett, 1993), оказывается, что не один или несколько индивидов его реализуют (это для эволюции было бы мало «замечено»), а существует некий генетический оптимум (группа индивидов с соответствующими наборами преспециализаций). В популяции обнаруживается не один, а много, совокупность индивидов, хотя и различающихся генетически, но для которых нахождение данного поведения (мы скажем – согласованных поведенческих репертуаров) будет более частым и быстрым, чем для других. При других вариантах генома по мере удаления от оптимума вероятность нахождения правильного поведения больше. Но эти чуть худшие все равно могут быть несколько более удачливыми, чем другие индивиды. Со временем эта «улучшенная» гетерогенная часть популяции увеличивается.

Почему не один индивид – «генетическая находка» – попадает «в точку», а появляется субпопуляция с неравномерно внутри нее повышенной вероятностью совершения эффективного поведения? Один из важнейших факторов, обуславливающих это, состоит в том, что, как мы отмечали выше, преспециализации формируются

не под определенный акт (Александров, 2004а, б). Каждая из групп нейронов с данной преспециализацией может сформировать специализацию в отношении множества актов. Видимо, существуют общие характеристики формирования преспециализаций для целой группы, выраженные по-разному для разных индивидов, но лучшие при сравнении этой группы с другими. Если к сказанному добавить, что индивиды с разными генотипами в популяции не просто случайно сочетаются, а составляют сообщество взаимодополняющих особей (см. далее о комплементарности геномов), то становится еще более очевидно, что отбор имеет дело с популяциями.

Итак, ниша зависит и от специализаций нейронов, а «паттерн специализаций нейронов» (следовательно, структура субъективного опыта – Александров, 1989) и от ниши. В определенном смысле можно сказать, что потомки наследуют не только гены, но и среду. Интересно заметить в связи с этим следующее: в рамках экологического подхода к развитию считается, что «наследуемые системы развития включают не только гены, но также и определенные характеристики среды, которые поддерживают и обуславливают развитие, передаваясь от поколения к поколению» (Lickliter, 2000, p. 329).

Таким образом, оказывается, что, действительно, свойства нейронов человека не просто делают возможным освоение культуры, но и предопределяют необходимость ее освоения (Geertz, 1973). Биологическое и культурное предстает не в качестве отдельно влияющих на развитие факторов, а в качестве аспектов рассмотрения единых механизмов развития индивидов (Rogoff, 1990), в качестве аспектов системогенеза. Культура рассматривается «как часть биологии человека в такой же степени, как прямохождение» (Richerson, Boyd, 2005, p. 7), а ходьба, в свою очередь является не только биологическим, но и культурозависимым феноменом. Подобная позиция противостоит упрощенному подходу, согласно которому «биология – это про природу (nature), а культура – про воспитание (nurture)» (Richerson, Boyd, 2005, p. 9).

Эта позиция близка к концепции биосферы, сформулированной в начале прошлого века В.И. Вернадским (1978). В рамках последней среда предстает в качестве компонента развития, а не как независимая переменная. Жизнь и мертвое вещество оказываются проявлением единого процесса. Она перекликается также с представлениями Н.П. Дубинина (1977), согласно которым в процессе «гармонизирующей эволюции» изменение биологических особенностей направляется потребностями культурной среды,

и Л.С. Выготского в той части, где он утверждает, что естественный и культурный план развития ребенка составляют «единый сплав», сливаются один с другим (1996, с. 250; см, однако, выше о «природных» и «культурных» психических функциях).

Поскольку культура не только определяет характер (и межиндивидуальную согласованность) формируемых элементов субъективного опыта, но влияет на отбор геномов (ген-культурная коэволюция), то, имея в виду сказанное выше о культурной специализации индивидов и о детерминантах нейронных преспециализаций, можно полагать, что в обществе складывается «культурная комплементарность» (Alexandrov, 2001, 2002) индивидуальных геномов. *Культурная комплементарность означает, что генетические предрасположения и связанные с ними «культурные специализации» межиндивидуально согласованы и взаимодополнительны внутри данного сообщества.*

Сказанное не следует рассматривать как утверждение возможности прямого перевода с языка генов на язык культуры (критику см. выше, а также: Коул, 1997). Переход между ними в направлении от культуры к генам опосредован системогенетическими процессами (они детерминированы, как уже говорилось, и генетически, и эпигенетически) формирования специализаций нейронов в отношении элементов субъективного опыта.

Представление о культурной комплементарности индивидуальных геномов делает логичным предположение, что генетическое разнообразие индивидов можно рассматривать как важный фактор, обуславливающий возможность лучшего подбора комплементарных вариантов. В пользу этого предположения свидетельствуют данные, четко демонстрирующие, что генетическое разнообразие в популяции (медоносных пчел) обуславливает повышение ее «коллективной продуктивности», способствует лучшей приспособленности и выживанию сообщества (Mattila, Seeley, 2007). G.M. Edelman (1987) подчеркивал, что разнообразие является условием успеха отбора в процессах самого разного временного масштаба: от дарвиновской эволюции до отбора лимфоцитов при иммунных процессах и нейронов при научении. По-видимому, в этот ряд можно вписать (и связать с каждым из названных процессов) и процесс постоянного формирования комплементарного генома сообщества.

*Культурно обусловленный отбор.* Многие авторы, применяющие эволюционный подход к общественным наукам, считают, что адаптация к культуре и ее «усвоение» – одна из форм «поведенческой

пластичности» и поэтому действие культуры на человека может быть рассмотрено «в терминах отбора, действующего на гены» (Richerson, Boyd, 2005, p. 10). Утверждают также, что культура осуществляет «отбор, действующий на гены и влияющий на адаптацию к характеристикам культуры», а гены оказывают обратное влияние (Mesoudi et al., 2006, p. 337) и что человеческая культура может быть рассмотрена как вариант действия «естественного отбора, обуславливающего увеличение генетического соответствия» (Richerson, Boyd, 2005, p. 13). Приводятся теоретические и эмпирические аргументы в пользу того, что эволюция человека, живущего в изменяющейся культуре, в том числе эволюция его мозга, продолжалась на всем протяжении человеческого существования, включая период с момента возведения первых городских стен, и продолжается сейчас, причем, вероятно, происходит она довольно быстро (Barreiro et al., 2008; Bloom, 2001; Mekel-Bobrov et al., 2005).

В то же время некоторые авторы полагают, что, рассматривая соотношение между культурой и приспособленностью (в биологическом аспекте), об эволюционном отборе можно говорить лишь в том случае, если культура убивает неприспособленных индивидов (см., например: Vorsboom, 2006). Принимая во внимание данную позицию, следует оговорить, что подразумевается нами под «культурно обусловленным отбором», приводящем при рассмотрении сообщения к культурной комплементарности (см. рисунок 2). Мы согласны с критикой этой позиции, приведенной А. Mesoudi с соавт. (2006, p. 373, 374): она основана на упрощенном понимании биологической эволюции, в рамках которого предполагается, что наличие отдельного гена обуславливает смерть носителя (во временных границах существования одного поколения) и, следовательно, частота данного гена изменяется в связи с его «летальным эффектом». На самом деле, подчеркивает А. Mesoudi с соавт., биологическая эволюция обычно базируется на небольших изменениях в приспособленности, обуславливающих градуальные изменения относительной частотности генов. Эти изменения формируются при смене многих поколений. Как правило, заключают авторы, модификации связаны с воспроизводством, но не обязательно с выживанием.

Таким образом, можно полагать, что, как правило, отбор в культуре действует не путем элиминации неприспособленных, а более «мягко»: через предоставление предпочтений тем индивидам, которые оптимальнее вписываются в культурную среду и геномы которых в большей степени обладают свойством комплементарности. Это

может быть улучшенное качество и увеличенная продолжительность жизни и одновременно увеличенный период воспроизводства, предоставление детям лучших стартовых условий развития, закладывающих повышение вероятности последующих предпочтений, и т. п. В то же время, как отмечают Р. J. Richerson и R. Boyd (2005), типы поведения успешных (и, что еще более очевидно, живых) людей с большей вероятностью будут имитироваться, поэтому их идеи, ценности, навыки и пр. распространятся.

Культурный отбор не обязательно обуславливает эволюцию; последняя происходит в том случае, когда вариации, которые связаны с различиями в приспособленности, наследуются, переходя от поколения к поколению (Jablonka, Lamb, 2007). В настоящее время нарастает поток результатов теоретических и экспериментальных исследований, свидетельствующих в пользу того, что значительные фенотипические вариации не обязательно отражают мутации в геноме, но могут быть индуцированы в отсутствие генетических вариаций. Обнаруживается, что разнообразные адаптации могут передаваться от родителей к детям «соматическим» путем, за счет активирования «клеточной системы наследования», но без задействования механизма изменения генома, изменения последовательности ДНК, причем эта передача рассматривается как «часть эволюции» (Бландэн и др., 2002; Jablonka, Lamb, 1995, 2007; Varmuza, 2003; Weaver et al., 2004; и др.). Интересно отметить, что с этой позиции представление Ч. Дарвина о наследовании приобретенных вариаций уже не выглядит как заблуждение (см., например: Richerson, Boyd, 2005; Анохин, 2007).

Принимая все это во внимание, можно предположить, что культурная среда обуславливает изменения сообществ, в первую очередь, за счет вовлечения системы наследования, не связанной с изменением последовательности ДНК. Упомянутая «эпигенетическая» наследственность и генетическая наследственность, по-видимому, взаимодействуют. «Эпигенетические, культурные... вариации влияют на направление и характер эволюционных изменений» в том случае, если они достаточно стабильны. Если нет, активирование «клеточной системы наследования» (Jablonka, Lamb, 2007, p. 466) «сказывается только на одном поколении... но не на следующем» (Jablonka, Lamb, 1995, p. 7). Поэтому вероятно, что подверженность генетическим изменениям (последовательности ДНК) в культурной среде может зависеть от изменений данной системы, обусловленных стабильными изменениями этой среды и влияющих на состояние

отдельных локусов ДНК (Jablonka, Lamb, 1995, 2007). Переход от эпигенетической к генетической системе наследования может осуществляться, в частности, через механизм «эффекта Baldwin» (см. выше). Предполагается, что изменения ДНК, в свою очередь, влияют на характер дальнейших эпигенетических изменений.

*Если принять эти положения, то логично представить комплементарные геномы в качестве ядра, окруженного периферией, функционирование которой определяется «клеточной системы наследования». Свойства комплементарных фенотипов, лежащие в основе взаимодействия индивидов, направленного на достижение коллективных результатов, а также ген-культурная коэволюция определяются как ядром, так и периферией.*

Следует также рассмотреть и возможность «культуроцентрического» взгляда на отбор, осуществляемый в культурной среде. При таком взгляде оказывается, что отбор направлен на поддержание данной культуры и ее развитие. Подобный отбор может означать опять-таки не «убийство неприспособленных», а предоставление индивидам, обладающим определенными свойствами, предпочтений в непосредственном осуществлении культурных «инноваций», «изобретений», т. е. в модифицировании структуры культуры. Тогда отобрать – значит обеспечить доступ к этому осуществлению: *культура отбирает тех, кто ее поддерживает и развивает, а также тех, кто эффективно способствует им в названной деятельности.* Иначе говоря, предпочтения, о которых шла речь выше (выражающиеся в увеличении длительности, улучшении качества жизни индивидов и пр.), при таком рассмотрении вторичны. В рамках данной логики культурная среда, создаваемая как «инструментальный аппарат» решения проблем человеком (или, как полагает Р. Доукинз (1993), решения проблем его генами, борьба между которыми за преимущество происходит с использованием в качестве эффективных инструментов единиц культуры – мемов), «использует» членов обществ – индивидов – как инструменты, обеспечивающие выживание, а следовательно, и развитие культуры.

*Создание новых единиц культуры.* В направлении от индивидов к культуре опосредование ген-культурных отношений осуществляется, как уже было отмечено, за счет взаимодействия индивидов (структур их субъективного опыта) в создании новых элементов и их интеграций – единиц культуры. Новый синтез элементов культуры, изменяющих ее структуру за счет инновации, Л. Уайт (2004) называет «изобретением».

Рассматривая формирование культуры и имея в виду идею ген-культурной коэволюции, логично задаться вопросом: насколько структура, содержание культуры зависит от генома сообщества индивидов ее создающих? В дискуссии с Е. О. Уилсоном D. Dennett (1999) ссылается на высказывание Е. О. Уилсона о том, что гены держат культуру на поводке, хотя это и длинный поводок. Возражая против этой метафоры, D. Dennett приводит свою: «Гены обеспечивают не поводок, а стартовую площадку, с которой вы можете попасть почти куда угодно, следуя одним курсом или другим» (1999, р. 6). Нам ближе позиция D. Dennett, особенно если принять, что движение стартовавшей ракеты корректируется из центра управления, а содержание команд находится в зависимости от того, какая информация поступает от ракеты, идущей данным курсом. При этом оказывается, что курсы ракет, хотя и временами перекрываются, но сильно различны.

Здесь уместно вспомнить о том, что Н. Бор применял свой принцип дополненности, исходно сформулированный для решения проблем физики, не только в психологии и биологии для сравнения механистического и телеологического способов анализа, но и для обсуждения отношения между культурами. Это интересно потому, что тут возникают явные параллели с «культурной комплементарностью», о которой только что шла речь. «Мы поистине можем сказать, – пишет Н. Бор, – что разные человеческие культуры дополнительны друг к другу». Однако, в отличие от физики и психологии, подчеркивает он, здесь нет взаимного исключения черт, принадлежащих разным культурам (1961, с. 49, 128). Мы полагаем, что развитие этого представления могло бы дать интересные результаты, важные для сосуществования культур.

Например, Г. И. Абелев (2006) отмечает, что разнообразие национальных наук (определяемое различием традиций, особенностями образования, спецификой социальных проблем и национальных характеров в разных странах) принадлежит к главным ценностям мировой науки. Во введении уже говорилось о специфике наук, принадлежащих к разным культурам. Наша позиция согласуется с идеей Н. А. Бердяева (1991а) о том, что истина не национальна, она – универсальна, но разные национальности могут быть призваны к раскрытию ее разных сторон. Интересно было бы проанализировать роль этих различных взглядов на реальность (как и А. В. Юревич (Yurevich, 2007), мы считаем, что эта роль в развитии мировой науки – положительная), т. е. рассмотреть мировую

науку как состоящую из разнородных компонентов систему, в которой эти компоненты взаимодействуют для получения полезного результата – развития научного знания. Тогда представляется контрпродуктивным желать унификации культуроспецифичных наук, как и, например, желать, чтобы была преодолена культурная специфика, хоть и ценная, но являющаяся препятствием на пути к созданию «всемирной литературы», которая «возникнет по преимуществу тогда, когда отличительные признаки одной нации будут выравнены (ausgeglichen) через посредство ознакомления с другими» (Гёте, 1827, цит. по: Михайлов, 1985).

С позиций той же логики, имея в виду предполагаемую связь особенностей языка и мышления, (Гумбольдт, 1985; Слобин, 2004; Уорф, 1960; и др.), можно считать, что смешение языков строителям Вавилонской башни позволило достичь сразу двух результатов: не только того, который по ясным причинам принято считать главным, – прекращения строительства, но и, как нам кажется, не менее значительного – обогащения культуры мира как целого. Поэтому можно согласиться с С. Пинкером (2004) в том, что массовое исчезновение языков, которое является частью более общей потери – многообразия во всем, есть «нависшая над историей человечества трагедия». В нынешнем столетии до 90% от всех существующих в мире языков (до 5400) находятся под угрозой исчезновения (см.: Бергельсон, 2007). Понимание этой угрозы единообразия (как в науке, так и в культуре в целом) может способствовать принятию мер, направленных если не на полное устранение этой угрозы, то хотя бы на торможение процесса. Умеренный оптимизм вселяет пример иврита, который, как это выяснилось в прошлом столетии, оказалось возможным вновь сделать «живым» языком.

Обсуждая далее влияние индивидов на культуру, следует отметить, что здесь приложима логика, сходная с той, что была применена к пониманию соотношения индивидуального и коллективного результатов. Говоря о «креативности» как об эволюционном процессе, А. Н. Уайтхед отмечает, что индивиды могут «творить» свое окружение, но одного индивида для этого недостаточно – необходимо «сообщество совместно действующих организмов» (1990, с. 173). Несмотря на то, что новая идея возникает у отдельного человека, а не во всем обществе (Дьюи, 1916), и что именно «индивидуальная инициатива может привести к открытию новых истин... – это дело коллективное... Новации, предложенные отдельными индивидами, нужно рассматривать в качестве возможных способов решения тех проб-

лем, которые являются источниками коллективной неудовлетворенности» (Тулмин, 1984, р. 208–209). Они являются «коллективным делом». Инновации, исходящие от индивида, основаны на инновациях и идеях других (Gabora, 1997). А также на оценке, которое дает общество инновации, даже в том случае, если это самоотчет о достигнутом результате, который, как уже отмечалось выше, принципиально социален: человек всегда смотрит на себя «глазами общества».

Креативный акт есть вариант процессов научения (Guilford, 1950), имеющих место на протяжении всей жизни индивида. И если рассматривать креативный акт лишь «с позиции индивида», то разница между инновацией и индивидуальным постижением становится эфемерной. Постигание того или иного знания сильно напоминает процесс его производства и происходит как «повторное открытие» (Bereiter, Scardamalia, 1996; Popper, Eccles, 1977). Учет же позиции социума, основанный на понимании креативности как атрибута социума, а не индивида (Feldman et al., 1994), сразу делает ясным, что прежде чем предположение станет реальной возможностью, будет «включено в культуру» в качестве инновации, оно должно быть *коллективно* воспринято как новое и заслуживающее внимания (Тулмин, 1984), оценено в соответствии с внешними по отношению к индивиду стандартами (Candy, Edmonds, 1999).

Сказанное не отменяет положения, сформулированного J. P. Guilford, но позволяет предположить, что научение и креативность – разные полюса одного континуума (Thornton, 2003). Попытки найти разницу между обычным научением и реальной инновацией лишь «в голове индивида» без учета структуры культуры, канализирующей данное научение (без учета наличных культурных эффордансов), по-видимому, ограничено эффективны и могут быть рассмотрены как вариант когнитивного солипсизма.

На рисунке 2 сплошная стрелка, символизирующая формирование новой единицы культуры (путем создания ее нового элемента и интеграции его с ранее сформированными), идет от фрагмента, представляющего структуру субъективного опыта индивида, но смыкается с пунктирной линией, указывающей на вовлеченность в процесс инновации общества.

#### КУЛЬТУРА КАК НАБОР ЭФФОРДАНСОВ

М. Коул (1997, с. 361) справедливо критикует распространенный в психологии взгляд на культуру как на независимую переменную, а на психику – как зависимую. При этом, отмечает он, культура

оказывается стимулом, а психика – реакцией. В то же время последовательный системный подход и отказ от парадигмы реактивности заставляет отказаться и от рассмотрения культуры как набора стимулов, действующих на индивида, а индивида – как реагирующего на эти «стимулы-знания» или «стимулы-инструкции», «усваивающего» культуру, переносящего ее компоненты в «свою голову». Рассмотрение культуры как оказывающей причинное воздействие на поведение, вводит в заблуждение и, более того, бессмысленно (Kitayama, 2002).

Не только применительно к разбираемому вопросу, а и вообще рассмотрение индивида как наблюдателя, реагирующего на среду (в том числе социальную), отмечает М. Midgley, не просто упускает или ошибочно интерпретирует некоторые детали при анализе той или иной частной проблемы, но целиком теряет возможность использовать язык активности, совершенно незаменимый в понимании действий человека. Эта логика, видимо, применима и к животным. Картезианская метафизическая пропасть между «людьми, которые субъекты, и животными, которые всего лишь объекты, была иллюзией» (1994, р. 90, 176).

Реактивностному подходу к индивиду как реагирующему на среду наблюдателю противостоит рассмотрение его как активного субъекта (Брушлинский, 2003). В физиологии и психологии (особенно в теории деятельности) принцип активности (и системности), аргументированно противопоставляется реактивности, рассматривается как «оппозиция», «антипод» последней (Александров, Крылов, 2005; Асмолов, 1983; Крылов, Александров, 2007; Петренко, 1999; Шишкин, 2006; Alexandrov, Jarvilehto, 1993; Alexandrov, Sams, 2005; Engel, Fries, Singer, 2001; Freeman, 1997; Thompson, Varela, 2001; и др.).

Н. Бор (1961) предлагает рассматривать механистический и телеологический подходы в биологии как «дополнительные» в соответствии с его известным принципом, первоначально использованным в физике. Эта точка зрения весьма популярна. В принципе, с позиций неодетерминизма (Бунге, 1962), полидетерминированность явлений может быть принята. Однако говорить о дополнительности в данном случае, как мы полагаем, можно лишь в таком аспекте: допустимо рассматривать индивида не только как *живое существо* (при рассмотрении которого необходим именно телеологический подход), но и как *физическое тело*, подвергающееся физическому воздействию (и тогда годится реактивный подход,

поскольку мы можем говорить о «реакции на внешнее воздействия... в телах мертвой природы» – Бехтерев, 1991, с. 21) (см.: Александров, 2004в). Понятно, что рассмотрение индивида как физического тела валидно для решения узкого класса весьма специальных, видимо, преимущественно практических задач.

Эту точку зрения можно соотнести с представлением П. Я. Гальперина о том, что в эволюции от неорганического мира к человеку имеются «большие ступени». К первой из них относится исходный «уровень физического действия». На этом уровне «механизм, производящий действие, безразличен к его результатам». На следующем же «уровне физиологического действия» организмы «заинтересованы в определенных результатах производимых действий». И физиологический уровень «включает» физический. Что же касается сказанного нами об узком классе специальных задач, где может быть удобно ограничиться физическим уровнем механической, а не телеологической детерминации, П. Я. Гальперин приводит хороший пример: «Если неумелый альпинист срывается со скалы, он падает не как субъект, а как физическое тело» (2006, с. 205, 209, 197). Действительно, если не представляет интереса то, что «внутри» падающего альпиниста, такое описание вполне достаточно.

Культуру можно анализировать в качестве среды (динамической – Лихачев, 1994), представляющей собой «пространство исторического опыта... порождающее те или иные человеческие качества». Именно так, как правило, выступает культура в психологических исследованиях (Гусельцева, 2006, с. 10). С позиций парадигмы активности (см. Александров, 2004а; Анохин, 1975; Бернштейн, 1990; Швырков, 2006) логично по аналогии с рассмотрением соотношения среда-организм в экологической психологии представить культуру как среду, включающую набор эффордансов (Alexandrov, 2002; Barensten, Trettvik, 2002; Ingold, 2000; Kitayama, 2002; Kitayama, Markus, 1999; Nisbett, Miyamoto, 2005), в данном случае искусственно созданный.

Эффордансы являются *не стимулами*, а «предоставителями» возможности сформировать и реализовать определенное поведение (Гибсон, 1988). Выше мы специально подчеркнули, что человек именно *формирует в культуре свой опыт*, а не, как это представлялось (Психологические исследования..., 1975; Швырков, 2006; Alexandrov, 1999а, 2000; Wilson, 1998), «усваивает» ее содержание или «усваивает элементы общественного сознания», превращая их в «элементы индивидуального сознания». Наша позиция перекликается

с идеями Ф. Добжанского, который, говоря о формировании человека, подчеркивает, что его «делают» генотип и биография: «Я употребляю слово «биография», а не «среда», потому что в некоторой степени человек сам делает себя таким, каким он хочет быть» (2000, с. 15).

Иначе говоря, формирование элементов индивидуального опыта, системогенез (научение) разворачивается в культурной среде, и *каждый из элементов*, в этой среде сформированных, имеет «культурное содержание». Поэтому можно согласиться с утверждением, что «культурное поведение ничем существенным не отличается от любого другого поведения, сформировавшегося в результате обучения» (Матурана, Варела, 2001, с. 178). Во всяком случае, если рассматривать соматический аспект: во всех случаях имеет место системогенез, и в результате формируется новый элемент опыта.

Учитывая сделанные оговорки, можно согласиться с тем, что индивидуальный опыт «включает» трансформированный общественный опыт (Рубинштейн, 1989а). Но включает в «растворенном» виде, присутствуя в каждом элементе опыта, сформированном индивидом, развивающимся в культуре. Если принять логику формирования опыта в культуре, то становится очевидной правота Т. Ingold, который считает, что формирование опыта индивида есть не следствие «передачи ему информации», а «направляемое переоткрытие» способа достижения результата (2000, р. 288). Так и N. Chomsky (1968) специально подчеркивает, что язык «переоткрывается» каждый раз, когда индивид его осваивает в процессе обучения.

Если учесть также, что развитие индивида в культуре обуславливает культурную специфичность не только очевидно «культурных» феноменов, подобных языку, но и таких его навыков, как, например, ходьба, то точка зрения о системогенетическом характере «потребления» культуры согласуется с позицией, изложенной В. П. Зинченко и М. К. Мамардашвили (1977). Со ссылкой на Н. А. Бернштейна они подчеркивают, что движения не усваиваются, а строятся субъектом. И это касается не только построения движений, но всей деятельности, всех «психических функций».

Имея в виду, что одной из задач настоящей работы является анализ социальных представлений, подчеркнем, что к ним, естественно, приложима та же логика – они не усваиваются, а воссоздаются индивидом, формирующим индивидуально специфичное поведение в культуре. Так, С. Nowarth подчеркивает, что социальные представления не «впитываются», а «реинтерпретируются», «реконструируются» человеком (2002, р. 156).

Следовательно, при рассмотрении с развиваемых здесь позиций не только коллективное представление оказывается «антикартезианским понятием» (как это формулирует С. Московичи, придающий данному утверждению такое значение, что выносит его в название подзаголовка статьи: Московичи, 1995а, с. 5), но культура в целом.

## ГЛАВА 4

## АНАЛОГИИ МЕЖДУ СИСТЕМНЫМИ СТРУКТУРАМИ СУБЪЕКТИВНОГО ОПЫТА И КУЛЬТУРЫ

**П**о-видимому, существует «не только сходство, но строгая параллельность» между структурными единицами попперовских Мира II (мир состояний сознания и «субъективного знания») и Мира III (мир созданных человеком идей и артефактов, мир «объективного знания») (Сколимовский, 2000). Соотносимость этих структур отмечалась многими авторами (Коул, 1997; Лотман, 2000; Nisbett, Miymoto, 2005; Witkin, 1967; Witkin et al., 1962). Подчеркивались также аналогии между биологической и культурной эволюцией (см.: Mesoudi et al., 2006).

Сопоставление культуры и субъективного опыта с развиваемых здесь позиций позволяет обнаружить следующие аналогии.

**1** Формирование обеих системных структур: субъективного опыта и культуры основано на *принципе селекции*.

Выше было описано формирование элементов субъективного опыта как представленное стадиями селекции нейронов, разворачивающимися при созревании и у взрослого. На первой из них формируются преспециализации клеток, а на второй – специализации в отношении конкретных индивидуально специфичных элементов опыта. Культура также формируется путем отбора ее компонентов (Смелзер, 1994; Шанже, Конн, 2004; Mesoudi et al., 2006; Richerson, Boyd, 2005).

Формирование такого компонента культуры, как наука, рассматривается С. Тулмин (1984) через модель развития посредством новообразований, образования «популяции» концепций и отбора, действующего в данной популяции. В соответствии с представлениями Р. Доукинза (1993) развитие культуры может быть рассмотрено как специальная форма эволюционных процессов, предусматривающих формирование, борьбу и отбор идей-мемов. Мемы являются, с его точки зрения, более эффективными инструментами, обеспечивающими преимущества тех или иных генов, чем зубы или когти.

**2** Развитие и субъективного опыта, и культуры осуществляется как переход *от менее дифференцированных к более дифференцированным формам*.

Принцип дифференциации может быть отнесен к наиболее общим законам развития (Камшилов, 1978). Его применение позволяет а) выделить формальные свойства организации и тем самым дать описание разнообразным процессам в общих терминах, б) охарактеризовать динамику процессов, в) связать настоящее и прошлое в поведении индивидов и групп (Werner, 1962, p. vi).

При рассмотрении индивидуального развития рядом авторов, находящихся на разных позициях, были приведены аргументы в пользу того, что развитие (и онто-, и филогенетическое) может быть рассмотрено как нарастающая дифференциация и сложность в соотношении индивида со средой (Александров, 1989; Сергиенко, 2004, 2006; Чуприкова, 1997; Шмальгаузен, 1982; Alexandrov, 1999a, b; Alexandrov, Sams, 2005; Tononi, Edelman, 1998; Werner, 1962; Werner, Kaplan, 1956).

В случае культуры дифференциация проявляется в переходе от слитности и необособленности к стадии расчленения и дифференциации общественной жизни, в возрастающей сложности общественных связей и норм их регулирования (Богданов, 1913–1917; Вебер, 1990; Дюркгейм, 1991; Сеченов, 1943; Соловьев, 1894, 1896; см.: Чуприкова, 2000), в увеличении числа различных «культурных специализаций» и уменьшении «доли культуры», осваиваемой индивидом.

В рамках подхода «культурных стилей» получены данные, свидетельствующие о том, что степень дифференцированности субъективного опыта зависит от соответствующих характеристик культуры, в которой этот опыт формируется. Эти данные позволяют полагать, что показатели дифференциации культуры и субъективного опыта людей, живущих в ней, коррелируют положительно (Коул, 1997; Witkin, 1967; Witkin et al., 1962).

**3** Как при формировании структуры субъективного опыта, так и при формировании структуры культуры *вновь образовавшиеся элементы этих структур не отменяют ранее образованных, но «наслаиваются» на них*.

Что касается структуры опыта, уже было отмечено выше, что она представлена всеми системами, накопленными индивидом на протяжении его жизни (Александров, 2004a; Швырков, 2006; Alexandrov et al., 2000). Сходные представления высказывались ранее Бернштейном (1990), Выготским (2002), Орбели (1942), Пономаревым (1999), Jackson (1958), Ribot (1901).

Одним из следствий наложения является увеличение числа элементов, составляющих единицы культуры и опыта (на рисунке 2

единицы изображены как расположенные по вертикали овалы от минимально до максимально дифференцированных, заключенные между двумя пунктирными линиями), при формировании и добавлении нового элемента структуры. Можно полагать, что и в том, и в другом случае число связей между элементами структур (и их сложность) нарастает быстрее, чем число элементов (Gabora, 1997).

Анализ закономерностей развития культуры приводит авторов к формулировке сходных положений (Ахиезер, 2001; Бергельсон, 2007; Бочаров, 2000; Вебер, 1990; Левин, 2000; Лотман, 2000; Рыбаков, 1981; Фрэзер, 1980; Donald, 1993; Voelklein, Howarth, 2005).

M. W. Donald (1993) выделяет три стадии развития культуры человека: эпизодическая, миметическая и символическая культуры, которым соответствуют следующие стадии эволюционного развития человека: австралопитек, *Homo erectus* и *Homo sapiens*. Ремнанты этих стадий могут быть обнаружены у современного человека. Например, «язык тела» (миметическая стадия эволюции речи) продолжает использоваться для коммуникации и сегодня: спорт, театр, ритуалы, танцы и т. д.

Эволюция религиозных представлений рассматривается как «наслаивание нового на старое». Архаичные представления, возникающие на ранних стадиях развития, продолжают существовать, несмотря на то, что «над ними» уже сформировались новые наслоения (Рыбаков, 1981, с. 598).

Анализ динамики русской культуры показывает, что ранее сформированное по прошествии времени не «уходит в прошлое», не исчезает из нее. Новая (христианская) культура конституировала себя, противопоставляя старой – языческой. Последняя, таким образом, выступила «как необходимое условие культуры как таковой. Тем самым та „новая культура“, которая мыслила себя как отрицание и полное уничтожение „старой“, практически являлась мощным средством сохранения этой последней, включая в себя как... тексты, так и сохраненные формы поведения при зеркальной перевернутости функций». Из сознания православных языческие представления не были вытеснены. Они сохранились, но расценивались как имеющие «ограниченное и подчиненное значение». В определенных ситуациях человек «должен был осуществлять внехристианское поведение. Но христианское поведение было открытым и демонстративным, а языческое (например, обращение к колдуну или знахарю...) – тайным, скрытым и как бы не существующим» (Лотман, Успенский, 1977, с. 8, 17).

Наслаивание обнаруживается при анализе не только религиозной, но и светской жизни. Так, отмечается, что в результате глубоких петровских реформ Россия не стала похожей на Голландию. Европейские формы производства, нового экономического порядка, перенесенные в Россию, «засасывались» и модифицировались ранее сложившейся системой отношений. Предусматривалось внедрение «свободного предпринимательства» насильственным путем: «Заводы размножать не в едином месте, – писал Петр. – ...и заведение дать торговым людям, собрав компанию, буде волею не похотят, хотя в неволю» (Карацуба и др., 2006, с. 176, 177; курсив наш. – Ю. А., Н. А.).

Таким образом, оказывалось, что в петровские и послепетровские времена не происходило противопоставления вновь формирующейся «европеизированной» части русской жизни ее «азиатской» толще, хотя такая трактовка соотношения старого и нового в послепетровской культуре постоянно репродуцируется. «Читая эти регламенты, инструкции и указы, вы не можете отделаться от впечатления глубоких изменений в строе русской жизни, осуществляемых благожелательными заботами попечительной власти. Как будто вся русская жизнь сдвигается на ваших глазах с своих оснований и из-за обломков разрушенной старины вырастает новая европеизированная Россия. Под впечатлением этой внушительной картины вы обращаетесь затем к изучению этой европеизированной России, но по таким документам, в которых записывались не преобразовательные мечты, а обыденные факты текущей жизни. И скоро от вашего миража не остается и следа. С полувыцветших страниц этих документов, *из-под внешней оболочки нового канцелярского жаргона на вас глядит старая московская Русь, благополучно переступившая за порог XVIII ст. и удобно разместившаяся в новых рамках петербургской империи*» (Кизеветтер, 1912, цит по: Лотман, Успенский, 1977; курсив наш. – Ю. А., Н. А.).

С другой позиции к сходному заключению приходит К. Левин. Если мы хотим поменять один аспект культуры, – пишет он, – следует помнить о том, что их тысячи, и все они могут сопротивляться осуществляемым манипуляциям, «возвращая культуру к прежним, привычным паттернам... культура – явление водонепроницаемое» (2000, с. 164).

Примером особенности жизни, которая сохраняется, несмотря на принципиальные социально-экономические изменения, и характеризует разные эпохи истории России, может быть «официальная ложь». В середине XIX в. автор выходящих в Лондоне «Голосов

из России» (1976) писал: «Одно из величайших зол, которым страдает Россия... это господствующая всюду официальная ложь. Можно без преувеличения сказать, что всякое официальное изъяснение не что иное, как ложь. Все отчеты и донесения высших государственных сановников суть ложь, все отчеты и донесения губернаторов и других областных властей суть ложь, все статистические сведения суть ложь, все уверения в преданности и любви суть ложь, все публичные акты... суть ложь; наконец даже большая часть патриотических изъяснений не что иное как чистая ложь». И при этом «как расписывают продажные и раболепные писатели любовь русского народа к установленным властям и блаженство, которым он наслаждается... Официально все невероятно счастливы, но если поднять эту лживую занавеску, сколь различно будет зрелище, которое представится нашим глазам!» (1976, с. 86, 97).

В год, когда вышел первый выпуск факсимильного издания «Голосов из России» (1974)\*, появились известные письма

\* Вообще, появление в то время «Голосов из России» с текстами, подобными только что процитированному, и даже без грифа «Для научных библиотек» было удивительно. Применение этого грифа, по замыслу, должно было ограничивать распространение книг, вызывающих нежелательные ассоциации; таких, скажем, как книг о характерных чертах и вариантах фашизма, которые могли быть легко сопоставлены с чертами существовавшего тогда в нашей стране строя; см., например, этот гриф на титульном листе книги Р. Бурдерона (1983). Впрочем, последнюю можно было купить в обычном книжном магазине: суровость законов российских смягчается, как известно, необязательностью их исполнения.

Озадачивает, конечно, мотивация не тех людей, которые готовили издание, а чиновников, санкционировавших выход книги. Это объяснялось, может быть, тем, что лица, принимавшие решение, предполагали (справедливо), что большинству людей, которых может заинтересовать подобная книга, и так все ясно. Либо, вероятнее, тем, что цензоры часто работали не лучше, чем другие граждане. И тогда данное издание вполне могло рассматриваться ими лишь как еще один скучный, не стоящий их особенного внимания документ из истории революционного движения России. Истории надоевшей им (в своем официальном варианте) еще в школе. Либо, наконец, тем, что и среди цензоров (позже выяснилось, что и среди членов ЦК и Политбюро), возможно, были люди, в чем-то согласные с критиками существующего строя.

Сходную проблему формулирует В. Бекасов в статье, посвященной 150-летию «Колокола». Обсуждая факсимильное издание «Колокола»

А. И. Солженицына: «Письмо вождам Советского Союза» и «Жить не по лжи». В первом из них, характеризуя ситуацию в стране и выражая чувства многих, он утверждал: «Всеобщая обязательная, принудительная к употреблению ложь стала самой мучительной стороной существования людей в нашей стране – хуже всех материальных невзгод, хуже всякой гражданской несвободы» (2005а, с. 342). Во втором Солженицын пишет: «Насилию нечем прикрыться, кроме лжи, а ложь может держаться только насилием... оно требует от нас только покорности лжи, ежедневного участия во лжи – и в этом вся верноподданность... Пусть ложь все покрыла, пусть ложь всем владеет, но в самом малом упрямся: пусть владеет не через меня!» (1999, с. 571; курсив наш. – Ю. А., Н. А.).

П. Вайль и А. Генис дополняют эту работу Солженицына: «Когда Солженицын выдвигал свой знаменитый призыв «жить не по лжи», он, возможно, даже не представлял со всей отчетливостью – насколько проникла ложь во все поры советского общества, до основания разъедавая народный организм. Вопиющие примеры обмана существуют и в такой важнейшей сфере человеческой деятельности, как еда. Под невнятным кодом «борщ б/м» скрывалась отвратительная бурда «борщ без мяса». «Мясом четвертого сорта» именовались отшлифованные временем кости, отвар из которых отпугивал даже непородистых собак. Густой замес из копыт и желатина по 36 коп. за килограмм назывался «студнем». В ходовом столовском сочетании «бифштекс натуральный рубленый» только последнее слово было правдивым» (2002, с. 148, 149).

Следует заметить, что перерыва во лжи не было. Всего через три-четыре года после октябрьской революции В. Г. Короленко писал А. В. Луначарскому о том, что ложь самодержавия, от которой оно рухнуло, сменилась новой ложью: «Вашей диктатуре предшествовала диктатура дворянства. Она покоилась на огромной лжи, долго тяготевшей над Россией... Вместо того, чтобы внять

в 1962 г. в СССР, автор спрашивает: «Как власти допустили это?» Популяризация идей «Колокола», воспевание бунта – верный путь к расширению антисоветских настроений в СССР, – справедливо отмечает он. «Была сделана ставка на то, что его просто никто не будет читать», – предполагает В. Бекасов и рассказывает историю о некоем партийном деятеле, который, чтобы убить время, стал читать случайно попавший в его руки том Герцена. «„Ну и гад же какой был, оказывается, а мы его хвалим“, – такой оказалась вполне закономерная реакция „государственника“» (2007, с. 32, 35, 36).

истине и остановиться, оно (самодержавие) только усиливало ложь... И строй рухнул. Теперь я ставлю вопрос: все ли правда в нашем строе? Нет ли следов такой же лжи в том, что вы успели теперь внушить народу? По моему глубокому убеждению, такая ложь есть, и даже странным образом носит такой же широкий, «классовый» характер» (Антология самиздата..., 2005, т. 1, кн. 2, с. 214, 215). И снова строй рухнул.

И в том, что касается «официальных писателей», мало что изменилось. Они вели себя примерно так же и примерное такое же вызывали к себе отношение у общественности. Вот что писал в 60-х годах в своих дневниках А. Т. Твардовский о писателях по горячим следам «проработки» Солженицына на секретариате Союза писателей: «Корнейчуки и т. п. говорили не то, что чувствовали и знали, – велений совести, как, пожалуй, и самой совести, там не было. Они говорили готовые слова, какие говорят в случаях, подобных этому, – слова, которые «соответствовали» по форме, обязательны в силу понятий, сложившихся где-то вне их, но отнюдь не в силу личной обязательности. Они могут говорить и другие, совсем противоположные слова, если те внешние понятия изменятся... И случись завтра быть новым понятиям извне – они, такие люди, готовы их проводить, хотя бы это даже было им не по душе, совсем не по душе, как это было в пору «развенчания культа»\*. Они говорят те слова, которые гарантируют им личную безопасность, благополучие и преуспевание... они способны на любую гадость и подлость, привычно относя их к высшей, независимой от них необходимости, которая все берет на себя. И когда они видят, что кто-то позволяет себе роскошь возражать этой высшей необходимости, это их раздражает: ты хочешь быть умнее, благороднее нас, а мы – дерьмо – пусть так, но погоди – сам никуда не денешься» (2002, с. 166–167). В то же время значительные творения культуры того периода почти целиком создавались не ими, а в противостоянии официальной идеологии (см.: Шафаревич, 2000).

И позже, по прошествии уже многих лет, в том числе и при ретроспективном анализе жизни в СССР авторы продолжают отмечать всепроникающую официальную ложь, «мегатонны лжи, от которой... нечем дышать» как один из главных приемов внутренней и внешней политики (Буковский, 1996, с. 76), как принципиальную характеристику власти.

\* «Культ личности» И.В. Джугашвили (Сталина).

У многих людей в СССР не вызывало никаких сомнений то, что кругом «царит ложь» (Григоренко, 1997, с. 390). Ощущения правозащитников – тех, кто, может быть, наиболее остро воспринимали пороки власти, хорошо видны на примере отрывка из воспоминаний В. И. Белкина – одного из организаторов Всесоюзной демократической партии, исключенного из Института международных отношений. Белкин находился в лагерях с 1949 по 1955 гг., а после освобождения жил в Тюмени. «Особенно возмущало явное торжество самой беспардонной лживости любого официального сообщения, любого тезиса <...> пропаганды, насаждаемой науки, литературы, искусства. Поскольку никто из нас вроде бы к числу дебилов не принадлежал, крайняя лживость нашей официальной пропаганды незамеченной не оставалась» (2004, с. 21, 22).

Эти чувства выливались и в поэтические строки, которые мы приводим для того, чтобы стало яснее, на каком эмоциональном фоне разворачивалась деятельность правозащитников, что они рассматривали как один из главных пороков власти, требующий искоренения:

*Это – я  
Призывающий к правде и бунту,  
не желающий больше служить,  
рву ваши черные пути,  
сотканые из лжи.*

Ю. Т. Галансков (цит. по: Вайль, Генис, 2001, с. 185).

Ю. Т. Галансков – правозащитник, обвиняемый на известном «процессе четырех» (вместе с А. И. Гинзбургом, А. А. Добровольским и В. И. Лашковой; см. Процесс цепной реакции, 1971). Был приговорен к семи годам лишения свободы в лагерях строго режима.

Н. М. Коржавин (Антология самиздата ..., 2005, т. 1, кн. 2, с. 28) в стихотворении «На смерть Сталина» писал:

*Ведь он считал,  
что к правде путь тяжелый,  
А власть его  
сквозь ложь  
к ней приведет.  
А ложь кругом трясиной нас сосет.*

Представители власти, демаскирующие «властную» ложь, наказывались. Так, в «совершенно секретной информации об участии заместителя министра иностранных дел Белорусской ССР В. И. Формашева в инциденте, произошедшем в колхозе «Коммунизм»

Минской области от 9 мая 1949 г.» говорится, что Формашев Вячеслав Иванович в июне месяце 1947 г. привез иностранных корреспондентов вместо специально отобранного «колхоза имени Сталина Логойского района Минской области, в котором были проведены соответствующие мероприятия по их встрече... в другой самый отсталый колхоз «Коммунизм» Логойского района. По приезде в колхоз «Коммунизм» корреспондентов встретил председатель колхоза Римша Антон, который по своему внешнему виду был грязный, оборванный и босиком. Римша пригласил всех приехавших в свою квартиру, находившуюся в крайне антисанитарном состоянии, вследствие чего иностранцы не пожелали остановиться в ней и сразу же вышли на улицу, где и происходила их беседа с председателем колхоза. На поставленные корреспондентами вопросы о материальном и бытовом положении колхозников председатель колхоза Римша ответил, что колхозники в прошлом году на трудодень получили только по 180 г ржи и больше ничего и что население испытывает большие материальные затруднения. Вокруг иностранцев собралось большое количество колхозников, и некоторые из них выкрикивали, что они не имеют хлеба, варят и едят траву, что живут очень плохо и т.п. Перед отъездом иностранцев их обступила толпа колхозников, которые кричали и жаловались, что пухнут с голода, едят хлеб из травы, а одна колхозница подошла к корреспонденту газеты «Нью-Йорк трибюн» Нисману и показала ему лепешку, приготовленную из картошки с травой, заявив, что колхозники питаются таким хлебом. Таким образом, по существу, Формашевым сознательно была допущена провокационная вылазка отдельных антисоветски настроенных колхозников перед иностранцами с целью дискредитации колхозного строя. Бюро ЦК КП(б) Белоруссии объявило Формашеву выговор со снятием с должности заместителя министра иностранных дел БССР» (Книга для учителя..., 2002, с. 329–330).

Зарубежные (например, французские) исследователи также выделяли официальную ложь в качестве важнейшей характеристики жизни нашей страны в советский период, называя СССР страной «потрясающей лжи» (см.: Тимофеева, 2004). Не удивительно поэтому, что хотя среди правозащитников были люди самых разных, часто несовместимых политических убеждений, но их всех (а также и тех многих и многих, кто формально не включался в правозащитное движение) объединяло главное: «неприятие лицемерия и лжи, господствующих в общественной жизни» (Ковалев, 1997, с. 9).

Выраженность и сохраняемость данной характеристики не будет удивлять, если принять во внимание обнаруживаемое в эмпирических исследованиях терпимое отношение ко лжи «во благо», к «белой» лжи в межличностных отношениях, отличающее русскую культуру от западной (Знаков, 2005а; см. главу 7). Если управляющей персоне в России было необходимо отобрать людей в аппарат управления, одним из препятствий был недостаток людей, не приемлющих ложь. Таким образом, в управление, в том числе высшее, попадали люди, ее приемлющие и считающие ее допустимым коммуникативным приемом. Однако из только что приведенных выдержек ясно, что отношение общественности ко лжи «сверху» было далеко не таким терпимым, как ко лжи собственной. И это тоже не удивительно, поскольку исторический опыт показывает, что намеренная дезинформация со стороны государственных органов обеспечивает, как правило, не интересы народа (и не мотивирована этим, т.е. не является «белой» ложью), а личные интересы представителей власти, выдаваемые за интересы государственные. В результате в этическом отношении обман «сверху» не получает оправдания (подробнее см.: Дубровский, 1994). Кроме того, можно выделить ложь, в «благости» которой лгуший убежден, и ложь, вынужденную спускаемыми сверху правилами, следование которым ведет к внутреннему конфликту, поскольку оно, это следование, противоречит убеждениям, но обеспечивает минимальное благополучие. Нарушение же этих правил, отказ от лжи – серьезный поступок. А.И. Солженицын писал: «И если написать крупными буквами, в чем состоит наш экзамен на человека:

**НЕ ЛГАТЬ! НЕ УЧАСТВОВАТЬ ВО ЛЖИ! НЕ ПОДДЕРЖИВАТЬ ЛОЖЬ!**

то будут смеяться над нами не то что европейцы, но арабские студенты, но цейлонские рикши: всего-то столько от русских требуется? И это – жертва, смелый шаг? А не просто признак честного человека, не жулика? Но пусть смеются грибы другого кузова, а кто в нашем давится, тот знает: это действительно очень смелый шаг. Потому что каждодневная ложь у нас – не прихоть развратных натур, а форма существования, условие благополучия всякого человека. Ложь у нас включена в государственную систему как важнейшая сцепка ее, миллиарды скрепляющихся крючочков, на каждого приходится десяток не один» (2005б, с. 257).

Здесь можно еще заметить, что ложь верхов, отсутствие «истинной правды» у монархии приходит в конфликт со стремлением

русского человека к «государству правды», которое свойственно не только интеллигенции, но и «непросвященному народу» (Алексеев, 1998). Разное отношение к собственной и ко «властной» лжи хорошо согласуется с характерным для России противостоянием народа и власти (подробнее см. главу 7).

Прослеживаются эффекты «наслоения» также в литературе: «Ни один из типов, созданных великими русскими писателями... не исчезает из литературы» (Лихачев, 1994, с. 724). И в науке «старые идеи никогда не исчезают полностью» (Waal, 1996, p. 23).

Таким образом, «вписать» новый элемент культуры в имеющуюся структуру, создать новую единицу культуры можно только одним путем – согласовав вновь сформированный элемент с созданными ранее, уже существующими. Сказанное касается, разумеется, и способа формирования единиц, предполагающего «разрушение старого до основания». Ясно, что это радикальное мероприятие может быть лишь «фигурой речи», если иметь в виду конечный результат реорганизации структуры культуры. «Отбросить прошлое» – значит, прежде всего, учесть его в построении будущего. Аналогии 2 и 3 обуславливают возможность аналогичной динамики сравниваемых системных структур субъективного опыта и культуры: возможность регрессии – временной «дедифференциации» в особых условиях, в которые попадает индивид или общество соответственно.

4 Выше отмечалось, что *реализация поведения* есть реализация истории формирования поведения, которая осуществляется посредством *одновременной актуализации множества элементов опыта – систем разного возраста*. Ю. М. Лотман (2000, с. 673) использует удачную метафору, рассматривая культуру по аналогии с индивидуальной памятью как «коллективную память», подчеркивая, что элементы коллективной памяти, как и индивидуальной, могут быть актуализированы. Обнаружение ремнантов в современности (см. выше, а также: Raudsepp, 2005) позволяет полагать, что *в культуре процесс актуализации затрагивает множество систем: наряду с новыми и древние ее элементы*.

## СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ УМНОМ ЧЕЛОВЕКЕ

Во введении мы отмечали, что рассматриваем анализ социальных представлений в качестве дополнительного инструмента для разработки представлений о соотношении системной структуры субъективного опыта и культуры, а также приводили аргументы, обосновывающие целесообразность использования этого инструмента в данной работе. В настоящей главе описываются результаты исследования имплицитных представлений об интеллектуальной личности в России, а также осуществляется их сопоставление с данными, полученными при изучении этих представлений в других странах, особенности культуры которых имеют как сходные, так и отличные от российских характеристики.

*Обыденное и научное знание.* Имплицитные представления об умном человеке относятся к социальным представлениям, составляющим обыденное знание. Последние нельзя рассматривать лишь как набор примитивных и в отличие от научных искаженных знаний и предубеждений. Если бы это знание было лишь «пустой фантазмагорией», то, как справедливо отмечает Дюркгейм, было бы непонятно, как оно так долго могло формировать человеческое сознание (см.: Московичи, 1995а), как могло быть эволюционно отобрано в качестве принципиально важного компонента культуры и субъективного опыта. Так, например, представления о специфике национального характера людей, принадлежащих к разным этническим группам, может способствовать стабилизации групп. А. Terracciano с соавт. (2005), проанализировав упомянутые представления применительно к 49 культурам и сравнив мнения людей об особенностях национальных характеров с усредненными данными, полученными с помощью личностных опросников, обнаружили следующее. Хотя представления людей – вполне надежный, воспроизводимый показатель, но он не соответствует данным, полученным с помощью опросников. *Межкультурные различия национальных черт характера, декларируемые людьми, намного больше, чем те, которые выявляются с помощью опросников. Стереотипные представления о национальных характерах, имея мало*

общего с реальными особенностями людей в анализируемых культурах, создаются при посредстве СМИ, образования, и пр. (подробнее о национальной специфичности как воображаемой сущности, конструируемой человеком в данной культуре, см.: Соколов, 2009). Данные А. Террасциано с соавт., как справедливо считает R. W. Robbins, опровергают утверждения о том, что различия «суммарных» национальных характеров генетически обусловлены, и о том, что представления людей о «различиях национальных характеров отражают генетические различия между этническими или культурными группами» (Robbins, 2005, p. 63). Здесь для нас особенно важно подчеркнуть следующее заключение А. Террасциано с соавт.: *представления людей о специфике национального характера являются культурными феноменами, значение которых состоит в поддержке национальной идентичности.*

Признание обществом важности интеллекта определяет необходимость изучения того, что люди понимают под интеллектом, поскольку имплицитные теории служат основой для неформальных ежедневных оценок интеллекта (в школе, на работе) и для интеллектуального развития (взаимоотношения родитель – ребенок), а также потому, что эти теории могут лечь в основу психологических исследований.

G. Mugny и F. Carugati (1989) приводят три аргумента, которые указывают на важность исследования социальных репрезентаций интеллекта для изучения когнитивных процессов и их развития. Первое – при всем разнообразии мнений об интеллекте, существует нечто, с чем согласен почти каждый, это его позитивная ценность, которая является одной из основных социальных ценностей. Второй аргумент касается влияния, которое могут оказывать представления об интеллекте на актуальное развитие детского интеллекта через учителя, обучающего ребенка. Третий включает объяснение как интеркультуральных, так и интракультуральных различий, включая различия между подгруппами в одной и той же культуре.

Имплицитные представления являются основой формирования поведения человека, существенно определяя его эффективный, «успешный интеллект» (Sternberg, 2002). Их, как и культуру в целом, можно рассматривать в качестве эффордансов для соответствующих форм поведения (Raudsepp, 2005). От содержания обыденного знания в значительной степени зависит результативность индивидуальной (коллективной) деятельности и, в конечном счете, выживание социума (Московичи, 1995а, б). Поэтому *кросс-культурное*

*сопоставление имплицитных представлений, в частности представлений об интеллектуальной личности, и анализ их модификаций в связи с изменениями общественного устройства имеют значение не только для развития собственно науки (психологии, социологии, культурологи), заинтересованной в понимании состава, вариативности, культурной специфичности и динамики обыденного знания, но и опосредованно для формирования самого этого знания.* Дело в том, что между собственно наукой и обыденной наукой нет резкой границы. Так, например, в 1980-е годы констатировалось, что различие научных и обыденных теорий интеллекта не принципиально (см. ниже).

*Понятия обыденной науки, такие, например, как ум, память, внимание, воля, влечение, чувство и др. не только употребляются в быту для объяснения и предсказания поведения людей, но и влияют на формирование собственно научного знания* (Пинкер, 2004; Howarth et al., 2004; Semin, 1987; Sternberg, 1985), которое включает значительный объем неформулируемого «неявного знания» (Полани, 1998; ср.: Паскаль, 1999\*). Они используются в психологических, психофизиологических, нейробиологических и других исследованиях как при обосновании задач исследования, так и при трактовке его результатов. Решение этих задач способствует пересмотру и фрагментации исходных обыденных концепций и понятий (сколько, например, разнообразнейших процессов, «систем» и пр. объединяется сейчас термином «память»!), формулировке новых вопросов и т. д. В конце концов в ряде случаев может даже оказаться, что выяснять надо что-то совсем другое. Современная физиология не исследует, как образуются и движутся сквозь «поры» мозга «животные духи»,

\* «...На знания, обретенные с помощью сердца и инстинкта, должен опираться разум... Сердце чувствует что пространство трехмерно и что чисел бесконечное множество, и уж потом на этой основе разум доказывает, что два возведенных в квадрат числа никогда не бывают равны друг другу. Основные начала мы чувствуем, математические положения доказываем, то и другое непреложно, хотя приобретаются эти знания разными путями» (Паскаль, 1999, с. 174; см. современные данные о наличии базовой «геометрической интуиции» у аборигенов, принадлежащих к изолированным сообществам, живущим на берегах Амазонки – Dehaene et al., 2006). Т. Н. Huxley писал в 1845 г., что наука – «не что иное, как усвоенное и систематизированное обыденное знание, отличающаяся от последнего как опытный воин отличается от новобранца» (1905, p. 45; цит. по: Jenkins, 2007).

хотя, скажем, в XVII в. данная проблема могла рассматриваться как вполне актуальная. *Данные, полученные в собственно науке, и идеи, разработанные в ней, оказывают обратное влияние на науку обыденную.*

P. Churchland (1986) отмечает, что по мере развития наук о психике и мозге они будут все меньше зависеть от обыденной психологии и на определенном этапе замещение бытовых понятий научными в них завершится. По-видимому, это предположение справедливо лишь в том случае, если говорить не об обыденной науке вообще, а только о ныне существующей. В процессе развития на место замещенных придут новые социальные представления и новые понятия обыденной науки, которые будут продолжать оказывать влияние на содержание собственно научных концепций.

Как отмечал В. Б. Швырков, еще до возникновения науки представления о психике, или душе, складывались у людей как обобщенные характеристики внешнего поведения, как гипотезы о его детерминантах и механизмах. В связи с этим даже в наиболее примитивных языках имеются обозначения психических свойств и состояний (см.: Швырков, 2006). С появлением науки она становится, наряду с религией, искусством, обыденным опытом и т. д., одним из источников концепций, идей и терминов, включающихся в обыденное знание и формирующих обыденную науку. Люди начинают рассматривать ее понятия и представления как само собой разумеющиеся и составляющие «реальность» (Московичи, 1995а, б).

Сказанное здесь не означает, что авторы «уравнивают» научное познание с другими его видами, в частности, с познанием религиозным\*. Проблемы дифференциации научного и религиозного путей познания начинаются уже с использования терминов, таких, например, как приведенные только что и особенно важные для психологии: психика и душа. Хотя этимологически термины, использованные только что цитированным автором, очевидно, связаны (психика – от греч. *Psyche* – душа), но модусы их употребления явно различаются. Употребление термина «душа» и сегодня не свободно от представления о ее бессмертии, внетелесном существовании, которое прочно ассоциировано с ним и отражено,

\* Авторы благодарны протоиерею, кандидату богословия отцу Антонию (Ильину, официальному представителю Московского Патриархата) за полезные комментарии к тексту следующего ниже сопоставления научного и религиозного познания.

например, в определении Даля. Что касается использования этого термина «за рамками сферы теологии», он рассматривается как «устаревший» (Ребер, 2003, с. 260). Термин же «психика» чаще связывается с научным пониманием субъективного мира индивида и получает определения типа: «продукт и условие сигнального взаимодействия живой системы... и его среды... Выступает в виде явлений т. наз. субъективного мира человека: *ощущений, восприятий...*» (Философский словарь, 1986, с. 393).

Если термин «душа» употребляется как 1) указание на донаточный (или протонаучный) характер обсуждаемых представлений, если он используется как 2) синонимичный термину «психика», под которой понимается субъективное отражение объективного соотношения индивида со средой, в этом, с точки зрения науки, нет ничего предосудительного.

Что касается первого варианта использования термина «душа», Л. С. Выготский подчеркивал: «Первоначальные воззрения на человека различали в нем тело и душу как особые субстанции, считая его природу двойственной. Возникновение этого взгляда относится к первобытным временам... При этом психология действительно была наукой о душе. Философы изучали природу и свойства этой души и задавались вопросами, смертна она или бессмертна... Такое направление... по справедливости может быть названо метафизической психологией...» (2005, с. 8). С конца XVII века, указывал П. Я. Гальперин, «душа как объясняющая, но сама необъяснимая сила, скрытая позади наблюдаемых явлений, была исключена из науки» (2006, с. 34). Действительно, в 1809 г. Ламарк отмечал: «Достаточно уже думать, что человек одарен бессмертной душой, чтобы никогда не было нужды заниматься ни местонахождением, ни границами этой души в индивидуальном теле, ни ее связью с органическими явлениями: все, что можно сказать на этот счет, всегда будет беспочвенно и совершенно мнимо» (1937, с. 210, 211). Правда, чуть раньше, в конце XVIII в. (1784 г.) Г. Прохазка еще писал, что местопребыванием разумной души является нервная система, которая является «непосредственным орудием души», «связующим разумную душу с нашим телом». Кто хочет научно исследовать душу, тот «должен познать ее из ее собственных действий» через ее «функции, такие как воображение, воля и т. п. Под душой он понимал «существо бестелесное и бессмертное по своей природе, которое, как учит нас религия, даровано одному лишь человеку особой милостью бога» (Интересно, что во втором

издании книги слова о бессмертии со ссылкой на религию были выпущены автором). Прохазка считал, что для реализации своих функций душа нуждается в мозге, но утверждал, что это «не лишает душу нематериальности и бессмертия, так как Бог особым даром может сделать то, что она будет вечно осознавать себя и вещи, вне ее находящиеся, даже после того, как разрушилось тело» (1957, с. 35, 99, 101, 104; последнее утверждение также было выпущено автором при публикации второго издания).

Говоря о «душе» во втором (синонимичном термину «психика») значении, заметим, что в собственно науке часто используются и другие термины, попавшие в нее из обыденной науки (например, такие как «эмоция», «мотивация», «сознание» и др.; см. Швырков, 2006; Alexandrov, Sams, 2005; Churchland, 1986; Dennett, 1993; Vanderwolf et al., 1988).

Недоразумения могут иметь место в случае, если использование в научных текстах термина «душа», «дух» размывает границы между существенно разными методами познания действительности: собственно научным и религиозным (см., например: Бабушкин, 1995). В. У. Бабушкин указывает, что психофизиология, а также экспериментальная психология, хотя и имеют значение, но весьма ограниченное для изучения «душевной жизни», «фундаментальной структуры души». Многие важнейшие аспекты, остающиеся неохваченными, могут быть адекватно решены в христианстве, считает он. Так, «независимость души от изменчивости внешних условий... состояние полной внутренней гармонизации... называется *блаженством души*. «Блажены, – говорил Иисус Христос, – слышащие слово Божие», т. е. воспринявшие в себя Дух и внемлющие Духу» (1995, с. 50, 51).

Подобное недоразумение может иметь место и потому, в частности, что с термином «душа», как уже было отмечено, традиционно связывалось (и связывается) представление о ее бессмертии. Так, в словаре В. Даля первое, главное определение «души» следующее: «Бессмертное духовное существо»; отмечается, что «дух и душа отделены здесь в разные статьи только для удобства присказания производных» (1978, т. 1, с. 504). Б. Рассел (1987) отмечал, что у греков понятие души имело религиозное (нехристианское) происхождение. Оно возникло у пифагорейцев, которые верили в переселение душ и в возможность освобождения души от связи с материей. «Душа – этот привычный предмет для теологов вряд ли может считаться научным понятием. Ни один психолог

не согласится, что предметом его исследований является душа» (1987, с. 180, 181; заметим, что такие психологи существуют).

Несомненно, познание внутреннего мира – дело не только науки, но и других видов человеческой деятельности, таких как искусство и религия (см., например: Александров, 2004г). Более того, религия и наука могут рассматриваться даже как две стороны «одного и того же полного акта познания» (Тейяр де Шарден, 1987, с. 223). Но, как только что было сказано, они используют разные методы познания. «Наука стремится к развитию общих методов упорядочивания общечеловеческого опыта, а религии возникают из стремления споспешествовать гармонии взглядов и поведения внутри сообщества людей». В религии знания «вкладывались» в некоторую структуру, первичным содержанием которой были «ценности и идеалы, положенные в основу культа или веры» (Бор, 1961, с. 112). J. Hidt подчеркивает, что почти все религии возникли как комплексы норм, направленных на «подчинение личности объединению людей для чего-то, находящегося вне личности» (2007, p. 1001).

Науки и религия могут превращать в разные «факты» сходные явления, интерпретируя их в терминах принципиально различающихся представлений. Например, П. А. Флоренский, говоря о постижении истины, подчеркивал: «Бог «утаил» все то, что единственно может быть названо достойным познания «от премудрых и разумных» и «открыл это младенцам» (Мф. 11: 26). Было бы неоправданным насилием над словом Божиим перетолковывать «премудрых и разумных» как «мнимо-мудрых», «мнимо-разумных»... равно как и в «младенцах» видеть каких-то добродетельных мудрецов. Господь сказал без иронии именно то самое, что хотел сказать: истинная человеческая разумность недостаточна... И, в то же время, умственное «младенчество», отсутствие умственного богатства... может оказаться условием стяжания духовного ведения... Все человеческие усилия познания, измучившие бедных мудрецов, тщетны... наука только разжигает жажду знания, никогда не успокаивая воспаленного ума. Но «благостное иго» Господне и «легкое бремя» Его дают уму то, чего не дает и не может дать жестокое иго и тяжкое, неудобноносимое бремя науки» (1990б, с. 12,13).

Надо заметить, что резкая дифференциация религии и науки существовала не всегда. Самим своим появлением наука обязана религии. Храмы древневосточных цивилизаций были одновременно школами, лабораториями и обсерваториями. Первые

анатомические атласы, формулы – творения людей, которые служили религии. В то же время люди, создававшие науку, были и религиозными мыслителями. Например, общество пифагорейцев, прославившихся разработками в области математики, представляло собой религиозный орден (Мень, 1991). Не странно поэтому, что особенности религиозного мировоззрения и научного мышления в разных странах находятся в соответствии. Рациональность европейского мышления и науки (трактуемой в качестве модели «мировой науки») связана со средневековой теологией, точнее – с идеей рационального бога; эта идея, кстати, существенно отличалась от азиатской, с позиций которой бог – иррациональный деспот (Уайтхед, 1990). Однако последующее развитие и религии (например, от пифагорейской веры в освобождение души как «вечного духовного существа» к христианской вере в воскресение, т. е. от вечной жизни бестелесной души к единству души и тела в акте воскресения), и науки привело к их размежеванию и даже конфликту.

В настоящее время смешение указанных парадигм познания (религиозной и научной) ведет, как нам представляется, не к увеличению эффективности «акта познания», а к эклектичности, которая является пороком (что для науки, во всяком случае, очевидно; см., например: Александров, 2004в; Ярошевский, 1996). Когда Пьер Симон Лаплас на вопрос Наполеона I о месте Бога в системе его научных представлений ответил, что он не нуждается в этой гипотезе, он был последователен и избегал возникающей в противном случае эклектики. За прошедшие двести лет к этому ответу присоединялись многие (из недавних примеров см. интервью с одним из ведущих специалистов в области эволюционной биологии и молекулярной нейробиологии – Анохиным, 2007).

Очень ясно различия между наукой и религией как методами познания понимал В. Ф. Войно-Ясенецкий (2005), который является весьма ценным экспертом, будучи хорошим специалистом в обеих упомянутых областях: он защитил в 1916 г. докторскую диссертацию на тему «Регионарная анестезия», был выдающимся хирургом, профессором, кроме того, он был архиепископом. Войно-Ясенецкий писал следующее: «Тело, которое жило по законам земным, физиологическим», может быть исследовано научными методами. После его смерти «отделяется бессмертный и вечный дух... тело духовное, вечное». И вот духовный мир «не может быть исследован научными методами» (2005, с. 227, 170). Интересно,

что К. Поппер никогда полностью не отвергал религию именно потому, что различал проблемные поля религии и науки. Хотя Поппер и был глубоко привержен идеалам научного познания мира, но считал важным вопрос о назначении и цели Вселенной находящимся вне пределов компетенции науки (Хорган, 2001).

Отвечая положительно на вопрос, могут ли религия и наука свободно развиваться, не препятствуя друг другу, А. Мень (1991) обосновывал свой ответ тем, что объекты, на которые они направлены, качественно различны. С его точки зрения, религиозное мышление может обходиться без научных методов, так же как и наука может развиваться вне религиозного мировоззрения. Сходное мнение высказывал Галилей в «Письме к Кастелли»: «Письмо следует использовать лишь в рассуждениях, касающихся веры; а в рассуждениях о природных явлениях больший вес имеют соображения философского и астрономического характера, нежели суждения о божественных началах» (см.: Фантоли, 1999, с. 134).

А. Эйнштейн подчеркивал, что конфликт между религией и наукой неизбежно возникает, когда представители религии защищают «абсолютную истинность» Библии даже тогда, когда последняя противоречит научным фактам (Sayen, 1985). В этой деятельности им иногда помогают ученые. Профессор физики N. Aviezer во введении к своей книге пишет: «Нельзя не заметить, что между «фактами», как их понимает наука, и «фактами», какими они предстают перед нами при буквальном прочтении первой главы Книги Бытия, существует, по всей видимости, немало противоречий» (1990, с. 11). Однако вся книга посвящена тому, чтобы показать, что научное объяснение не противоречит библейскому тексту, если последний *не понимать буквально*. (Подобный прием не нов; см. ниже о точке зрения Галилея.) Например, говоря о шести днях творения, «день» необходимо понимать не буквально: как отрезок времени в двадцать четыре часа, а как фазу, период в процессе развития мира» (1990, с. 12). К концу книги остаются необъясненными научно только три акта творения: Вселенной, животной жизни, человека.

Подобный объяснительный потенциал не вызовет удивления, если учесть, что у научной теории (по всей видимости, и у религиозной), кроме неизменного «ядра», есть так называемый изменчивый «защитный пояс», назначение которого состоит в том, чтобы подвергаться модификации под воздействием противоречащих теории данных, защищая тем самым ядро теории (Лакатос, 1995).

Используя этот механизм, скажем, возможность понимания текста в одном случае буквально (см. выше точку зрения П. А. Флоренского), а в другом небуквально (Aviezer и мн. др.), можно добиться желаемых результатов: замаскировать явные противоречия. Понятно, что поведение модификации, как и любое другое, целенаправленно и выбор одного из двух способов понимания: буквального или небуквального – может определяться целью конкретной модификации.

Заметим, что буквальное понимание библейских текстов в контексте взаимоотношения религии и науки может иметь не только теоретическое, но и вполне жизненное значение, во всяком случае, для ученых. В Библии говорится, что «пребывает Земля в вечном покое» и что «восходит и заходит Солнце». Поскольку у католической церкви не существовало догматического определения движения Земли и неподвижности Солнца, то воззрения Бруно и Галлия строго богословски не могли расцениваться как ересь. Однако в начале XVII в. философ Л. делле Коломбо подчеркивал: «Все без исключения богословы говорят, что когда Писание можно понять буквально, нельзя толковать его иным образом» (Фантоли, 1999, с. 100). Именно такая позиция сделала конфликт острым, обусловившим известное заявление Галилея: «Я не придерживался, не придерживаюсь и не считаю за правду ложные осужденные воззрения о подвижности Земли и неподвижности Солнца» (Фантоли, 1999, с. 315).

Ясно, что точка зрения Галилея относительно буквального понимания Библии отличалась от позиции Коломбо. Когда у нас есть достаточные доказательства, чтобы делать определенные выводы, – писал он, не следует отбрасывать их только на том основании, что библейские тексты, истолкованные буквально, говорят, как кажется, об обратном. Поскольку обе истины: и библейская, и научная исходят из одного источника – божественного – они не могут противоречить друг другу. И вот главное: если противоречия возникают, то *богословам* следует приложить усилия, чтобы правильно истолковать соответствующие места Священного Писания (Фантоли, 1999). Книга Aviezer'a может быть рассмотрена как помощь богословам в этом нелегком деле. Следует подумать, что произойдет, если ученые, представляющие разные области знания, будут с самыми благородными намерениями устранения противоречий перетолковывать тексты Библии, приводя ее в соответствие со все новыми потоками данных. Не превратится ли такая

переписанная, небуквальная Библия в учебник, устаревающий по мере развития науки?»

Для защиты «ядра» могут быть использованы и другие, временами остроумные, способы, применение которых примиряет положения Библии, понимаемые буквально, и научные данные. Так, натуралист Ф. Г. Госсе, принимая геологические данные о древности мира, значительно превышающие сроки, засвидетельствованные в Библии, говорил, что мир был создан Богом так, *как если бы* он имел прошлую историю. А у Адама и Евы были пупки, *как если бы* они, как и все прочие, родились обычным способом. «Никакая логика не способна опровергнуть эту теорию», – пишет Б. Рассел (1987, с. 161). Более того, и никакие данные не смогут этого сделать. Если исходить из попперовского определения научной теории как теории, которая может быть эмпирически фальсифицирована (Поппер, 1983), то эта теория не является научной.

Здесь существенная проблема: для примирения науки и религии строятся теоретические «мосты», которые, как правило, не могут одновременно отвечать несопоставимым требованиям (см., например: Гинзбург, 1999) сопоставляемых мировоззрений. Поэтому ситуация оказывается еще более серьезной, чем при межапарадигмальной дискуссии в науке (как правило, неэффективной), где каждая парадигма использует собственную парадигму для защиты этой парадигмы (Кун, 1975). Более серьезной, поскольку общих правил для науки и религии гораздо меньше, чем для разных парадигм в науке, и в лучшем случае они (эти общие правила) относятся к обыденному знанию. А в худшем это эклектика: использование учеными религиозной аргументации, и наоборот.

Следует подчеркнуть, что речь не идет о полной несовместимости занятий наукой и религиозности. Так, В. Л. Гинзбург отмечает, что ни в одном из известных ему случаев верующие физики и астрономы в своих работах не упоминают Бога. «У них происходит как бы расщепление психики. Занимаясь конкретной научной деятельностью, верующий, по сути дела, забывает о Боге... Таким образом, совместимость занятий наукой с верой в Бога отнюдь не тождественна с совместимостью веры в Бога с научным мышлением», – заключает автор (1998, с. 1). Но все-таки субъективный опыт целостен, его структура едина и о «расщеплении» можно

\* Подчеркнем, что сказанное не означает утверждение полезности неизменности религии, ее независимости от эволюции научного знания; она тоже должна развиваться. Речь идет лишь о *прямом* взаимодействии.

говорить лишь описательно – метафорически, да и то применительно к современным ученым. Например, уже цитированный нами автор, осуществивший глубокий анализ источников, связанных с процессом Галилея, А. Фантоли, приводя слова Галилея «Я изобрел телескоп в результате озарения светом Божественной Благодати», утверждает: «Это, несомненно, указывает на убеждение ученого в том, что его миссия имела божественное происхождение» (1999, с. 118).

Говоря о современности, трудно предположить, что вера никак не скажется на научных представлениях эволюциониста, психолога, в частности, психофизиолога. Так, возможно, что религиозность нобелевского лауреата Джона Экклса (J. C. Eccles) не влияла на него очень выражено, пока он изучал свойства синапсов. Но его представления о действии нематериальной психики на материю мозга (Popper, Eccles, 1977), которые были сходны с представлениями Р. Декарта, верившего в нематериальную бессмертную душу, созданную Богом (у Декарта в XVII в. она действовала на эпифиз, раскачивая его, а у Eccles в XX – нематериальная психика действовала на синапс, изменяя вероятность высвобождения медиатора из пресинаптической терминали), позволили ему говорить о возможных научных основаниях телепатии и телекинеза (воздействие психики одного индивида на синапсы другого; воздействие психики не только на материю мозга, но и на другие материальные тела). Эти воззрения Eccles (1953), по всей видимости, были тесно связаны с его верой, с его представлением о том, что психика – «божественное создание» (см.: Хорган, 2001).

Можно полагать, что для науки нет особых проблем в том случае, если с использованием всех требований проведения научного исследования (в том числе двойного слепого контроля) изучается, например, влияние молитвы на зорьве (при этом демонстрируется отсутствие статистически значимых эффектов; в то же время знание о том, что за тебя молятся, сказывается на зорьве: число осложнений увеличивается – Dawkins, 2007). Нет проблем и в том случае, когда с помощью естественнонаучных методов исследуются объекты религиозного поклонения, например, туринская плащаница, на которой, как полагают некоторые верующие, отпечаталось тело Христа, снятого с креста (Сойфер, 2003). Мы говорим «некоторые», так как существует точка зрения, что плащаница – фальсификация, созданная в XIV в. В католической энциклопедии 1913 г. издания высказываются соображения, что это специально

изготовленный в XIV в. объект, но не с целью фальсификации, а «для иллюстрации драматического момента к словам богослужения в Страстную Пятницу». Позже позиция католической церкви сдвигалась в сторону признания подлинности плащаницы, затем вновь к позиции, изложенной в указанной статье энциклопедии (см. работу кандидата богословия Е. К. Дулуман).

Результаты исследований в науке могут проявлять зависяют от исходной позиции автора исследования. Причем не только методологической (одно и то же эмпирическое явление превращается в разные факты у представителей разных парадигм – Полани, 1998), но даже заданной источником финансирования. Так, в исследованиях влияния мобильных телефонов на здоровье, которые финансируются фирмами-производителями этих устройств, достоверно реже, чем в исследованиях, финансируемых из других источников, демонстрируется такое влияние; подобные закономерности выявляются и при анализе исследований действия лекарств (Huss et al., 2007). Тем более логично ожидать предвзятости при исследовании предметов религиозного культа. Например, П. Барбье, как отмечает Сойфер, предпринял многочисленные эксперименты на трупах с целью «доказательства неподдельности» ран, отображенных на плащанице, в то время как следовало бы не доказывать, а проверять неподдельность.

В то же время проведение подобных исследований может создавать проблемы для религии. Скажем, если на плащанице обнаруживаются признаки не только X хромосомы, которая могла принадлежать Марии, но и Y хромосомы, которая может принадлежать только мужчине, то возникает вопрос: чья же это Y хромосома? И даже если эти данные допускают много разных интерпретаций, но их обнаружение приводит к формулировке вопросов, которые вряд ли желательны для церкви. Возможно пониманием неизбежности возникновения такого рода проблем (а также знанием об уже имеющихся проблемах) частично объясняется то, что среди американских ученых, решивших исследовать плащаницу и образовавших для этого специальную группу STURP, большинство были атеистами, тогда как в генеральной совокупности американских ученых религиозны около 40% (Гинзбург, 1998) и именно они могли бы составить большинство исследователей этой группы.

По всей видимости, наименее эклектичный путь взаимодействия науки и религии, если согласиться с тем, что они – составляющие «одного и того же полного акта познания», – не прямой, через

обыденное знание. Прямое взаимодействие приводит к альтернативе буквальное-небуквальное понимание текста Священного Писания (или текста, имеющего сопоставимое значение в другой религии). И, как показывает практика, каждый из двух вариантов плох (см., однако, точку зрения о положительном влиянии религиозности русских математиков на разработку ими теории множеств: Graham и Kantor, 2006). Взаимодействие не прямое, через обыденное знание удобно тем, что следование по этому пути не требует специальных усилий, так как обогащение обыденного знания результатами научного и религиозного познания может осуществляться само собой. И мы идем этим путем вне зависимости от того, как к этому относимся, хотим или не хотим.

Сказанное означает, что, будучи отдельными, разными путями познания, ведущими к достижению разных промежуточных целей, наука и религия должны быть связаны (более того, не могут не быть связаны), но не напрямую, а через обыденное знание, обыденную науку. Она является базой, как для научного, так и для религиозного мировоззрения. А. Мень (1991) справедливо отмечает, что не существует «научного мировоззрения», построенного только на данных естествознания. Что касается последнего утверждения (с которым и мы согласны), в принципе сопоставимую позицию отстаивал М. Полани (1998). Подобное опосредованное структурами обыденного знания взаимодействие, избавляющее науку и религию от эклектичности, служит основой неизбежного процесса эволюции не только науки, но религии. Эволюция последней, как отмечает А. Н. Уайтхед, должна состоять в освобождении религиозных идей от элементов, «картины мира, сложившейся в стародавние времена... прогресс науки с необходимостью требует изменения формулировок различных религиозных верований» (1990, с. 250). Конечно, обыденное знание довольно терпимо к противоречиям, в том числе и возникающим между утверждениями религии и проникающими в обыденное знание новыми собственно научными знаниями. Но и его толерантность не безгранична.

В рамках такой логики, при таком понимании возможной опосредованной связи науки и религии наша позиция не противоречит позиции А. Мень, который утверждает, что наука и религия – эти два пути познания реальности – должны не просто быть независимыми сферами, но в гармоническом сочетании способствовать общему движению человечества по пути к Истине, а также

позиции Папы Иоанна Павла II (1983; см.: Фантоли, 1999, с. 390): «Божественное Откровение, свидетелем и гарантом которого является Церковь, не распространяется на какую-либо научную теорию... Содействие Святого Духа никоим образом не является гарантом объяснений, которых нам бы хотелось придерживаться в отношении физического состояния действительности». Она согласуется и с содержанием параграфа 36 Пастырской конституции «Gaudium et Spes», темой которой было определение положения церкви в современном мире. В этом параграфе утверждается «закономерная автономия науки» (Фантоли, 1999, с. 370).

Возвращаясь к анализу соотношения собственно науки и обыденной науки как целого, можно высказать следующее соображение: обыденная наука не исчезнет, но продолжит свое существование, на всем протяжении процесса коэволюции, осуществляя «обмен» с собственно наукой. Заметим, что С. Московичи (1995б) также полагает, что идея «сводимости», т. е. вытеснения собственно наукой обыденных знаний, является ложной. Обе эти науки могут быть рассмотрены как компоненты культуры. Тогда, как нам представляется, логично думать, что первая была и будет поставщиком (и заказчиком) концепций и проблем (конечно, не исключительным – много проблем в собственно науке имеет внутринаучное, «инструментальное» происхождение) мировоззренческого или практического характера, вторая будет решать эти проблемы и возвращать переработанные концепции, внедрять новые или устранять дискредитированные. При этом количество (во всяком случае абсолютное) ассимилированных и преобразованных понятий собственно науки в науке обыденной будет увеличиваться.

Итак, получение любого собственно научного знания может модифицировать состав знания обыденного. Научное же знание о знании обыденном может иметь особое значение, выступая в качестве своеобразной формы общественной рефлексии. Поскольку роль социальных представлений состоит в уменьшении проблематичности межличностной коммуникации и установлении консенсуса между членами общества (Московичи, 1995б), то, вероятно, эта рефлексия весьма значима. Что же касается специально имплицитных представлений об интеллектуальной личности, то их изучение может оказать влияние на формирование социальных представлений, опосредующих самые разные области межличностных отношений, в том числе и в профессиональной сфере (профотбор, педагогика, психология и пр.; см., например: Sternberg, 1985).

Речь здесь идет именно о влиянии, осуществляемом «естественным» путем: через постоянно происходящую ассимиляцию собственно научного знания обыденным, а не о непосредственном использовании научных данных для «искусственной» переделки социума для построения «правильного» общества, базирующегося на научно обоснованных отношениях. Естественное влияние неизбежно, кроме того, авторы предполагают, что оно может оказаться полезным хотя бы в длительной перспективе за счет механизмов отбора знаний, способствующих выживанию социума. А вот искусственная реконструкция общества на основе «научных концепций» (или, добавим, попытка формирования «правильной», «полезной» для общества морали; см. ниже об идее Б. Рассела изменить к лучшему моральные нормы), как это подробно и убедительно обосновал Ф. А. Хайек (2003), – опасна.

*Имплицитные представления об умном человеке.* В экспериментальных исследованиях имплицитных представлений об умном человеке были получены данные, которые отчетливо демонстрируют зависимость характеристик субъективного опыта от особенностей культуры того сообщества, в котором этот опыт формируется. Сопоставлялись имплицитные представления об интеллектуальной личности в России в сравнении с таковыми в других странах, а также эти представления в России на последовательных этапах происходящих в ней социально-экономических изменений (см. главу 7) (Смирнова (Александрова), 1993, 1994, 1995б, 1997, 2002, 2007).

Основной объем данных исследования обыденных имплицитных концепций интеллектуальности (названных так в отличие от эксплицитных, разрабатываемых специалистами, например, психологами; Sternberg et al., 1981) на российской выборке был получен в 1994 и 2004 гг.\* За рубежом эти исследования также относятся к сравнительно недавно возникшей области: в 1979 г. U. Neisser отмечал, что ему не известны результаты систематического исследования обыденных концепций интеллектуальной личности в Америке.

Целью исследования имплицитных теорий интеллекта является выяснение содержания неформальных теорий интеллекта. Таким образом, это скорее попытка реконструировать уже существующие у обычных людей теории, нежели создание новых (Sternberg

\* Авторы благодарят М. В. Бодунова и И. О. Александрова за участие в анализе полученного эмпирического материала.

et al., 1981). Как нам представляется, особый интерес представляет включение России в общее поле кросс-культурных исследований и сравнение представлений, существующих в разных странах.

В философских, исторических и литературно-художественных текстах не раз предпринималась попытка описать специфику сознания и характера народа России. Представления о русской ментальности, особенностях национального характера начали эксплицироваться в середине XIX в. и продолжали активно разрабатываться первые десятилетия XX в. Т. Д. Марцинковская отмечает, что «стремление осознать свои национальные особенности, описать ментальность русского народа, главным образом связано с социальными изменениями, происходившими в России в середине прошлого века. Это резкое изменение социальной ситуации, коренные реформы в жизни народа, кардинальное изменение его уклада, быта впервые поставили проблему осознания и предсказания возможных реакций народных масс на эти изменения. Учитывая то, что реформы проходили не гладко, необходимо было понять причины торможения реформ. Эти причины чаще всего связывались с неприспособленностью процесса реформирования к самобытности России, к особенностям национальной психики... Таким образом, коренное изменение всего уклада русской жизни с необходимостью заставило образованную часть общества задуматься и осмыслить свою историю, понять истоки традиций, былин и мифов, понять происхождение своих положительных и отрицательных качеств» (1994, с. 11).

*Итак, проблему специфики русской ментальности нельзя считать новой. Однако наиболее часто эта специфика выявлялась либо вненаучным, либо сугубо теоретическим путем. Научные исследования, особенно включающие эмпирический компонент, довольно редки. В частности, до наших работ не предпринималась попытка выявить, как представляет себе особенности своего мышления конкретная личность, на данном конкретном социальном этапе живущая в России.*

Мы полагали, что наиболее конструктивным путем осуществления подобной попытки и одновременно эмпирического анализа специфики русской ментальности является путь кросс-культурных сравнений имплицитных концепций интеллекта для выявления возможных отличий представления об умном человеке в разных странах. Стратегией такого исследования оказывается первоначальное создание российского прототипа умной личности (т. е. иерархической совокупности характеристик ума, даваемых отечественными

респондентами) и последующее сравнение прототипов (и входящих в него характеристик и их иерархии) в разных обществах, культурах.

Всякий прототип может определяться через психологические характеристики разных модальностей, начиная от неявного образа и кончая полунаучным полужитейским понятием. Нами были избраны социальные представления, которые типичны для данного общества и потому, согласно С. Московичи (1963, 1981, 1995а, б, 2001), являются социальными и, с другой стороны, принадлежат личности и «измеряются» на уровне личности.

Для выявления более непосредственных детерминант этих представлений сравнивались представления о мужской и женской интеллектуальности и представления разных поколений.

Анализ литературы показывает, что среди исследований интеллекта можно выделить две группы. Первая, включающая большинство исследований, посвящена созданию эксплицитных теорий интеллекта, т. е., как уже говорилось, таких теорий, которые разрабатываются учеными и опираются на данные, полученные при измерении интеллекта в ходе решения задач. Несмотря на значительное число исследований, не существует единого мнения о том, что такое интеллект. Так, R. Sternberg (1981) описывает симпозиум, проходивший в 1920-е годы, на который были приглашены 14 экспертов (в том числе Торндайк и Терман), чтобы выразить свою точку зрения на природу интеллекта. Конференция закончилась констатацией, что существует столько же определений интеллекта, сколько и экспертов. Тем не менее можно отметить, что все многообразие мнений вращалось вокруг общей идеи о том, что интеллект сводится к способности обучаться и адаптироваться к окружающей среде.

D. Wechsler (1958) определяет интеллект как обобщенную, глобальную способность индивида к целесообразному, рациональному поведению и эффективному взаимодействию с окружающим миром. В ряде исследований ставится вопрос о связи интеллекта с когнитивным стилем как способом выявления информации и анализа сложных стимульных конструкций (Холодная, 1990, 1992; Klix, Lander, 1967). Другие исследователи видят сущность интеллекта в способности к модификации поведения в новой ситуации (Piaget, 1972). Некоторые исследователи считают, что в основе интеллекта лежат устойчивые способы саморегуляции и активность субъекта (Акимова, 1976; Голубева, 1986; Лейтес, 1971; Юркевич, 1972). С точки зрения структурно-динамического подхода, развиваемого Д. В. Ушаковым (2003), структура интеллекта представляет собой

результат взаимодействия интеллектуального потенциала человека, его личностных особенностей и предпочтений, а также стимулирующих и противодействующих влияний среды.

Признание исследователями существования сложной структуры интеллекта, включающей общие и специальные факторы, а также тот факт, что интеллект стал предметом многих психодиагностических исследований, стимулировал создание структурных моделей интеллекта. При этом разными авторами выделялось разное количество базовых факторов интеллекта: от 1–2 до 120 (Cattell, 1971; Guilford, 1967; Spearman, 1927; Thurstone, 1941; Vernon, 1950).

Таким образом, ясно, что не существует единого теоретического объяснения интеллекта и интеллектуального развития. По мнению Mugny, Carugati (1989), если эпистемологические концепции интеллекта разнятся и зависят от школы, в рамках которой они формулируются, то, видимо, сходная картина вариативности, даже, может быть, более выраженная, имеет место в повседневных концепциях обыкновенных людей.

Вторая группа, интегрирующая меньшее число исследовательских усилий, посвящена рассмотрению того, что получило название имплицитных теорий интеллекта (Azuma, Kashiwagi, 1987; Fitzgerald, Mellor, 1988; Fry, 1984; Murrone, Gynther, 1989; Nicholls et al., 1986; Rätty, Snellman, 1992; Sternberg, 1985; Sternberg et al., 1981). Большинство исследований в рамках данного подхода основывается на опросе экспертов (экспертами выступают обычные люди) и направлено на изучение отдельных аспектов обыденных представлений об интеллекте.

Установлено, что отличие собственно научных (или экспертных) представлений об интеллекте от обыденных не столь велико, как это можно было бы думать. В результате проведенных исследований был сделан следующий обобщающий вывод: «Хотя эксперты в нашей выборке имели докторскую степень в психологии и все работали в колледжах или университетах и занимались главным образом исследованиями в области интеллекта, их концепции можно отличить от общей взрослой выборки популяции с большим трудом» (Sternberg et al., 1981, p. 54).

Позднее R. Sternberg сопоставил обыденные теории интеллекта, креативности и мудрости с эксплицитными теориями, основанными на измерениях. Он показал, что имплицитные теории интеллекта и мудрости соответствуют их эксплицитным частям (Sternberg, 1985). G. R. Semin (1987) также развивает подход, согласно

которому многие психологические теории основаны на обыденной психологической реальности, которая объективируется в языке как части символической конвенции.

Таким образом, в согласии с тем, что было сказано выше о соотношении обыденного и собственно научного знания, обнаружено значительное число пересечений между имплицитными и эксплицитными моделями интеллектуальности и показано, что имплицитные теории могут рассматриваться как начало эксплицитных (Semin, 1987; Sternberg, 1985).

В отечественной психологии имплицитные теории интеллекта рассматриваются в контексте социального мышления личности (Абульханова-Славская, 1994, 1997, 2002). Социальное мышление личности может быть отнесено к области исследования социальной когниции (Social cognition), которая весьма активно разрабатывается, в том числе и с использованием методов функционального картирования мозга (Adolphs, 2001; Asch, Zuckier, 1984; Davies, 1990; Forgas, 1981; Gallese et al., 2004; Lewis, Brooks-Gunn, 1979; Wyer, Srull, 1989).

По мнению К. А. Абульхановой-Славской, в работах по изучению социального мышления личности исследуются не личностные особенности процесса мышления, а его личностные способы и типы. «Мышление личности следует отнести к психосоциальным явлениям, поскольку оно представляет характеристику личности, личностный продукт ее жизни в данном обществе... В отличие от социальной психологии в работах данного рода исследуется не массовое сознание, не межличностные, интерактивные процессы, а мыслящая о социальной действительности (ее ситуациях, событиях, людях) личность.

Предметом мышления личности является вся социальная действительность в совокупности феноменологических и сущностных характеристик (социальных процессов, событий, ситуаций, отношений и поведения людей, их личностей), а также ее собственная жизнь. Личность как субъект жизни имеет способность к такому мышлению и потребность в нем. Мышление личности выражает ее отношение к социальной действительности в целом, а также к конкретным формам этой действительности, на которые последняя структурируется в данном обществе в данную эпоху: моральным, правовым, политическим и главное – собственно ценностным (духовным, культурным)» (Абульханова-Славская, 1994, с. 41). Такой подход имеет определенное сходство с концепцией социальных

представлений С. Московичи (подробнее сопоставление двух подходов см.: Абульханова, 2002).

Теория социальных представлений С. Московичи широко используется в работах по исследованию имплицитных концепций интеллекта. Особенностью социальных представлений является то, что они представляют собой канал между нами и реальностью, к которой мы обращены. Кроме того, они разделяются огромным числом людей, передаются от одной генерации к другой и оказывают влияние на каждого из нас без нашего сознательного согласия (Moscovici, 1984).

Теория социальных представлений С. Московичи, приобрела во Франции вид оригинального направления, объединяющего и теоретические, и сугубо эмпирические исследования. За последние десятилетия данная концепция стала широко известна в разных странах, о чем свидетельствует появление многочисленных и разнообразных по проблематике работ (см., например: Бовина, Власова, 2003; Гулевич, Голынчик, 2005; Гулевич, 2007; Abric, 1984, 1993; Doise, 1986; Mugny, Carugati, 1989, Lahlou, 1996, 2001; Marková et al., 1998; Rutland, 1998; Raudsepp, 2005; Voelklein, Howarth, 2005). В отечественной психологии подробный анализ теории был дан А. И. Донцовым и Т. П. Емельяновой (1987).

В соответствии с этой теорией выделяют следующие функции социальных представлений: 1) сохранение стабильности, устойчивости индивидуальной или групповой когнитивной структуры; 2) детерминация поведения; 3) адаптация внешних социальных фактов, введение их в строй духовной жизни коллективного субъекта. Функция поддержания психологической стабильности жизнедеятельности субъекта – важнейшая из приписываемых социальному представлению. Значимым итогом теоретических и экспериментальных исследований в анализируемом проблемном поле явилось положение о том, что связь представлений и поведения не является однонаправленной и поведенческие акты, в свою очередь, способствуют порождению новых представлений. Репрезентируя социальное окружение во внутреннем мире субъекта, представление оказывается своего рода промежуточным звеном в системе культурная среда – поведение. Таким образом, делается попытка понять поведение не как пассивный ответ, жестко детерминированный в своем содержании внешним стимулом, а как активное взаимодействие с объектом. По мнению С. Московичи (1979), вообще любое впечатление и поведение являются социальной реконструкцией, а не ответом на стимул.

Эти положения хорошо согласуются с «кольцевым» характером отношений между структурами субъективного опыта и культуры, отраженными на рисунке 2, и с уже сделанным выше заключением о том, что субъективное отражение культуры является не реакцией на «культурные стимулы» или «усвоением» культуры, а ее индивидуализированной реконструкцией. Последняя осуществляется через системогенетические процессы и поэтому неизбежно связана с поведением («внешним» или «внутренним») и достижением его результатов.

Идеи Московичи вдохновили исследователей на проведение ряда интересных теоретических и эмпирических работ в области изучения имплицитных теорий интеллекта (Mugny, Carugati, 1989; Kinlaw, Kurtz-Costes, 2003; Rätty, Snellman, 1992; и др.).

G. Mugny и F. Carugati (1989) предположили, что социальные представления организуются в связи с социальной идентичностью. В этом смысле они будут разными в зависимости от специфики социальной позиции и опыта индивида или группы. В эмпирической части своей работы авторы исследовали имплицитные концепции интеллекта и его развития у педагогов и родителей для того, чтобы проверить свою гипотезу о связи социальной идентичности и социальных представлений. Их главный результат заключался в том, что и родители, и учителя были более склонны, чем студенты, отдавать предпочтение теории «естественной одаренности» или «естественного неравенства», когда пытались понять феномен интеллекта и интеллектуальных способностей. По мнению авторов, для поддержания собственной социальной идентичности, теория «естественной одаренности» более удобна, поскольку, согласно ей, интеллект в основном непознанный («необычный») феномен, врожденный дар, необъяснимый даже с помощью науки. Причем главным являлось наличие родительской позиции: когда учителя имели собственных детей, их объяснения в большей степени основывались на теории «естественного неравенства», чем объяснения учителей, не имевших собственных детей. Таким образом, было показано, как социальная идентичность и необычность связаны с содержанием социальных представлений.

Подход, в котором имплицитные теории интеллекта обсуждаются в терминах прототипов, был предложен У. Найссером (1979). Он выдвинул предположение, что интеллектуальная личность – это представление, организованное согласно прототипической модели, в которой устанавливается сходство между двумя индивидами, реальным и прототипическим.

Прототип является абстракцией из наблюдаемых примеров. Могут существовать различные уровни абстракции. На низшем уровне абстракции прототип может быть высоко специфичен и тогда в него войдут культуральные, этнические, социо-экономические, половые особенности. На высшем уровне абстракции возможен прототип, напоминающий схематичную личность без определенного возраста, социального положения, пола или этничности. Уровень абстракции, на котором люди концептуализируют прототип интеллектуальной личности, гибко зависит от контекста. В контексте большинства бытовых разговоров уровень абстракции относительно низок. Если это так, то люди будут использовать различные критерии, т. е. прототипы в суждениях об интеллекте индивидов, принадлежащих к различным группам. Когда мы говорим об умном ребенке, прототип, который мы представляем, будет абстракцией умного ребенка, а не абстракцией умного мужчины. (О дальнейшем развитии идеи использования прототипа для оценки социальных представлений см.: Wagner, 2006.)

По мнению Н. Azuma и К. Kashiwagi (1987), имплицитные концепции интеллекта имеют формирующее влияние на когнитивное развитие в данной культуре. Причем члены различных групп поставляют обществу различные модели интеллекта. Можно также предположить, что такие обыденные концепции, которые оказывают формирующее влияние, не должны быть высоко абстрактны и что в них входит значительное число характеристик, специфичных для членов определенных групп.

Имплицитные концепции интеллекта обладают культурной спецификой. Концепция интеллекта, превалирующая в данной культуре, оказывает влияние на когнитивное развитие, которое происходит в этой культуре. Высказывается предположение, что формирование имплицитных концепций интеллекта у детей, растущих в разных культурах, происходит существенно различным образом (Kinlaw, Kurtz-Costes, 2003)\*.

В работах, посвященных исследованию концепций интеллектуальности, выделена ее двухкомпонентная структура («технологический» или «когнитивный» и «социальный» компоненты) и рассмотрен вклад каждого из этих компонентов в общее представление

\* Возможно, это так, хотя даже для культур, в которых «взрослые» представления существенно различаются, обнаруживается и значительное сходство динамик формирования последних в онтогенезе.

об интеллектуальности. Так, J. W. Berry (1984) описаны результаты исследований, выполненных в Южной Африке. Обнаружено преобладание социального определения интеллектуальности. В исследовании, выполненном в Западной Африке (Кот-д'Ивуар) (Dasen et al., 1985), подтвердилось преобладание социальных компонентов (готовность выполнять работу для семьи, уважение старших) над технологическими компонентами (внимательность, наблюдательность, быстрота обучения, школьная интеллектуальность).

В западных культурах определение интеллектуальности также содержит социальные компоненты, которые являются менее выраженными. Например, G. Mugny и F. Carugati (1985), проведя факторный анализ ответов на вопросы опросника (в выборку вошли учителя, преподаватели колледжа, родители) выделили социальный фактор, определяемый как адаптацию к доминирующим социальным нормам: интеллектуальность – это соответствие нормам бюрократического общества, в частности в школе.

R. Sternberg с соавт. (1981) провели ряд исследований концепций интеллекта взрослых американцев. Сначала случайно отобранных людей (на трамвайных остановках, в супермаркете, в библиотеке) просили перечислить характеристики академического и повседневного интеллекта или оценить их собственный интеллект, академический и повседневный. Затем неспециалистов, выбранных в случайном порядке по телефонной книге, просили оценить интеллект различных людей, которые характеризовались различными поведенческими индикаторами, полученными в начале исследования.

Было обнаружено, что, несмотря на различия в группах, существует общность представлений об интеллекте, характерная для всех групп испытуемых. Она описывается тремя факторами: способность к практическому решению проблем, фактор вербальных способностей и фактор социальной компетентности. Первый фактор включает такие характеристики: «рассуждает логично и хорошо», «устанавливает связи между понятиями», «видит все аспекты проблемы». Во второй фактор вошли такие признаки: «говорит ясно и отчетливо», «разговорчивый», «хорошо говорит». Третий фактор включил такие характеристики как «принимает других такими какие они есть», «ошибается», «проявляет интерес ко всему окружающему» и т.д. Таким образом, было установлено, что интеллект в обыденном понимании объединяет определенного рода характеристики поведения, которые не рассматриваются при его традиционных психологических исследованиях.

H. Azuma и K. Kashivagi (1987) исследовали представления об интеллектуальности японцев. Они использовали несколько иной подход, чем R. Sternberg, поскольку просили своих респондентов дать не идеальное представление об умном человеке, а предлагали подумать о конкретной личности, которую они считают интеллектуальной и перечислить ее характеристики. По сравнению с результатами исследований в США в Японии интеллектуальность, особенно женская, ассоциируется с рецептивной социальной компетентностью (может встать на точку зрения другого, сочувствующий, скромный, хороший слушатель). Факторная структура, обнаруженная у японских респондентов, отличается от американской (исследования R. Sternberg, 1981) и показывает преобладающее значение фактора социальной компетентности. Помимо фактора рецептивной социальной компетентности, были выделены еще четыре фактора. Фактор позитивной социальной компетентности, куда вошли такие характеристики как: «хороший оратор», «социабельный», «рассказывает с юмором». Следующий фактор был назван фактором эффективности, куда вошли показатели: «работает умело», «не тратит времени», «быстро рассуждает», «планирует вперед» и т.д. Четвертый фактор был назван фактором оригинальности («оригинальный», «точный»). В пятый фактор вошли такие показатели: «хорошо пишет», «часто пишет письма», «много читает».

Одной из проблем при проведении кросс-культурных сравнений является то, что в разных исследованиях используются различные методики. Поэтому особого интереса заслуживают такие исследования, в которых используются единые методические приемы. Так, финские авторы H. Rätty и L. Snelman (1992) в своем исследовании использовали методику H. Azuma и K. Kashivagi (1987), адаптированную к финской культуре.

Методически такие исследования строятся следующим образом. На первом этапе осуществляется сбор характеристик интеллектуальной личности, затем формируется список, состоящий из ряда утверждений, который и предлагается испытуемому в главном исследовании. В работе финских авторов были выделены пять факторов, а именно: фактор кооперативных социальных навыков («считается с другими», «может выслушать других», «готов помочь»); фактор умения решать проблемы («легко находит суть проблемы», «легко понимает», «легко обучается новому»); фактор уверенность в общении («может отстаивать свое мнение», «инициативен», «легко знакомится»); фактор рассудительности, благоразумия («точный»,

«планирует прежде, чем действует», «достигает цели в жизни и работе»); и фактор «софистика» («интересуется предметами, которые требуют размышлений», «хорошие общие знания», «много читает»).

Данное исследование, хотя и не лишено, с нашей точки зрения, определенных недостатков, о которых мы скажем ниже, но в целом подтверждает представление о том, что обыденные теории интеллектуальности включают когнитивный и социальный компоненты и что такие теории шире научных.

Следует отметить, что при анализе имплицитных теорий интеллекта, половые различия не часто попадали в фокус исследования. К исследованиям, которые включают рассмотрение этого аспекта принадлежит работа Н. Azuma и К. Kashivagi (1987). Они обнаружили, что дескрипторы, относящиеся к решению проблем («хорош в математике»), более часто использовались при описании мужской интеллектуальности, нежели женской, в то время как дескрипторы, относящиеся к рецептивной социальной компетентности («сочувствующий»), более часто использовались при описании женской интеллектуальности.

В финском исследовании (Räty, Snellman, 1992) также изучались половые различия. Были обнаружены некоторые половые стереотипы в описании умных взрослых. Умным женщинам чаще приписывались навыки общения и социального влияния, чем умным мужчинам. Наиболее важным качеством мужского интеллекта признаны навыки решения проблем.

Тот факт, что социальная интеллектуальность – рецептивные и экспрессивные навыки – ассоциируется с женщиной, в то время как когнитивные способности или технологический компонент интеллекта ассоциируется с мужчиной, отмечается в ряде работ западных исследователей. Так, I. Broverman с соавт. (1972) обнаружили, что женщины воспринимаются как относительно менее компетентные, менее объективные, менее способные принимать решения и менее логичные, чем мужчины. У мужчин же отсутствовала интерперсональная сензитивность, тактичность, теплота и экспрессивность по сравнению с женщиной (см. также: Ashmore, Tuma, 1980; Williams et al., 1977, 1979). Сходные результаты были получены в работе S. Belk и W. Snell (1986), в которой авторы на основе обзора литературы, связанной с анализом половых стереотипов, сконструировали шкалу, которую они назвали «Представления о женщинах». Согласно показателям данной шкалы, женщины, например, «менее интеллектуальны», «менее решительны», они «действуют глупее»,

чем мужчины, женщины также «более интерперсональны», «имеют больше эмоциональных инсайтов», чем мужчины.

Что касается научных теорий и тестов интеллекта, то они долгое время имели дело только с когнитивностью (Goodnow, 1976, 1984), социальные качества были из них исключены. Прототипом умного человека является мужчина, а не женщина. Как утверждают S. J. Gould (1981), J. Rust и S. Golombok (1989), пионеры тестирования интеллекта, в частности Galton, имплицитно приняли обыденную точку зрения, которая широко поддерживалась в конце XIX в., согласно которой белый европеец, образованный мужчина, принадлежащий к среднему классу, являлся вершиной человеческой эволюции.

Последующие исследования по психологии половых различий (включая способности) с очевидностью показали, что эти различия меньше тех, которые предполагались ранее (Deaux, 1984; Feingold, 1988; Hyde et al., 1990). Однако существуют такие области, особенно в школе, где знания и навыки все еще сильно связываются с полом. Одной из таких областей является математика (Goodnow, 1990), в связи с которой до сих пор интенсивно ведется дискуссия о половых различиях в интеллекте. И ученые в своих обсуждениях, и обычные люди в своих повседневных разговорах задаются одним и тем же вопросом, определяется ли превосходство мальчиков над девочками в решении математических задач особым образом организованными врожденными когнитивными способностями или заученными навыками и знаниями (Felson, Trudeau, 1991; Kimball, 1989; Stipek, Graliski, 1991).

Определенные выводы об имплицитных концепциях интеллекта можно сделать на основании анализа результатов исследований в экспериментальной психосемантике. Целью экспериментальной психосемантики является реконструкция индивидуальной системы значений, выделение структур, опосредующих восприятие и осознание субъектом различных содержательных форм деятельности, структур «обыденного сознания» (Петренко, 1982, 2005). Построение семантических пространств является методическим средством реконструкции систем значений, посредством которых осуществляется осознание мира субъектом, и поэтому оно находит широкое применение при изучении различных форм репрезентации объекта субъекту.

Имплицитные теории интеллекта анализировались также в рамках более общих исследований, связанных с попытками

построения имплицитной теории личности (Шмелев, Похилько, Козловская-Тельнова, 1988).

А. Г. Шмелев с соавт. (1988) предприняли попытку создания семантического словаря русской лексики, имеющей отношение к личностным чертам. Построенный на основе экспертных оценок связей между 1650 дескрипторами, обозначающими черты личности, тезаурус явился приближенной эмпирической моделью «имплицитной теории личности», которой обладает обобщенный носитель русского языка. В тезаурусе получена оригинальная система из 15 факторов, отражающих стереотипы русскоязычной культуры. Эти факторы можно описать, сгруппировав в следующие основные классы:

- 1) факторы морально-нравственного облика личности и коммуникативного поведения;
- 2) факторы интеллектуального развития и духовной сферы;
- 3) факторы нервно-психического здоровья и комфорта;
- 4) факторы социального поведения;
- 5) факторы самоотношения и самоотчета.

Для нас особенно важно, что черты личности, характеризующие особенности интеллектуального развития, сгруппировались в самостоятельный фактор; это свидетельствует о том, что интеллектуальные качества, являясь важными свойствами личности, в ходе длительного исторического процесса естественного развития языка, были зафиксированы в нем как имеющие существенное самостоятельное значение.

Этот класс факторов включал:

- 1) интеллектуальную оценку («умный–глупый», «образованный–безграмотный»);
- 2) житейскую оценку, уровень зрелости, опытности («реалистичный–мечтательный», «опытный–наивный»);
- 3) оценку творческого потенциала, креативности, одаренности («одаренный–обыкновенный», «уникальный–заурядный»).

В работе В. Н. Дружинина и Е. Ю. Самсоновой (1993) с помощью психосемантических методов исследовались представления об общих умственных способностях старшеклассников специализированной математической школы. В факторной структуре семантического пространства испытуемых-школьников были выделены два содержательно насыщенных фактора: первый из них включает качества, характеризующие, прежде всего, «математические» способности

(«легко оперирует в уме геометрическими и пространственными объектами», «быстро справляется даже со сложной умственной работой», «точный»); второй – названный «вербально-образовательным», отражающий «гуманитарные» способности, включил такие конструкты как «хорошо знает родной язык, высокограмотен», «имеет широкие знания в различных областях», «грамотный». Авторы выдвигают предположение, что данные особенности структуры представлений о способностях испытуемых-школьников связаны с содержанием познавательной деятельности учащихся математической школы: ориентация на развитие навыков решения математических задач, выделение в учебной деятельности предметов, связанных с математикой. Вследствие этого «математические способности» образуют основной фактор в пространстве представлений, а «гуманитарные» составляют второй, самостоятельно интерпретируемый фактор.

В работе Е. Ю. Самсоновой (1994) исследовались индивидуальные и групповые представления об интеллектуальных способностях. Автор отмечает, что, несмотря на значительные отличия содержания представлений о способностях у каждого конкретного субъекта, существует общая закономерность в структуре представлений, выражающаяся в связанности большинства характеристик способностей. В результате факторного анализа в структуре интеллектуальных способностей были выделены факторы, смысловое содержание которых имеет много общего с факторами, полученными в исследованиях R. Sternberg с соавт. (1981), а именно: фактор, отражающий особенности когнитивных процессов и вербальный фактор (Самсонова, 1994).

*Эмпирический анализ.* В наших исследованиях мы анализировали представления россиян об интеллектуальной личности. Как уже было отмечено, одной из проблем при проведении кросс-культурных сравнений является разница в методических приемах, используемых в исследованиях. В нашей работе мы попытались это учесть, воспользовавшись методикой, которая была максимально приближена к таковой финского, японского и американского исследований и в то же время могла быть культурно адаптирована.

Данный подход включал два экспериментальных этапа. На первом этапе испытуемых просили описать умного человека в форме свободного рассказа. На основании контент-анализа ответов составлялся бланк с утверждениями, касающимися интеллектуальной личности. На втором – испытуемого просили вспомнить

умного человека, которого он знал лично и оценить его по каждому из утверждений.

В исследовании приняли участие следующие группы респондентов:

- 1) взрослые (разного пола и возраста) с их представлениями об умном взрослом;
- 2) учителя с их представлениями об умном подростке;
- 3) подростки с их представлениями об умном сверстнике.

При обработке результатов применялись факторный анализ и другие статистические методы (t-критерий для парных выборок, точный критерий Фишера).

При анализе учитывались и интерпретировались данные, полученные как на первом, так и на втором этапах исследования, формировалась структура прототипа интеллектуальной личности, свойственная российской выборке, проводилось сравнение прототипов интеллектуальной личности (структура входящих в него характеристик) в различных культурах (сравнивались результаты данного исследования, результаты американского исследования – Sternberg et al., 1981, японского исследования – Azuma, Kashiwagi, 1987, финского исследования – Rätty, Snellman, 1992).

В первом исследовании выявляли культуральную, а также групповую специфичность концептов, или прототипов, интеллектуальной личности через изучение дескрипторов, используемых при ее описании.

Исследовательский материал составили письменные ответы на три вопроса:

- 1) Что значит, по вашему мнению, быть умным человеком?
- 2) Какие из выше названных качеств есть у вас?
- 3) Какие из выше названных качеств вы хотели бы иметь?

В исследовании приняли участие 79 человек, которые составили три группы:

- 1) молодые люди, студенты педагогического университета (38 человек; 24 женщины и 14 мужчин), средний возраст 22 года;
- 2) группа людей от 30 до 50 лет (27 человек; 21 женщина и 6 мужчин), средний возраст – 36 лет;
- 3) группа людей старше 50 лет (14 человек; 10 женщин и 4 мужчины), средний возраст – 61 год.

Вторую и третью группу составили люди имеющие высшее образование (техническое, естественное и гуманитарное). Контент-анализ ответов производился в том порядке, в каком испытуемые сами формулировали свои идеи. Кодирование и интерпретация данных проводилась по следующим направлениям:

- 1) описывался ли умный человек через особенности и свойства его мышления;
- 2) описывался ли человек через его умение решать проблемы;
- 3) описывался ли человек через его академические умения;
- 4) описывался ли умный человек как активный;
- 5) описывался ли человек как оригинальный, креативный;
- 6) учитывался ли личностно-рефлексивный аспект;
- 7) описывался ли человек через его взаимоотношения с социальным контекстом или изолированно;
- 8) описывался ли умный человек с точки зрения его нравственных качеств;
- 9) описывался ли умный человек как основательный, упорный;
- 10) описывался ли умный человек как склонный к вербализации.

Каждый ответ кодировался следующим образом: 1) темы, которые в него вошли, 2) количество разных тем, 3) порядок представления тем. Длина ответа определялась количеством используемых слов.

Учитывался также личностный способ ответа на поставленные вопросы: описывался ли умный человек узко, конкретно, через перечисление ряда качеств или широко, описательно, с привлечением примеров и философских отвлечений, т. е. в известном смысле определялся способ социального мышления.

Проведенный анализ показал, что умный человек описывается часто в терминах его когнитивных качеств: он рассуждает логично, быстро обучается (59%); успешно действует в проблемной ситуации (49%). Он активен (49%), а также образован и эрудирован (49%).

Следующие характерные особенности умного человека – его взаимоотношения с другими людьми (умение выслушать другого, доброжелательность по отношению к другим людям – 45%); личностно-рефлексивные черты (знающий и совершенствующий себя – 36%); интеллигентность – 35%.

Описание умного человека в разных подгруппах было во многом сходным, основные различия по сравнению с другими группами были обнаружены в подгруппе юношей-студентов.

Их ответы в основном подчеркивали когнитивные характеристики умного человека. Большинство (64% испытуемых) указывали на личностно-рефлексивный аспект, а именно осознание себя, своих целей в жизни, в то время как в подгруппе людей старшего возраста на личностно-рефлексивный аспект указали всего 14% испытуемых (точный критерий Фишера;  $p < 0,01$ ). Этот результат, по-видимому, отражает различную возрастную личностную ориентацию: для молодых людей это познание себя, определение своего места в жизни, а для людей старшего возраста – снижение значимости данной темы в их жизни.

Юноши-студенты придают меньшее значение образованности, эрудиции. 36% юношей указывают на эту характеристику умного человека по сравнению с девушками-студентками (76%) (точный критерий Фишера;  $p < 0,05$ ), а также с людьми старшего возраста (71%) (обнаружена тенденция на уровне  $p = 0,064$ ).

Исследование показало, что девушки-студентки и люди старшего возраста чаще включают в описание умного человека его взаимоотношения с социальным контекстом (59 и 57% соответственно), чем юноши-студенты, – 21% (различия достоверны, точный критерий Фишера;  $p < 0,05$  и тенденция на уровне  $p = 0,06$  соответственно).

Те же различия мы наблюдали в случае описания умного человека как интеллигентного. 46% девушек-студенток и 43% людей старшего возраста и всего 14% юношей-студентов описывали умного человека как интеллигентного (различия достоверны при сравнении девушек и юношей, точный критерий Фишера;  $p < 0,05$ ).

Таким образом, обнаруживается существенное различие между юношами и девушками, несмотря на то, что они принадлежат к одной возрастной и социальной группе, и сходство в ценностных ориентациях между девушками и людьми старшего возраста. Вторая группа (средний возраст 36 лет) заняла промежуточное положение между группой юношей-студентов, с одной стороны, и группой девушек и людей старшего возраста, с другой стороны (см. таблицу 1).

Можно полагать, что полученные результаты согласуются с концепцией, согласно которой женщина является носителем более консервативных, традиционных взглядов (это подтверждается их близостью взглядам людей старшего возраста) по сравнению с мужчиной. Мы видим здесь проявление половых стереотипов: для женщин чаще умный человек – это, в первую очередь, человек образованный, умеющий решать жизненные проблемы и ладить

Таблица 1

Представления об интеллектуальной личности  
в различных возрастных группах (в %)

Темы	Юноши (22 года)	Девушки (22 года)	Взрослые (36 лет)	Старший возраст (61 год)
1. Мышление	71	42	67	57
2. Решение проблем	36	59	52	50
3. Академические умения	36	76	41	71
4. Активность	43	55	48	50
5. Оригинальность	28	21	15	14
6. Рефлексивность	64	34	30	14
7. Социабельность	21	59	44	57
8. Этичность	14	46	37	43
9. Настойчивость	14	38	30	21
10. Вербальность	–	17	11	28

с другими людьми. Что касается второй группы испытуемых (средний возраст – 36 лет, большинство составили женщины), которая не имела больших различий с подгруппой юношей-студентов, то полученные результаты можно объяснить тем, что данный возрастной период соответствует периоду деловой активности в жизни женщины (для наших испытуемых), характеризуется стиранием указанных различий, по крайней мере, по учитываемому нами критерию.

При ответе на вопросы, какие из выше перечисленных качеств умного человека вам присущи и какие качества умного человека вы хотели бы иметь, большинство юношей-студентов уклонились от ответа и лишь 36% испытуемых дали ответы. Можно предположить, что данная группа респондентов испытывает сложности при самоотчете. В группах девушек-студенток, взрослых людей и людей старшего возраста ответы на эти вопросы дали 84, 78 и 85% соответственно (точный критерий Фишера;  $p < 0,005$ ;  $p < 0,02$ ;  $p < 0,01$ ). Нежелание юношей-студентов отвечать на такого рода вопросы интересно сопоставить с тем фактом, что именно в этой подгруппе испытуемые указывали на важность личностно-рефлексивного аспекта. Таким образом, при декларируемой ориентации юношей-студентов на рефлексивность у них мы наблюдали отсутствие их собственной рефлексии.

Итак, на первом этапе исследования было обнаружено сходство в описаниях, сделанных разными людьми. Причем эти описания

включали как когнитивный, так и социальный компоненты. Была обнаружена групповая (возрастная и половая) специфичность имплицитных концепций интеллектуальности.

Результаты первого этапа позволили нам перейти к анализу культуральной, а также групповой специфичности концептов или прототипов интеллектуальной личности через изучение дескрипторов, используемых при ее описании. В процессе этого анализа предполагалось решить следующие задачи:

1. Выявить прототип интеллектуальной личности на общей отечественной выборке респондентов и осуществить кросс-культурное сравнение результатов с целью выявления общих закономерностей функционирования социальных репрезентаций и выделения особенностей, свойственных именно российской выборке. Какое из двух качеств интеллекта – социальное или когнитивное – окажется наиболее важным при описании умного человека в выборке российских респондентов?
2. Выявить прототип мужской и женской интеллектуальности. Является ли когнитивно-рациональное измерение наиболее важным признаком мужской интеллектуальности, а эмоционально-социальное – женской интеллектуальности?

Чтобы ответить на эти вопросы, мы просили испытуемых вспомнить умного человека, которого они знали лично, и оценить его по каждому из 60 утверждений с помощью 5-балльной шкалы. Испытуемых просили также указать пол и возраст описываемого человека.

Характеристики умного человека оценивались выборкой взрослых (99 человек), средний возраст 33 года, 67% – женщины и группой школьников (233 человека), которые были разбиты на три возрастные группы: 1) учащиеся 6-х классов, средний возраст – 11 лет (50 человек), 56% – девочки; 2) учащиеся 8-х классов (101 человек), средний возраст – 13 лет, 61% – девочки и 3) учащиеся 11-х классов (82 человека), средний возраст – 15 лет, 66% – девушки.

При выборе умного человека обнаружились половые различия, которые, в свою очередь, были дифференцированы у разных поколений. Взрослые испытуемые предпочитали называть умным человеком мужчину, в среднем 38 лет: 83% мужчин и 60% женщин считают, что умный человек – это мужчина (рисунок 3). Эти результаты сходны с результатами, полученными в японских и финских исследованиях (Azuma, Kashivagi, 1987; Rätty, Snellman, 1992).

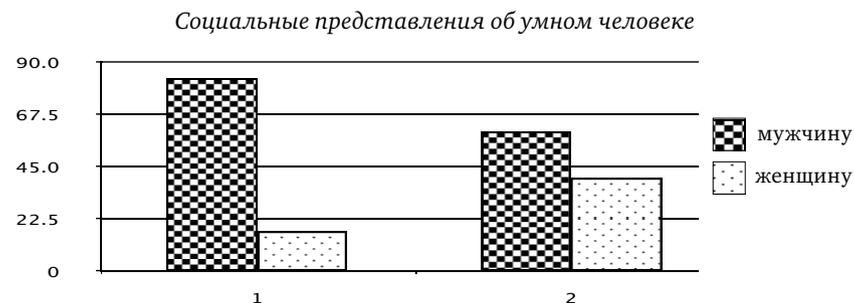


Рис. 3. Выбор умного человека взрослыми

Выбирают: 1 – мужчины; 2 – женщины

Школьники предпочитают выбирать умного человека из своей собственной половой и возрастной группы. Так, в младшей группе школьников 90% мальчиков выбрали своих сверстников, причем без полового предпочтения. 45% мальчиков решили, что умный человек – это девочка того же возраста, что и они, и 45% – что это мальчик. Среди девочек той же возрастной группы картина была следующей: большинство выбирали сверстников (68%), из них 46% выбрали девочку и 22% – мальчика. Взрослых на роль умного человека выбрали лишь 32% девочек, из них 25% выбрали мужчину и 7% женщину (рисунок 4).

В средней группе школьников 84% мальчиков выбирали своих сверстников, причем преимущественно своего пола: 82% мальчиков выбирали мальчика и 2% – девочку. Сверстников выбирают 63% девочек, причем 48% выбирают девочку и 15% – мальчика. Взрослого

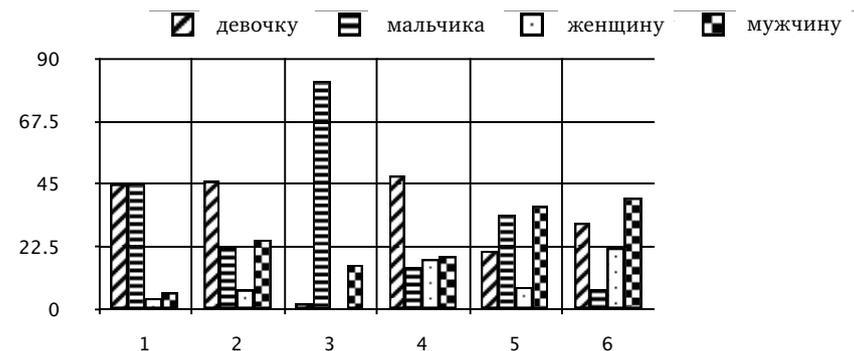


Рис. 4. Выбор умного человека школьниками

Выбирают: 1 – мальчики; 2 – девочки – младшие школьники; 3 – мальчики; 4 – девочки – средние классы; 5 – мальчики; 6 – девочки – старшие классы

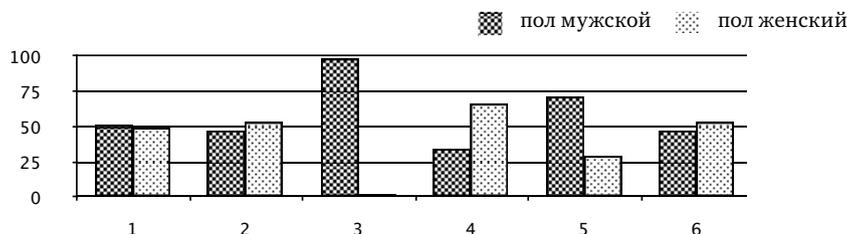


Рис. 5. Половые предпочтения в выборе умного человека школьниками разного возраста

Выбирают: 1 – мальчики, 2 – девочки – младшие классы; 3 – мальчики, 4 – девочки – средние классы; 5 – мальчики, 6 – девочки – старшие классы

мальчики выбрали в 16% случаев, а девочки в 37%, причем мальчики выбирали только мужчину – 16%, а девочки без полового предпочтения: 19% выбрали мужчину и 18% – женщину (рисунок 4).

В старшей группе школьников картина предпочтений у мальчиков приблизилась к таковой у взрослых: 71% мальчиков выбирают умным человеком мужчину, причем 37% выбирают взрослого и 34% – своего сверстника. Девочек выбирают 21% мальчиков и 8% мальчиков выбирают взрослую женщину. Девочки при выборе умного человека отдают свое предпочтение взрослому (61%), причем 39% выбирают мужчину и 22% – женщину. Среди сверстников девочки выбирают девочек в 31% случаев и мальчиков – только в 7% случаев (рисунок 4).

Сравнения упомянутых выше групп школьников позволяет выявить возрастную тенденцию в развитии представлений об умном человеке (рисунок 5).

У мальчиков 10–12 лет не выявлено половых предпочтений в выборе умного человека, в 14 лет картина резко меняется в сторону мужской интеллектуальности (97%) и к 16 годам она устанавливается на том же уровне, что и у взрослых.

У девочек в развитии представлений об интеллектуальности не было обнаружено таких резких изменений, как у мальчиков. Но общая картина развития возрастного изменения представлений была сходной: примерно равное распределение выборов между мужской и женской интеллектуальностью в 11 лет (47% и 54% соответственно), затем в 14 лет наблюдается рост женской интеллектуальности (64%) и к 16 годам он начинает приближаться к представлениям взрослых (53% у девочек и 40% у взрослых женщин).

Таблица 2

РЕЗУЛЬТАТЫ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА ДЕСКРИПТОРОВ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЛИЧНОСТИ

Название фактора и входящие в него дескрипторы интеллектуальной личности	Нагрузка
1. Социально-этический фактор (10.5%)	
– скромный	.74
– порядочный	.70
– доброжелательный	.69
– добрый	.69
– честный	.64
– помогает другим	.63
2. Фактор культуры мышления (9.1%)	
– эрудированный	.73
– интеллектуальный	.68
– хорошо образован	.62
– много читает	.61
– гибкий ум	.55
– творческий	.53
3. Фактор самоорганизации (8.2%)	
– не зависит от эмоций	.56
– практичный	.56
– не повторяет собственных ошибок	.55
– хорошо действует в сложной ситуации	.53
– стремится к поставленной цели	.52
– логичный	.50
4. Фактор социальной компетентности (6.8%)	
– умеет понравиться	.60
– хорошо говорит	.59
– активный	.59
– общительный	.57
– с чувством юмора	.47
– интересный собеседник	.42
5. Фактор опытности (5.8%)	
– многое умеет	.58
– мужественный	.49
– работоспособный	.48
– мудрый	.46
– критичный	.46

Для определения качеств интеллектуальной личности была проведена процедура факторного анализа. Факторный анализ проводился на выборке из 181 человека, в которую вошли взрослые

**Таблица 3**  
РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Название фактора и входящие в него дескрипторы интеллектуальной личности	Нагрузка
1. Кооперативные социальные умения (23%)	
– считается с другими	.87
– может выслушать другого	.82
– готов помочь	.76
– дружеский	.75
– эмпатичный	.74
– хорошее поведение	.71
– ценит других	.70
2. Навыки решения проблем (9%)	
– легко находит суть проблемы	.64
– легко понимает	.62
– легко обучается новому	.59
– может применять знания на практике	.58
– быстро решает проблемы	.57
– может рассматривать дело с разных точек зрения	.57
– способен интегрировать разные вещи	.55
3. Уверенность в общении (5%)	
– может отстаивать свое мнение	.69
– инициативен	.60
– легко заводит новые знакомства	.58
– живой	.57
– знает свою работу хорошо	.56
– с чувством юмора	.55
– обладает опытом работы в разных областях	.51
4. Рассудительность, благоразумие (4%)	
– точный	.69
– планирует прежде, чем действует	.63
– достигает цели в жизни и в работе	.53
– склонен мыслить теоретически	.49
– изучает проблему досконально	.48
– имеет детализированное знание	.45
– разбирается в технике	.42
5. Софистика (3%)	
– интересуется предметами, которые требуют рефлексии	.64
– хорошие общие знания	.59
– много читает	.58
– высоко образован	.49
– современный	.42
– склонный к вербализации	.40
– стремится учиться	.39

и школьники 11-го класса. После варимакс-вращения было выделено 5 значимых факторов (см. таблицу 2).

Для удобства сравнения полученных на российской выборке данных с другими выборками мы приводим результаты финского, японского и американского исследований.

Финское исследование включало выборку из 152 человек. Средний возраст – 42 года, 58% – женщины. В результате факторного анализа было выделено 5 значимых факторов.

Японское исследование включало выборку из 332 студентов, 330 студенток и 132 матерей студентов. В результате факторного анализа было выделено 5 факторов.

Американское исследование включало выборку из 28 человек, которых просили описать идеально умного человека. В результате факторного анализа было выделено 3 фактора.

Как мы уже говорили, одной из сложностей при сравнении результатов кросс-культурных исследований является разница в методах: так, испытуемые думали о конкретном человеке в нашем исследовании, а также в финском (Räty, Snellman, 1992) и японском (Azuma, Kashiwagi, 1987), и об идеальной личности – в американском исследовании (Sternberg et al., 1981). И тем не менее мы считаем, что сравнение правомерно, поскольку идеал может выступать не только как совокупность неких норм поведения, но и как образ конкретного человека, который характеризуется привлекательными чертами, соответствующими данным нормам и служит образцом. Причем в качестве идеала могут выступать люди ближайшего окружения (Рубинштейн, 1989б, с. 119). Действительно, наши испытуемые выбирали конкретного человека, наиболее близкого к их представлению об идеале умного человека. В пользу этого утверждения свидетельствуют данные, полученные при анализе социальных представлений об интеллекте у подростков и педагогов (Смирнова (Александрова), 1995а).

Хотя наше исследование методически совпадало с финским и японским исследованиями, но были различия и с ними. Разным было количество баллов в шкалах, по которым оценивались интеллектуальные качества: 3-балльная шкала в японском исследовании и 5-балльная в финском. И конечно, список качеств, который оказался разным во всех четырех исследованиях, поскольку отражал типичные для каждой из культур характеристики.

Сравнивая полученные результаты с финскими, японскими и американскими, можно отметить следующее: общим для российского,

Таблица 4

Результаты японского исследования

Название фактора и входящие в него дескрипторы интеллектуальной личности	Нагрузка
1. Позитивная социальная компетентность (47%)	
– хороший оратор	.69
– общительный	.66
– рассказывает с юмором	.62
– может говорить на разные темы	.57
– остроумный	.56
– активный, агрессивный	.53
– жизнерадостный	.50
– лидер	.49
2. Эффективность (19%)	
– работает эффективно	.53
– не теряет времени	.53
– быстр в суждениях	.52
– планирует	.51
– эффективен в делопроизводстве	.51
– хорошая интуиция	.49
– ясные, четкие решения	.45
3. Рецептивная социальная компетентность (17%)	
– может принять точку зрения другого	.73
– сочувствующий	.64
– скромный	.61
– хорошо слушает	.59
– признает ошибки	.52
– знает свое место	.49
– находчивый	.46
– разбирается в людях	.46
4. Оригинальность (9%)	
– оригинальный	.44
– точный	.41
5. Чтение и письмо (8%)	
– хорошо пишет	.51
– часто пишет письма	.48
– хороший читатель	.46

финского и японского прототипов является социальное измерение. Во всех трех исследованиях социальное качество является преобладающим в факторном решении и поделено между двумя измерениями: «социально-этическим», «кооперативным», или «рецептивным», и «социальной компетентностью», «настойчивостью», или «пози-

Таблица 5

Результаты американского исследования

Название фактора и входящие в него дескрипторы интеллектуальной личности	Нагрузка
1. Способность практически решать проблемы (29%)	
– рассуждает логично	.77
– устанавливает связи между идеями	.77
– видит все аспекты проблемы	.76
– не имеет предубеждений	.73
– внимателен к идеям других	.70
– хорошо определяет ситуацию	.69
– вникает в суть проблемы	.69
– точно интерпретирует информацию	.66
– принимает адекватные решения	.65
– пользуется подлинными источниками информации	.64
2. Вербальные способности (10%)	
– говорит ясно и точно	.83
– бегло говорит	.82
– хорошо ведет беседу	.76
– осведомленность в разных областях знания	.74
– учится упорно	.70
– читает с большим пониманием	.70
– читает разнообразную литературу	.69
– эффективно взаимодействует с людьми	.68
– пишет без усилий	.65
– выделяет специальное время для чтения	.64
3. Социальная компетентность (7%)	
– принимает других такими, какие они есть	.88
– относится к ошибкам с пониманием	.74
– проявляет пристальный интерес к миру	.72
– вовремя приходит на встречу	.71
– есть социальная совесть	.70
– думает прежде, чем говорить или делать	.70
– проявляет любопытство	.68
– не выносит моментальных суждений	.68
– выносит справедливые суждения	.66
– хорошо оценивает информацию, относящуюся к проблеме	.66

тивной социальной компетентностью». В работе R. Sternberg et al. выделено только одно социальное измерение, которое больше соответствует фактору социальной компетентности, нежели социально-этическому фактору.

В нашем исследовании мы так же, как и финские коллеги (Rätty, Snellman, 1992), не обнаружили независимого вербального фактора, который был выделен в исследовании R. Sternberg с соавт. (1981). Фактор социальной компетентности, выявленный в нашем исследовании, включает вербальный навык, но шире – отражая социальные интересы и умения. В финском же исследовании вербальный фактор вошел в фактор «софистика», который тоже был шире, поскольку включал интеллектуальные навыки. H. Azuma и K. Kashivagi (1987) также выделяют вербальный фактор, но и его содержание оказывается специфичным.

Следует отметить и параллели между факторами «культура мышления» и «софистика». Общим здесь является наличие такого признака интеллектуальной личности, как эрудиция, образованность.

Следующие два фактора, выявленные в нашем исследовании, – фактор самоорганизации и фактор опытности – обнаружили много сходства с факторами рассудительности и умением решать проблемы в финском исследовании и факторами эффективности и оригинальности в японском. Все эти факторы так или иначе связаны с когнитивной стороной интеллектуальности, но имеют разное выражение в разных культурах.

Так, фактор самоорганизации в нашем исследовании скорее отражает рациональное начало в представлениях об интеллектуальности (не зависит от эмоций, практичный, не повторяет собственных ошибок, стремится к поставленной цели, логичный), в то время как фактор рассудительности в финском исследовании репрезентирует, вероятно, характерную для финской культуры черту интеллектуальной личности (точность, систематичность, определенность, настойчивость и успешность в жизни и работе).

Навыки решения проблем отмечены во всех работах, хотя выражены они по-разному. В финском и японском исследовании к навыкам решения проблем относятся быстрота и эффективность действий. В американском исследовании акцент делается на непредубежденности и точности. В нашем исследовании – на опытности и гибкости.

Сравнивая результаты американского и японского исследований, можно отметить, что в первом случае главный вывод авторов: когнитивный компонент является ведущим в представлениях об интеллектуальной личности. В японском же исследовании на первый план выступает социальный фактор.

Что же касается исследования финских авторов, то их вывод о том, что в финской популяции основным фактором, характеризующим соответствующее социальное представление, является когнитивный, требует специального обсуждения. Анализ полученных финскими авторами результатов (Rätty, Snellman, 1992; Vornanen, 1992) заставляет усомниться в правомерности подобного вывода. На основании факторного анализа авторы показали, что в группе взрослых ведущий фактор, объясняющий наибольшую долю дисперсии (23%), – «социальный», второе место (9%) занимает «когнитивный» фактор. Сравнение центральных тенденций (средних значений) переменных для интеллектуального мужчины показало, что величины «когнитивных» оценок превышают величины «социальных» переменных. Для женщин такого соотношения не выявлено: в группу переменных, не различающихся по средним значениям, входят и когнитивные, и социальные оценки. Авторы основывают свой основной вывод о «когнитивном» факторе как ведущем исключительно (1) на соотношении, установленном при сравнении средних, причем (2) только для мужчин. Представляющийся более обобщенным и валидным результат факторного анализа (учитывающий многомерную совокупность «социальных» и «когнитивных» оценок, а не одиночные переменные) без специальных обоснований не принят во внимание при формулировке основного вывода работы.

Таким образом, вывод, сделанный авторами, представляется произвольным, возможно, «социально желательным», направленным на отнесение исследованной популяции к западной культуре и дистанцирование ее, по возможности максимальное и по любому критерию, от восточно-европейской. Этот вывод, возможно, отражает острый конфликт между имплицитной концепцией, существующей в финском обществе, и ее эксплицитной оценкой «интеллектуальной субпопуляцией» финского общества.

Итак, можно ли думать, сопоставляя наши данные с данными цитированных выше исследований, что здесь мы сталкиваемся с проявлением западной и восточной ориентации, а именно с рационалистическими и индивидуалистическими традициями западного общества, коллективистическими традициями и «ненаучным» (при рассмотрении с позиции западных стандартов) стилем мышления в Азии (Dasen et al., 1985; Wong et al., 1983)? В пользу утвердительного ответа на этот вопрос наряду с приведенными выше данными свидетельствуют и результаты сопоставления представлений о математике у французских и русских преподавателей. Число

вербальных единиц, характеризующих роль математики для общества у русских преподавателей в четыре раза превышало таковое у французских. Для числа единиц, характеризующих роль математики для индивида, обнаружено обратное соотношение – большее их число у французских преподавателей (Самойленко и др., 2007).

Как мы отмечали выше, в нашем исследовании также выявлена ведущая роль социального фактора. По-видимому, полученные результаты подтверждают представление о наличии двух начал (преобладающего восточного и западного) в российском менталитете и о ведущей роли моральных представлений.

*Мужская и женская интеллектуальность.* Для того чтобы проанализировать возможные различия между представлениями о мужской и женской интеллектуальности, мы воспользовались процедурой сравнения с помощью t-теста для парных выборок.

Наиболее важными качествами как мужской так и женской интеллектуальности явились три измерения: социально-этический, социальная компетентность и культура мышления, которые значительно отличались от двух других (см. таблицу 6). На уровне факторной структуры также не обнаружено различий между представлениями о мужской и женской интеллектуальности. Далее мы провели сравнение между показателями с помощью точного критерия Фишера. Результаты представлены в таблице 7.

В таблице представлены те показатели (8 из 60), для которых отмечены значимые различия: 1) в представлениях женщин об умной женщине и умном мужчине; 2) в представлениях мужчин об умном мужчине и умной женщине; 3) в представлениях мужчин и женщин об умном мужчине и 4) в представлениях мужчин и женщин об умной женщине.

Таблица 6

Сравнение мужской и женской интеллектуальности

Женская интеллектуальность	Мужская интеллектуальность
Социально-этический 4.32a	Социальная компетентность 4.20a
Социальная компетентность 4.27a	Культура мышления 4.17ab
Культура мышления 4.25a	Социально-этический 4.17ab
Опытность 3.96b	Опытность 4.07b
Самоорганизация 3.82b p < 0,001	Самоорганизация 3.98b p < 0,005

Таблица 7

ДЕСКРИПТОРЫ, ЗНАЧИМО РАЗЛИЧАЮЩИЕСЯ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ О МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОСТИ

Значимые показатели	Представления	p =
Добрый	ЖЖ>ЖМ	0,02
Признает ценность других людей	ЖЖ>ЖМ	0,02
Мудрый	ЖЖ>ЖМ	0,03
Критичный	ЖЖ>ЖМ	0,008
Хорошо действует в сложной ситуации	ММ>МЖ	0,009
	ММ>ЖМ	0,004
Много читает	ЖЖ>МЖ	0,03
Интересный собеседник	ММ>ЖМ	0,046
Хорошо говорит	ММ>ЖМ	0,04

*Обозначения:*

ЖЖ – представления женщин об умной женщине;

ЖМ – представления женщин об умном мужчине;

ММ – представления мужчин об умном мужчине;

МЖ – представления мужчин об умной женщине

Из таблицы видно, что умная женщина в глазах женщины выглядит более доброй, признающей ценность других людей, мудрой и критичной по сравнению с ее представлениями об умном мужчине.

Для мужчины главным признаком, отличающим его представления об умном мужчине от его представлений об умной женщине, стал признак успешности действия в сложной ситуации.

Среди 60 характеристик интеллектуальности мы обнаружили только три показателя, которые статистически значимо дифференцируют представления мужчин и женщин об умном мужчине, это успешность действия в сложной ситуации и два вербальных признака (хорошо говорит, интересный собеседник), а также только один показатель в представлениях об умной женщине (много читает).

Полученные данные, по-видимому, отражают сложившиеся половые стереотипы, согласно которым когнитивный признак является главным признаком мужской интеллектуальности, а социальный – женской.

Как видно из представленных результатов, мы обнаружили не-много различий между мужской и женской интеллектуальностью.

Можно сделать предположение, что интеллектуальность традиционно выглядит как маскулинное качество (что подтверждается в нашем исследовании преимущественным выбором мужчин), и тогда женщине, чтобы стать интеллектуальной, необходимо присвоить себе эти атрибуты мужской интеллектуальности. Данный вывод согласуется с представлениями, которые существуют в собственно научных теориях о прототипе умного человека, которым является мужчина (Gould, 1981; Rust, Golombok, 1989).

Вместе с тем сопоставление этих данных с предыдущим результатом, согласно которому ведущим в российском менталитете, по крайней мере, для нашей выборки является социальный фактор, ставит специальную проблему, поскольку оказывается, что характеристики ментальности образуют составляющие женского, а не мужского (когнитивного) ума. Другими словами, в обыденном сознании умный человек отчетливо ассоциируется с мужчиной, которому присущи черты женского (социального) ума. По нашему мнению, данное наблюдение довольно интересно, но его разработка требует специального социально-психологического исследования.

Таким образом, в общую теорию социальных представлений, которые являются одной из образующих социального мышления личности, входят имплицитные концепции интеллекта или обыденные представления об умном человеке. Наши результаты показывают, что обыденные концепции интеллектуальности у россиян достаточно универсальны, хотя нами были отмечены и некоторые групповые особенности.

Полученные результаты согласуются с выводами других работ в данной области и показывают, что обыденные теории интеллектуальности включают два компонента: когнитивный и социальный. Социальная атрибуция имплицитных теорий интеллекта делает эти теории более общими, чем научные теории интеллекта. На роль интеллектуальной личности выбирается мужчина, что также согласуется с результатами других исследований. Представления об интеллектуальной личности достаточно полно формируются к 16 годам.

Результаты факторного анализа показали, что социально-этический фактор является наиболее важным в представлениях об интеллектуальной личности. Этот результат во многом согласуется с данными, полученными на японской выборке, и расходится с результатами американского исследования, в котором показана ведущая роль когнитивного компонента.

Социальные представления об интеллекте у подростков и педагогов. Одной из основных задач школьного обучения является формирование и развитие интеллекта у ребенка. Знание об интеллекте и его развитии существует в виде социальных представлений разного рода: сюда входят и научные теории и обыденные представления, которые тесно связаны друг с другом. Научные концепции проникают в школу благодаря учителям, а обыденные теории, в свою очередь, оказывают влияние на содержание тех собственно научных концепций, которые усваиваются педагогами в процессе обучения.

Согласно социально-психологическому подходу к когнитивному развитию, формирование интеллектуальной активности ребенка происходит через взаимодействие со значимыми взрослыми и сверстниками. Известно, что те когнитивные черты, которым приписывается высокая социальная ценность, являются для людей наиболее значимыми (Azuma, Kashiwagi, 1987). Таким образом, те характеристики интеллектуальной личности, которые рассматриваются в данном сообществе как высокоценные, направляют человеческие усилия к их приобретению.

В исследовании К. А. Абульхановой и Х. Йоловой (1989) была показана связь между возникновением представлений об интеллекте как ценности, рефлексией по поводу своего интеллекта и темпами интеллектуального развития подростка, т. е., если у подростка не возникает представлений об интеллекте как ценности и он не рефлексировал по поводу своего интеллекта, то и темпы его интеллектуального развития значительно снижены.

Школьники и учителя – это те респонденты, представления которых об интеллекте являются, безусловно, важными, поскольку дети – та часть общества, в которой формируется интеллект, а учителя – те значимые взрослые, которые влияют на его формирование. Мы выявляли, какие представления об интеллекте подростка наиболее значимы среди подростков и педагогов, а также как соотносятся представления этих групп между собой (Смирнова (Александрова), 1995а).

Испытуемых просили вспомнить и описать умного подростка, которого они знали лично, указать его пол и возраст. Учитывался также пол и возраст самих испытуемых. В исследовании приняли участие 74 человека, которые составили две группы:

- 1) школьники одной из московских школ (45 чел.) от 14 до 17 лет, средний возраст – 15 лет, из них 30 – девочки;
- 2) учителя различных школ (29 чел.). Возраст – от 24 до 48 лет, средний возраст – 37 лет, из них 25 – женщины.

Полученные результаты обрабатывались с помощью контент-анализа. Обнаружено, что взрослые в 69% случаев выбирают умным подростком мальчика, а подростки – из своей собственной половой группы (60% мальчиков выбирают мальчика и 68% девочек выбирают при описании девочку).

На основании контент-анализа ответов мы выделили следующие параметры интеллектуального подростка (с сохранением лексики):

- когнитивные качества: хорошо соображает, легко дается математика, найдет выход из любого положения, острый ум;
- социальные качества: веселый, приятно общаться, с ним весело, с чувством юмора;
- этичность: добрый, всегда помогает, хорошо меня понимает, хороший друг, надежный, скромный.
- эрудированность: большая эрудиция, много знает, много читает;
- школьные успехи: хорошо учится, получает пятерки, делает домашние задания;
- авторитетность: очень уважаю, объясняет понятно, обращаюсь за советом, лидер;
- самостоятельность: имеет свое мнение, не боится высказать свое мнение;
- качества темперамента: быстро схватывает, активно работает на уроке, спокойный, сдержанный;
- настойчивость: трудолюбивый, усердно работает, будет решать задачу, пока не решит;
- внешность: красивый, симпатичный, умные глаза, хорошая прическа и т. д.;
- вербальные качества: интересен в разговоре, не говорит глупости, интересный собеседник, умная речь, много рассказывает;
- увлечения: слушает хорошую музыку, любит рисовать, занимается танцами, занимается языком.

Представления об умном подростке у учителей также весьма разнообразны. Из этих описаний мы выделили следующие параметры интеллектуального подростка:

- когнитивные качества: находчивый, любознательный, сообразительный, острый ум, гибкость мышления и т. д.;
- социальные качества: общительный, открытый, веселый, с чувством юмора;

- настойчивость: трудолюбивый, ответственный, целеустремленный, упорный;
- самостоятельность: независимый, уверенный в себе, имеет собственное мнение и т. д.;
- оригинальность: оригинальный, нестандартный, своеобразный, творческий;
- этичность: добрый, понимающий, деликатный, отзывчивый;
- эрудированность: большой кругозор, большая начитанность, хорошая эрудиция;
- индивидуальные особенности: самолюбивый, эгоцентричный, с высоким уровнем притязаний и т. д.;
- отношение к авторитету: высоко ставит авторитет старших, высок авторитет мамы, относится с уважением к учителям;
- темперамент: быстрый, энергичный, активный, живой, подвижный, импульсивный;
- школьные успехи: хорошо учится, успешен по всем предметам;
- вербальные качества: хорошо говорит, интересно и своеобразно излагает свое мнение, свободно владеет речью;
- артистизм: артистичный, с хорошим вкусом, внутренне красивый.

Подростки характеризовали умного сверстника позитивно, отмечая его открытость. Учителя дали ответы с обратным знаком: отстраненный, застенчивый, не любит компании, круг друзей ограничен.

Для создания общей картины результатов нашего исследования в таблице 8 приведены данные, характеризующие представления подростков и учителей об интеллектуальной личности.

Наши испытуемые характеризовали умного подростка главным образом в терминах его когнитивных качеств, таких как: любознательность, гибкость мышления, сообразительность, а также социальных качеств: общительность, открытость, чувство юмора.

В целом следует отметить, что представления учителей и подростков об умном подростке во многом совпадают. Но при этом как у взрослых, так и у подростков обнаружены несовпадающие темы. Взрослые делают акцент на таких качествах, как оригинальность, самостоятельность, индивидуальность. Это те темы, которые практически не упоминались подростками. А у подростков обнаружили свои темы, которые не упоминались взрослыми, это внешность и умение говорить.

**Таблица 8**  
Представления об умном человеке  
у подростков и педагогов

Характеристики	Педагоги (в %)	Подростки (в %)
1. Когнитивные качества	83	54**
2. Социальные качества	45	46
3. Настойчивость	45	13**
4. Самостоятельность	38	7**
5. Оригинальность	38	2**
6. Особенности темперамента	38	17*
7. Этичность	31	44
8. Эрудированность	28	35
9. Индивидуальные особенности	21	—**
10. Вербальные качества	14	33
11. Артистизм	10	—
12. Увлечения	10	13
13. Школьные успехи	7	13
14. Отношение к авторитету	7	—
15. Внешность	—	35**
16. Авторитетность	—	17*

Примечание: \* –  $p < 0,05$ ; \*\* –  $p < 0,01$ ; точный критерий Фишера.

Обращает внимание меньшая представленность когнитивных качеств в характеристиках, данных подростками. Этот факт соответствует описанной у С. R. Kinlaw и В. Kurtz-Costes (2003) динамике формирования представлений об интеллекте у детей – пропорция когнитивных характеристик в описаниях сначала незначительна и увеличивается лишь постепенно, с возрастом приближаясь к таковой взрослых. Итак, *возрастание «веса» когнитивных характеристик по мере взросления под действием культурной среды является, по-видимому, общим свойством развития данных представлений даже для тех культур, в которых эти концепции существенно различаются.*

Возникает вопрос: почему же существует некоторая область в представлениях учителей, которая является для них достаточно существенной и которая практически не выявляется у подростков?

Объяснение отсутствия в представлениях подростков таких тем, как оригинальность, самостоятельность и индивидуальность, мы

находим в работе Г. А. Цуккерман (1993), в которой анализируются проблемы воспитания и развития ребенка. Г. А. Цуккерман пишет о том, что современная система обучения и воспитания строится на более или менее жестком возрастном разделении функции ребенка и взрослого в их совместной жизнедеятельности: целеполагание, контроль, оценка очень долго остаются по преимуществу взрослыми «сферами влияния». Даже при самой мягкой и демократичной манере воспитания родители, считаясь с желаниями и мнениями ребенка, стараясь по возможности выбор занятий предоставить ему самому, не навязывая ему своих оценок, тем не менее не в состоянии полностью избежать немотивированных приказов и запретов, контроля и оценки детского поведения, а иногда даже таких ситуаций, когда ребенку пытаются навязать цели взрослых и требуют безоговорочного повиновения. И учитель в школе продолжает ту же традицию возрастного разделения функций: он формулирует перед учениками цели их работы, он проверяет и оценивает их работу. Г. А. Цуккерман (1993) называет выделенные позиции взрослого и ребенка законом совместного существования взрослых и детей. Непредставленность указанных тем можно рассмотреть как проявление этого закона.

Таким образом, исходя из концепции устойчивого ролевого взаимодействия между взрослым и ребенком, мы можем обнаружить конфликт между позицией педагога в обучении (в том числе его позицией в формировании интеллектуальной функции ребенка) и признаваемыми им на сознательном уровне ценностями: самостоятельность, оригинальность, индивидуальность ребенка. Другими словами, если учитель ставит цели, контролирует и оценивает работу учащегося и при этом хочет воспитывать самостоятельность, то он неизбежно оказывается в конфликтной ситуации. Ребенок (подросток в особенности) остро чувствует эту раздвоенность, это «двойное послание», исходящее от учителя, и формирует свой собственный мир, в котором отсутствует фигура взрослого (не случайно, в нашем эксперименте мы не обнаружили ни одного ответа, где подросток упоминал бы взрослого), а также выбирает позицию ведомого, поскольку она свойственна ему с рождения, вытесняя идеи независимости, самостоятельности, индивидуальности.

Что касается таких тем как внешность и авторитетность, которые выделены исключительно у подростков, то они могут быть поняты и объяснены исходя из психологических особенностей данного

возраста, а именно из учета того, что ведущей деятельностью подросткового возраста является личностное общение со сверстниками. Таким образом, становится понятным использование в описаниях таких тем как внешность и авторитетность, т. е. того, что презентует подростка в кругу сверстников.

Помимо выделения основных тем, используемых при описании умного подростка, мы в нашем анализе результатов эксперимента учитывали также наличие полярностей в описании подростка, таких, например, как позитивность и негативность, активность и пассивность, общительность и закрытость и т. д. В основном, умный подросток описывался позитивным, активным, общительным, т. е. в ответах обнаруживался лишь один полюс, особенно в ответах подростков. В подростковой выборке только одна девочка использовала такую характеристику как эгоистичный, полярную преобладающей – отзывчивый; у педагогов мы обнаружили четыре ответа, в которых полярность не совпадала с ответами остальных, а именно: эгоцентричный, отстраненный, не любит компании, круг друзей ограничен.

Эти результаты несомненно указывают на высокую социальную ценность интеллекта. С другой стороны, позитивность и идеализация умного подростка свидетельствуют в пользу того, что учителя и подростки в своих ответах создают образ идеальной умной личности.

Полученные результаты показали, что подростки при описании умного человека достоверно чаще (хи-квадрат,  $p < 0,001$ ), чем взрослые пользовались глаголами, передающими конкретные действия (хорошо соображает, найдет выход из любого положения, помогает мне, поддерживает меня, может дать совет и т. п.), тогда как учителя, в свою очередь, достоверно чаще (хи-квадрат,  $p < 0,001$ ), чем подростки, использовали прилагательные, выражающие оценку подростка (трудолюбивый, независимый, добрый, любознательный и т. п.) (см. таблицу 9).

Известно, что наряду с вполне развитыми формами мышления подросток использует и наиболее ранние формы, что, соответственно, отражается и в речи. Как упоминалось выше, Л. С. Выготский (2002) показал, что диалогическая речь – первичная форма речи. И именно в диалоге наблюдается тенденция к сокращению и предикативности суждений, поскольку известен общий контекст обсуждаемой ситуации. Таким образом, характерной особенностью первичной речи является предикативность.

Таблица 9

ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЛАГОЛОВ И ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ УЧИТЕЛЯМИ И ПОДРОСТКАМИ

Число:	Взрослые	Подростки
испытываемых	29	45
ответов	200	252
Число в ответах:		
глаголов	50 (25%)	146 (58%)
прилагательных	150 (75%)	106 (42%)

Итак, отмеченная в данном исследовании предикативность высказываний подростков, по-видимому, отражает использование ими наиболее ранних форм мышления и речи. Но в то же время предикативность речи подростков связана с теми целями, которые они реализуют. Как известно, ведущей деятельностью в подростковом возрасте является деятельность общения, заключающаяся в установлении интимно-личностных отношений между подростками (Эльконин, Драгунова, 1967). Общение подростков стимулирует развитие самосознания через познание своих сверстников. Этот процесс требует от подростка большой эмоциональной включенности, в силу своего личного характера. В таком случае мы вправе предположить, что наше задание для подростков было эмоционально значимым, что и проявилось в ответах: использование наиболее адекватных подростковой реальности речевых конструкций – описание и оценка человека в терминах, характеризующих то или иное его поведение, существенное для упомянутых отношений.

Мысль о том, что характеристики интеллекта могут использоваться в речи именно как отражение характеристик внешнего поведения человека, высказывалась В. Б. Швырковым, который отмечал, что в любом языке имеются обозначения психических свойств, сформировавшиеся как обобщенные характеристики внешне наблюдаемого поведения человека. Скажем, эффективность психических актов человека или животного трансформировались в его «ум» (Швырков, 1995; ср. с концепцией «успешного интеллекта»: Sternberg, 2002).

Мы проанализировали отдельно ответы мальчиков и девочек. В таблице 10 представлено распределение выделенных нами тем в ответах мальчиков и девочек.

Таблица 10

РАЗЛИЧИЯ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК  
ОБ УМНОМ ЧЕЛОВЕКЕ

Темы	Девочки	Мальчики
Авторитетность	23	13
Вербальные качества	39	20
Внешность	32	40
Когнитивные качества	65	20*
Настойчивость	19	13
Самостоятельность	7	–
Социальные качества	48	33
Темперамент	16	7
Увлечения	13	13
Школьные успехи	7	27
Этичность	52	27
Эрудированность	42	20

Примечание: \* –  $p < 0,01$ ; точный критерий Фишера.

Важно отметить, что индивидуальные различия были выражены ярче, чем половые. Достоверное различие между мальчиками и девочками проявилось в представлениях, касающихся когнитивных качеств; девочки чаще, чем мальчики, указывали на важность этих качеств. В целом следует отметить, что высказывания девочек были разнообразнее, они использовали большее количество тем по сравнению с мальчиками: в среднем около четырех тем у каждой девочки и около двух – у мальчика. По-видимому, данный факт можно объяснить большей психологической зрелостью девочек (см. выше о возрастании представленности когнитивных характеристик в описаниях детей по мере взросления), их более ранней социализацией, а также их большей адаптивностью. И в силу перечисленных особенностей они легче переживают отмеченный выше конфликт.

Итак, можно сказать, что основным результатом работ, посвященных исследованию имплицитных концепций интеллектуальности, явилось выделение ее двухкомпонентной структуры («технологической», «когнитивной» и «социальной») и выявление вклада каждого из этих компонентов в общее представление об интеллектуальности. Под когнитивными понимаются те особенности деятельности

субъекта, которые характеризуют его обучаемость, логичность рассуждений, способность к решению задач, внимательность и наблюдательность, уровень образования, эрудицию и т. д. Под социальными – общительность, порядочность, доброжелательность, умение выслушать другого и т. д.

В американском исследовании (Sternberg et al., 1981) были получены данные, которые привели авторов к заключению о том, что когнитивный компонент является ведущим в представлениях об интеллектуальной личности. В японском же исследовании (Azuma, Kashiwagi, 1987), а также в исследовании тайваньцев китайского происхождения (Yang, Sternberg, 1997b) на первый план выступает социальный фактор. Можно предположить, как уже было отмечено выше, что здесь мы сталкиваемся с проявлениями особенностей западной и восточной культур, в частности, рационалистическими и индивидуалистическими традициями западного общества и коллективистическими традициями и «ненаучным» (при рассмотрении с позиции западных стандартов) стилем мышления в Азии.

В нашем исследовании 1990-х годов была выявлена ведущая роль социального фактора, что совпало с данными японского исследования и разошлось с данными американского исследования. Когнитивный фактор в нашем исследовании занял второе место. По-видимому, это означает то, что по своим традициям и стилю мышления, во всяком случае, в том их аспекте, который определяет изученные характеристики прототипов, наша выборка являлась в большей степени восточной, чем западной. Возможность выделения подобных факторов, с одной стороны, и различие факторного паттерна в исследованиях, проведенных в разных странах, с другой, согласуется с принятым представлением о том, что имплицитные концепции, описывающие интеллектуальную личность, являются результатом общественного консенсуса и что прототип интеллектуальности различен в разных культурах (Sternberg, 1985).

Заметим, что в нашем обществе интеллектуальность связывается с понятием интеллигентность, традиционно включающим морально-этическую оценку (см., например: Бердяев, 1991а, б; Буланин, 2005; Марцинковская, 1994), а успех познавательного процесса – с нравственным состоянием человека (Петруня, 1998).

Комплексное исследование у российских респондентов разных социальных представлений, а не только анализируемых в настоящей книге (политических, правовых и т. д.) обнаруживает общую для них специфику, которая выражается в наличии морального

отношения или акцента (Абульханова-Славская, 1994, 1997, 2002; Абульханова, Воловикова, 2002; Воловикова, 1993, 1996; Воловикова, Гренкова, 1997; Знаков, 1993; Николаева, 1992; Славская, 1997; Воловикова, Соснина, 2001). Моральные представления являются как бы стержнем всей системы, системообразующим фактором, по выражению Б. Ф. Ломова (1980). Наши представления о морали, которые обсуждаются в главе 6, согласуются с этим утверждением.

К сопоставимым выводам приходит J. Haidt (2007) на основе анализа кросс-культурных исследований. Он отмечает, что тогда как в западных странах (при анализе образованных людей) обнаруживается относительная «узость морального домена», включающего лишь идеи вреда и честности, в других (более «традиционных») обществах он шире и включает также интуитивные представления о внутри- и межгрупповых отношениях, о верности, преданности, власти, уважении, смирении и пр.

Исследования обнаруживают связь морали и интеллекта и при анализе концепций интеллекта, сформированных в других восточных странах (а также в африканских). Так в конфуцианской традиции\* интеллект рассматривается как «способность делать правильный моральный выбор и отстаивать аргументированность этого выбора», а в качестве интеллектуала рассматривается человек, который действует так, как этого требует мораль в соответствии с идеей «правильности» (Yang, Sternberg, 1997a, p. 105, 106). Sh. Yang и R. Sternberg резюмируют, что если в западной традиции мораль отделена от интеллекта, то в конфуцианстве существуют теснейшие отношения интеллектуальности и морали. Подчеркивается, что сфера этического – не только наиболее важный компонент для философии Китая, но и компонент, связанный с китайской культурой в целом. Он неотделим от этикета, ритуала, обрядов, неписаного права и т. п. (История этнических учений, 2003). Это отражается на социальных представлениях об интеллектуальной личности.

Sh. Yang и R. Sternberg в другой работе (1997b), уже цитированной выше, ссылаются на данные, полученные ранее в исследовании, проведенном в Китае: характеристики интеллектуальной личности для китайцев включают социальную ориентированность и социальную ответственность. Сходные в этом аспекте данные

\* Конфуцианство, оказавшее существенное влияние на формирование ментальности японцев, пришло в Японию из Китая около 1.5 тысяч лет назад.

получены ими при исследовании тайваньцев китайского происхождения. К наиболее важным из выделенных факторов отнесен фактор, соответствующий описаниям типа «интеллектуальная личность – человек добрый, сострадательный, обращающийся с другими вежливо, тепло, чутко» (1997a, p. 28). Выраженность социального фактора в концепции интеллектуальной личности отмечается также при сравнении китайцев с австралийцами (Keats, 1982) и исследовании африканских народов в сопоставлении с населением США (Sternberg, Grigorenko, 2004).

Интересно, что в словаре В. Даля (1978) «интеллектуальный» определяется как «духовный, умственный» (именно в этой последовательности), при том что «духовный», по Далю, относится не только к умственным силам, но и к *нравственным чувствам*. В словаре иностранных слов, составленном в 1979 г., приведено то же перечисление в той же последовательности: духовный, умственный. В словаре С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой (1988 и 2002) определения те же, но последовательность иная: умственный, духовный. В японском исследовании, как и в нашем, был выделен социальный фактор. В связи с этим отметим, что в японском толковом словаре (Большой толковый словарь японского языка, 1976) при определении понятия «разумный, умный» используется концепт справедливости, а в японо-английском (New Japanese–English Character Dictionary, 1990) включен иероглиф, обозначающий «тактичность», т. е., как и у нас, у этого понятия имеется нравственный аспект\*.

Иначе трактуется это понятие в английских словарях (см., например: Cambridge International Dictionary of English, 1995; Oxford University Dictionary, 1981) – как сила, способность рассуждать, которая *специально противопоставляется чувству*.

Сходство русского понятия «интеллигент» «с соответствующими эквивалентами в других европейских языках» – «чисто внешнее и ограничивающееся использованием одного и того же латинского корня». Слово «интеллигент» нельзя рассматривать лишь как технический термин, применяемый для обозначения людей умственного труда. Действительно, прилагательное «интеллигентный» является качественным, подразумевающим наличие определенных нравственных норм (Буланин, 2005, с. 33–34). Интеллигенция – специфически русское культурное явление (Успенский, 2002).

\* Авторы благодарят Ю. П. Киреева за перевод и Рёко Шибата (Ryoko Shibata, Япония) за консультации.

Использование при переводе на русский слова *intelligent* в значении «интеллигентный» неизбежно приводит к коммуникативным сбоям (Леонтович, 2005).

Слово «интеллигенция», хотя и является специфическим термином русской культуры было заимствовано из польского языка, и появилось в русской печати в 40-х годах XIX в. В русском языке социальное значение этого слова вытеснило значение, относящееся к когнитивным способностям и в этом значении было заимствовано из русского западноевропейскими языками. В польском же языке сохранились оба значения (Успенский, 2002).

Соответствие между социальными представлениями и языком, конечно, не случайность. Поэтому метод лексической реконструкции социальных представлений оказывается весьма успешным (см., например, серию исследований: Lahlou, 1995, 1996, 2001, а также работу Marková et al., 1997).

Тенденции, относящиеся к теориям (например, Уорфа, 1960), рассматривающим связь языка с мышлением и поведением, делят на «сильные и «слабые». В соответствии с первыми считается, что язык определяет мышление и поведение, а со вторыми – язык предрасполагает к предпочтению тех или иных вариантов. Например, во французском языке в зависимости от статуса, степени близости того, к кому обращаются выбирают разные местоимения *tu* или *vous*. В русском – *ты* или *вы*. В английском при употреблении *you* проблем подобного выбора не возникает. Следовательно, когда говорят на французском и русском, в отличие от английского, необходимо обращать внимание на указанные аспекты отношений (Слобин, 2004).

*Языки представляют собой не различные обозначения одного и того же явления, одной и той же вещи, а различное их видение, различные способы мышления и восприятия, различные убеждения людей* (фон Гумбольдт, 1985; Слобин, 2004; Уорф, 1960). Как подчеркивает Ю. Д. Апресян, язык «навязывает» своим носителям «единую систему взглядов, своего рода коллективную философию», которая определяет особенности видения и концептуализации мира его носителями (1995, с. 350).

Так, результаты исследований показывают, что носители разных языков выделяют разные фрагменты при описании одних и тех же отрывков видеофильмов (Stutterheim, Nüse, 2003; Stutterheim et al., 2002). Носители английского (а также испанского) языка дробят ситуацию на большее число событий, чем носители

немецкого. Уровень дискретизации наблюдаемой ситуации последними достоверно ниже, т. е. они разбивают поток событий на более крупные фрагменты. Носители разных языков не только выделяют из объективно идентичного потока разные события, но по-разному описывают и одну и ту же сцену. Носители английского языка описывают преимущественно осуществление действий, которые они наблюдают, разбивая их на ряд отдельных фаз, в то время как носители немецкого оценивают сцены более холистично и примерно в три раза чаще включают в описание результаты действий. Носители немецкого начинают описывать действие достоверно позже, чем носители английского (и испанского), дожидаясь его завершения, и строят это описание в связи с тем, какой результат достигнут. Можно сопоставить эту особенность, которую авторы называют «холистической, ориентированной на результат перспективой» – Stutterheim, Nüse, 2003, р. 874, – с особенностью немецкой науки, на которую было обращено внимание во введении. В. Russel отмечает: «Способы, которыми обучаются животные, усиленно исследовались в последние годы... В целом можно заключить, что... животные вели себя так, что подтверждали методологические установки наблюдателя, которые он имел перед началом наблюдения. Более того, все эти животные демонстрировали национальные особенности поведения наблюдавших за ними исследователей. Животные, наблюдавшиеся американцами, бешено носятся с невероятным напором и темпераментом и, наконец, случайно достигают желаемого результата. Животные, наблюдавшиеся немцами, спокойно сидят и думают и в конце концов выдают решение из своего внутреннего сознания» (1927, р. 33).

По-видимому, отмеченные различия тесно связаны с аспектами культуры, которые находят свое выражение в тех особенностях языков, от которых зависят выявленные авторами особенности дробления потоков. Возможно, эти аспекты могут быть сходны даже в сильно различающихся культурах. Носители алжирского арабского языка, представляющие культуру, существенно отличающуюся от той, к которой принадлежат носители английского (как и немецкого) языка, оценивают ситуацию аналогично носителям английского, сходным с ними образом отличаясь от носителей немецкого. Добавим, что свободно говорящие на двух языках обнаруживают те особенности дробления сцен и их описания, которые свойственны родному, первому из усвоенных ими языков (Carroll, Stutterheim, 2003).

Недавно обнаружена также *кросс-культурная ковариация различий в языке и в когнитивных стратегиях, относящихся к пространственной ориентации* (Haun et al., 2006), *к решению задач различения цветов* (Tan et al., 2008; Winawer et al., 2007), *к восприятию мимических выражений эмоций* (Barrett et al., 2007). Предполагается, что англичане и китайцы думают о времени по-разному и используют *разные пространственные метафоры для отображения хода времени*: первые – горизонтальные (например, «лучшие дни позади»), а вторые – также и вертикальные (например, «верхний» месяц в значении последний) (Voroditsky, 2001; см. возражения по статье Voroditsky, 2001: Chen, 2007; January, Kako, 2007, а также дополнительные аргументы Voroditsky, включающие в том числе данные о противоположной «направленности времени» по горизонтали у носителей иврита по сравнению с носителями английского: Voroditsky, 2008). Показано, что у испытуемых, родной язык которых английский и китайский, *решение арифметических задач опосредуется использованием разных когнитивных стратегий и обеспечивается разными паттернами мозговой активации* (Cantlon, Brannon, 2007; Campbell, Xue, 2001; Tang et al., 2006). Утверждается, что при изучении когнитивных процессов именно анализ устного счета наиболее ярко показывает связь с языком, в частности, со спецификой вербальной системы нумерации (Beller, Bender, 2008). Формирование ошибочных заключений связано с височно-теменной активностью у англоговорящих американцев и немецкоговорящих европейцев, но не у англоговорящих детей и англо-японоязычных билингвов (Kobayashi et al., 2006, 2007). Perner J. и Aichorn M. (2008) рассматривают эти данные как аргумент в пользу того, что культура или язык влияют на «локализацию мозговых функций», и против того, что формирование этих функций обеспечивается созреванием врожденно специфицированных мозговых субстратов. Подчеркивается, что определение национальной специфики в языках – один из эффективных путей выявления национальных особенностей у сравниваемых народов (Вежбицкая, 1996, 1999).

При понимании культуры в широком смысле сказанное выше, как нам представляется, приходит в определенное противоречие с утверждением о том, что «азиатское начало в русской культуре – не более, чем мираж» (Лихачева, 1994, с. 724). Данное утверждение приходит в противоречие и с высказываниями других авторов, в соответствии с которыми из двух начал – восточного и западного – в российском менталитете преобладает как раз восточное,

что связано, возможно, с влиянием православно-христианской традиции, усвоенной Россией от Византии. Однако это влияние оказывалось не на пустое место, а на культуру, имеющую соответствующие характеристики «восприимчивости». Российская ментальность формировалась под влиянием многих этнических, социально-исторических, культурных факторов, действовавших на протяжении тысячелетней истории России, в процессе которой формировался этнический тип, представляющий собой восточно-славянскую основу с финскими, тюркскими, монгольскими и другими этническими наслоениями (Чупина, Суровцева, 1984).

Кстати, что бы мы сами ни говорили о нашей «азиатскости» или «европейскости», в зарубежных социально-психологических исследованиях Россия без специального обсуждения относится авторами к группе азиатских стран (Diener, Oishi, 2004)\*. С подобным отнесением, видимо, согласился бы А. С. Пушкин, который писал, что помещение России в Европу – «ошибка географов»; «единственный европеец в России» – правительство (см.: Чаадаев, 1991, с. 462, 465), что «со времен восшествия на престол дома Романовых у нас правительство всегда впереди на поприще образованности и просвещения. Народ следует за ним всегда лениво, а иногда и неохотно» (Пушкин, 1989, с. 202). Оппозиционные правительству авторы, соглашаясь с мнением Пушкина, отмечают, что «правительство

\* Около 130 лет назад ситуация в этом аспекте, видимо, не сильно отличалась. «Не хотели европейцы нас почтить за своих ни за что, ни за какие жертвы и ни в коем случае... мы подобострастно исповедовали им наши «европейские» взгляды и убеждения, а они высоко нас не слушали и обыкновенно прибавляли с учтивой усмешкой, как бы желая поскорее отвязаться, что мы это все у них «не так поняли», – писал Ф. М. Достоевский (1983, с. 22). Чтобы его позиция стала ясней и не выглядела как «европофобия», отметим, что через три года после написания этих слов, обосновывая полезность поворота России в сторону Азии, он подчеркивал, что «в Европе мы были приживальщики и рабы, а в Азию явимся господами. В Европе мы были татарами, а в Азии и мы европейцы» (1984, с. 36, 37).

Примерно в то же время и Н. Я. Данилевский (1995) писал, что нас не принимают в европейское семейство. Это отношение Европы очевидно, и оно не случайность, а обусловлено ее базовыми интересами. Самим фактом своего существования, полагал автор, Россия нарушает европейское равновесие. И что бы ни делала Россия, пусть и бескорыстно, но оценивалась она как угроза.

всегда стояло у нас во главе развития и движения... Оно должно было бороться с невежеством, с тупостью...» (Голоса из России, 1976, с. 64). Н. Я. Данилевский (1995) обосновывал утверждение о том, что с культурно-исторической точки зрения Россия никак не может считаться частью Европы.

Западная культура в России того и более раннего времени была поверхностным барским заимствованием (Бердяев, 1990а). И в настоящее время большинство (71%) россиян не считают себя европейцами (Восприятие россиянами..., 2007)\*. Результаты эмпирических исследований приводят к заключению о том, что «западники» в России – «маргинальная группа» (Дилигенский, 2000). Россия – не Европа, но и полная отделенность России от Европы немыслима, – полагал Н. Я. Данилевский (1995). *Русский народ – не чисто европейский и не чисто азиатский, Россия – «Востоко-Запад», соединяющий два мира* (рисунок 6); обратим внимание на постановку именно Востока на первое место, в заковыченном словообразовании, принадлежащем Н. А. Бердяеву (1990б, с. 78).

Сказанное выше – не просто фигура речи. Как отмечает И. В. Кондаков (1998), дихотомия Восток – Запад является важнейшим компонентом культурологического знания. Использование этого компонента позволяет избежать как представлений об унификации культур, так и об их полной автономизации.

Сопоставляя понимание культуры России как восточно-западной с идеей, выраженной в известном стихотворении Р. Киплинга «Баллада о Востоке и Западе»: «О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и им не сойтись никогда», можно сказать, что Россия является как раз тем самым невозможным местом, где «сходятся» культуры Востока и Запада, культуры – антиномичные по множеству критериев. Г. фон Сект (глава рейхсвера) находил еще одно такое место: «Германия лежит между Западом и Востоком. Она не должна слиться ни с тем, ни с другим» (1933, л. 128; цит. по: Дьяков, Бушуева, 1992). Эта позиция, сходная с мнением о России как месте встречи Востока и Запада, напоминает нам об отмеченном во введении

\* Сопоставимые цифры получались при ответе на вопрос «Ощущаете ли вы себя европейцем?», начиная с 1995 г. При другой формулировке вопроса «На чей опыт стоит скорее ориентироваться при продолжении реформ в России?» получены сопоставимые данные: в 2000 г. 63% ответили, что следует опираться на традиции России и 14% – на опыт США и стран Западной Европы (Дубин, 2007).



Рис. 6. Востоко-Запад, материализованный в архитектуре

На рисунке представлен Петровский подъездной, или путевой, дворец, построенный архитектором Матвеем Фёдоровичем Казаковым в конце XVIII в. Особенность сооружения состоит в том, что в его архитектуре древнерусские мотивы соединены с элементами европейской готики (Разумовский, 1991)\*.

к данной книге другом сходстве – особенностей немецкой и русской наук как компонентов культур Германии и России. Конечно, в Германии (как и в России) было достаточно тех, кто «сливал» свою страну именно с Западом. Так, например, К. Денниц, названный Гитлером в завещании наследником, говорил, что культура Германии связана с Западом, а не с Востоком, как культура России (Голденсон, 2008, с. 46).

Результаты специального сопоставления взглядов на интеллект в восточных и западных культурах, включенные в «Энциклопедию интеллекта человека», изданную R. Sternberg (2002), находятся в соответствии с этой точкой зрения, подтверждая правомерность отнесения культуры России, во всяком случае по этому критерию, к группе восточных. Сопоставление показывает, что наряду со сходными характеристиками взглядов (например, представление

\* Авторы благодарят О. Л. Головину за консультацию.

об интеллекте как об оперирующем с эмпирическим знанием, с накопленной и организованной памятью) существуют и серьезные различия. К ним, в первую очередь, относится тесная ассоциация интеллекта с моралью в восточной, но не в западной литературе (Das, 1994).

Прежде чем перейти к анализу данных, описывающих, что произошло с социальными представлениями в России в период серьезных социально-экономических изменений, нам представляется целесообразным ответить на следующие вопросы, возникающие при обсуждении результатов первого этапа эмпирического исследования, изложенных в этой главе. *Как соотносятся понятия когнитивного, интеллектуального и морального, которыми мы пользовались для обсуждения полученных данных, с приведенными в главах 1–4 описаниями системных структур субъективного опыта и культуры? Является ли связывание любых актов (в том числе интеллектуальных) с моральной оценкой лишь странностью, aberrацией, свойственной восточным культурам?* Такая последовательность изложения материала позволит нам, опираясь на содержание полученных в главе 6 ответов, после описания второго этапа исследования (глава 7) сразу перейти к обсуждению проблем стабильности и динамики социальных представлений, не отрывая данное обсуждение от описания эмпирических результатов, имеющих к нему непосредственное отношение.

## ОТ ЭМОЦИЙ К СОЗНАНИЮ И ОТ МОРАЛИ К ЗАКОНУ

**В**ыше подчеркивалось, что общей закономерностью, описывающей развитие субъективного опыта и культуры, является переход от менее дифференцированных к более дифференцированным формам. Причем появление новых, более дифференцированных форм не отменяет ранее возникших, менее дифференцированных. Они сосуществуют.

В настоящей главе мы приведем аргументы в пользу того, что *системная дифференциация опыта может быть рассмотрена как движение от эмоций к сознанию, а культуры – от морали к закону.*

В процессе формулировки аргументов мы, во-первых, ответим на вопросы, перечисленные в конце предыдущей главы. Во-вторых, дополним сопоставление структур субъективного опыта и культуры. В-третьих, приведем новое системное понимание морали и тем самым внесем вклад в разработку проблемы морали, которая в последнее время все больше становится научной, а не только философской (Hauser, 2006a; Waal, 1996), в частности, в разработку актуальной, активно обсуждаемой сейчас (Casebeer, 2003; Greene et al., 2001; Haidt, 2001, 2007; Moll et al., 2002; 2005; и др.) проблемы соотношения морали и эмоций.

### Единая концепция сознания и эмоций

Несмотря на то, что в настоящее время все больше авторов разделяет позицию, согласно которой традиционное рассмотрение когнитивных и эмоциональных характеристик поведения индивида как отдельных функций и процессов, обеспечиваемых разными мозговыми структурами, и связанное с этим раздельное изучение сознания и эмоций неадекватно (см., например, обзоры: Glazer, 2000; Pessoa, 2008; Tsuchiya, Adolphs, 2007), превалирующим все же остается дизъюнктивный подход, предполагающий существование разных специализаций исследователей, разных лабораторий, разных журналов и конференций, задача которых – разработка представлений о психологических, физиологических и др. (например, биофизических (Hameroff et al., 2002) или молекулярно-биологических

(Kandel, Pittenger, 1999)) «механизмах» когнитивных процессов, сознания и эмоций.

Описанное разделение и противопоставление, как и несогласие с ними, имеют давнюю историю. Противопоставление разума и эмоций объясняется западной интеллектуальной традицией, генез которой связывается с необходимостью подчеркивать различие между разумом и иррациональными эмоциями в эпоху Возрождения (Destructive emotions, 2003, p. 159). Однако относить это противопоставление исключительно к западной традиции было бы неверно.

В V в. в Иране визирь Маздак в тяжелой для страны ситуации предложил шаху концепцию спасения государства. В соответствии с ней источником зла считалась неразумная стихия природы и эмоции человека, а источником добра – разум. Спасение государства – в устройстве жизни по законам разума, в том числе по законам равенства и социальной справедливости. Путь – конфискация имущества у богатых, обобществление женщин и т. п. Концепция проводилась в жизнь больше тридцати лет. В результате шах Кавад, согласившийся на перестройку, бежал. Его сын Хосров мобилизовал недовольных реформами, взял власть в свои руки, повесил Маздака и казнил его сторонников – маздакитов, которых закапывал в землю живыми.

Дизъюнктивный подход включает следующие положения (в эксплицитной или имплицитной формах):

- а) существуют специфические, гетерогенные, можно даже сказать, полярные когнитивные и аффективные психические процессы: «лед» и «пламень»;
- б) протекание этих процессов обеспечивается активностью разных структур мозга (или частей одной структуры) и разных нейронов;
- в) будучи отдельными механизмами, «устройствами», «субсистемами», входящими в состав целостной «машины» организма, когнитивные и аффективные процессы могут «влиять» друг на друга, «проникать» друг в друга, «взаимодействовать», «согласовываться» друг с другом, «порождать» друг друга, и т. п.

Названные положения дизъюнктивного подхода хорошо соответствуют присущим картезианству локационизму и редукционизму (см.: Александров, 1989, 2004а; Анохин, 1975, 1980; Швырков, 2006) и вписываются в аристотелевскую логику, оперирующую

оппозиционными парами, такими как «земной–небесный», «нормальный–патологический», «когнитивный–аффективный» и т. п. (см.: Левин, 1990).

С. Л. Рубинштейн отмечал, что психологи «часто говорят о единстве эмоций, аффекта и интеллекта, полагая, что этим преодолевают... точку зрения, расчленяющую психологию на отдельные элементы, или функции. Между тем подобными формулировками исследователь лишь подчеркивает зависимость от идей, которые стремится преодолеть» (1989б, с. 153). Действительно, как отмечалось выше, и поныне многие, критикуя дизъюнктивный подход, обсуждают влияние когнитивных и эмоциональных «частей», «составляющих» и пр. друг на друга. В то же время, как подчеркивал С. Л. Рубинштейн, различение интеллектуальных и эмоциональных процессов, не предполагающее никакого дизъюнктивного деления, возможно. Как нам представляется, *недизъюнктивный подход* (см.: Брушлинский, 2003) к пониманию сознания и эмоций разработан в единой концепции сознания и эмоций (Александров, 1995а; Alexandrov, 1999а, 1999б; Alexandrov, Sams, 2005).

Выше использовались термины «сознание», «когнитивный», «эмоции». Поскольку в литературе не существует общепринятого их понимания, необходимо предварить формулировку основного содержания концепции тем, как понимается соотношение между данными терминами в рамках этой концепции.

Понимание термина «когнитивный» в литературе варьирует от его использования просто в качестве рубрики, объединяющей перечисление разнообразных функций и процессов (таких как память, мышление, решение проблем и мн. др.), до применения его для обозначения тех или иных целостных приспособительных действий индивида. Понятие «сознание» также используется авторами в самых разнообразных значениях и связывается в их работах с самыми разными феноменами (см.: Block, 1995). Разные значения придаются и термину «эмоция» (см.: Sousa, 2003).

К позиции развиваемого здесь варианта системного подхода наиболее близко понимание cognition как *процесса активного взаимодействия со средой, порождающего знания в качестве средств достижения целей*, или, в более широком смысле, как эффективного действия, которое позволяет индивиду продолжить свое существование в окружающей среде. При этом познавать – значит учиться индивидуальным актам или кооперативным взаимодействиям (Maturana, 1970; Maturana, Varela, 1987).

Позиция авторов соответствует представлениям, согласно которым «деление на «знания» и «действия» не имеет смысла... Не существует никакого разрыва между... знанием и поведением» (Сергиенко, 2006, с. 55), а также концепции Дж. Дьюи (2000), который привел убедительные аргументы против противопоставления знаний и действий.

Последнее имеет своим источником противопоставление Платоном и Аристотелем практического опыта и материальных телесных интересов знанию (эпистема), существующему ради самого себя для удовлетворения духовных идеальных интересов, что рассматривается как непоследовательность (Кессиди, 2006). Развитие психологии привело к заключению, – отмечает Дьюи, – что не бывает знания, кроме того, «которое возникает в результате *делания*» (2000, с. 251). М. Б. Туоровский (1997, с. 77) также отмечал, что знание является не изолированной процедурой отображения, а объективизацией опыта. Люди осваивают мир не поскольку они его познают, писал он, а наоборот, познают, поскольку его осваивают. J. Haidt замечает, что в последнее время исследователи все чаще переоткрывают идею У. Джемса: «Мышление существует для действия» (2007, р. 999).

В рамках такого понимания оказывается, что *понятие когнитивного более широкое, чем сознание и эмоции и что последние могут рассматриваться как определенные стороны когнитивного процесса.*

Такому рассмотрению противоречит традиционное противопоставление когнитивного и эмоционального, а также и подход к сознанию и эмоциям не как к разным аспектам когнитивного, а как к *сущностям*, рядоположенным когнитивному. В то же время с подобным рассмотрением согласуется обоснование необходимости формирования специальной области когнитивной нейронауки, направленной на изучение сознания (Dehaene, Naccache, 2001). В соответствии с только что приведенным рассмотрением соотношения когнитивного, сознания и эмоций находятся и представления целого ряда авторов, формулирующих «когнитивный подход» (Frijda, 1987) к эмоциям. Они описывают эмоции через «когнитивные структуры» (Frijda, 1987), рассматривают эмоцию как происходящую из комбинации эраузона и когнитивных процессов (Schachter, 1964) или как разновидность когнитивного процесса (Solomon, 1976), считают, что эмоции – вид перцепции, что у эмоций имеется «когнитивный аспект» (Smith, Ellsworth, 1985; Sousa, 2003), «когнитивные функции» (Oatley, Johnson-Laird, 1987) и что эмоции несут информацию, используемую в принятии решения (Cloue

et al., 1994; Schwarz, 1990), причем обеспечение информацией относится к основным функциям эмоций (Raghunathan, Pham, 1999). Damasio обосновывает представление о том, что эмоции являются базовым механизмом принятия решения, с помощью которого индивид совершает опознание без вовлечения сознания (Damasio, 1998, 2000). При этом «приятность – неприятность» – одна из главных шкал когнитивной оценки (Smith, Ellsworth, 1985). В то же время подчеркивается, что когнитивная оценка – интегральная составляющая всех эмоций (Lazarus, 1982).

Ниже будет дано определение сознания и эмоций, ограничивающее область, в которой применима предлагаемая концепция. Здесь же остается лишь добавить, что правомерность выделения в качестве пары именно сознания и эмоций не только вытекает из приведенного выше рассмотрения познания, но и адресуется к пониманию сознания и эмоций у ряда других авторов. Эмоции рассматриваются ими как антагонисты рациональности и разума (Averill, 1980; Davidson, 2000; Delgado, 1966; Dolan, 2002; Lazarus, 1982; Sousa, 2003). При этом в качестве отличительных признаков сознания указывается как раз *reason* и *rationality* (Block, 1995).

*Поток сознания.* Анализ работ многих авторов (Иваницкий, 1999; Edelman, 1989; Gray, 1995; John et al., 1997; и др.) приводит к заключению о том, что наиболее общим для них является вывод о связи сознания и процессов сличения характеристик текущих изменений среды с характеристиками сформированных моделей, т. е. параметров ожидаемых и реальных *стимулов*. Предлагаемое в настоящей концепции понимание сознания в принципе не противоречит этому выводу. Однако существует серьезное препятствие на пути использования теоретических представлений, которые стоят за этим выводом, для разработки системного понимания сознания.

Это препятствие состоит в том, что *подавляющее большинство авторов в развитии своих представлений основываются на положениях более или менее модернизированного подхода «стимул–реакция».* А данный подход неизменно приводит их к тому пониманию сознания, основную идею которого D. Dennett (1993) очень точно определил как идею «*картезианского театра*».

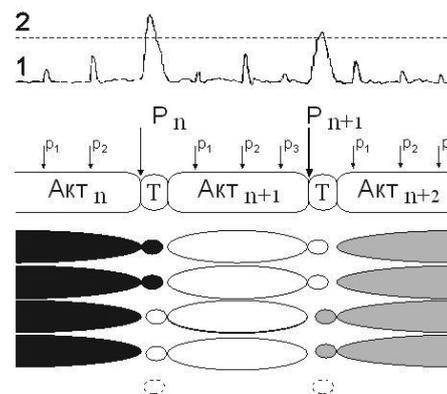
В соответствии с этой идеей считается, что «перцептивные системы посылают «входную» информацию к центральной мыслящей арене, которая посылает «приказы» периферическим системам, управляющим движениями тела. Подобные модели... базируются на предположении, что... существует картезианский театр – место,

в котором «вся информация суммируется» и возникает сознание». В соответствии с идеей картезианского театра считается, например, что для того, чтобы сенсорная информация, обрабатываемая в соответствующей структуре, могла быть осознана, эта структура должна иметь морфологические связи с областями мозга, необходимыми для продуцирования сознания (Rolls, 1999). «Хотя эта идея неверна, – заключает Деннетт, – картезианский театр будет и дальше преследовать нас, если мы не предложим альтернативу, прочно связанную с экспериментальной научной базой» (Dennett, 1993, р. 39, 227). Единая концепция сознания и эмоций, связанная с экспериментальной базой теории функциональных систем и системной психофизиологии, может рассматриваться как подобная альтернатива.

Имея в виду сказанное выше о системной структуре поведенческого континуума, можно полагать, что с этих позиций рассматриваемые в литературе в качестве механизмов сознания процессы «сличения ожидаемых и реальных параметров» имеют место на всем протяжении поведенческого континуума: как во время реализации поведенческого акта, так и при его завершении (рисунок 7). Причем предвидятся и сличаются параметры не стимулов, а результатов, конечного и этапных.

С позиций такого подхода возможно сопоставление стадий развертывания поведенческого континуума с «поток сознания» (James, 1890) и формулировка следующего определения: сознание может быть сопоставлено с оценкой субъектом этапных и конечного результатов своего поведения, осуществляемой, соответственно, в процессе реализации поведения (как «внешнего», так и «внутреннего») и при его завершении; эта оценка определяется содержанием субъективного опыта и ведет к его реорганизации. Оценка результатов собственного поведения, ведущая к реорганизации использованного опыта и формированию следующего поведения, может быть соотнесена с тем, что традиционно определяется как роль сознания в регуляции деятельности.

В рамках такого понимания и с учетом аргументированной позиции ряда авторов (Зинченко, Моргунов, 1994; Damasio, 2000; Dennet, 1993; Tulving, 1985; и др.) о необходимости выделения уровней сознания можно привести следующее описание «потока сознания». Сличение реальных параметров этапных результатов с ожидаемыми во время реализации поведенческого акта соответствует Первому (рисунок 7, 1) уровню сознания. Сличение реальных параметров конечного результата поведенческого акта с ожидаемыми



**Рис. 7.** «Поток сознания»: уровни сознания и поведенческий континуум

Сверху – уровни сознания 1 и 2, соответствующие оценке этапных результатов ( $p_1, p_2, p_3$ ) и конечных результатов поведенческих актов ( $P_n, P_{n+1}$ ). Т – трансформационные процессы, соответствующие переходу от одного акта к другому. Эти процессы могут быть соотнесены с афферентным синтезом и принятием решения в классической теории

функциональных систем П. К. Анохина. Во время трансформационных процессов происходит оценка только что достигнутого результата и связанное с этой оценкой планирование следующего акта. Поведенческий континуум есть континуум результатов. В нем нет места для стимула.

Снизу – системы разного возраста, обеспечивающие реализацию последовательных актов континуума (системы этих актов обозначены белыми, серыми и черными овалами). Системы, не участвующие в реализации актов (функционирование акцептора результатов действия и программы действия в классической теории функциональных систем П. К. Анохина), но вовлекающиеся в трансформационные процессы, обозначены маленькими пунктирными овалами (дальнейшие пояснения в тексте).

(с целью) во время переходных процессов (от одного акта к другому) соответствует Второму (рисунок 7, 2) (высшему) уровню сознания. Сличение на первом и втором уровнях занимает разное время: на первом – меньшее.

Из сказанного следует, что изменения соотношения индивида и среды в поведении, связанные с оценкой конечных и этапных его результатов и сопоставимые с высоким и низким уровнями сознания, предполагают разную организацию активности мозга. В экспериментах, проведенных Б. Н. Безденежных и А. А. Медынцевым, мы сравнивали связанные с событиями потенциалы у испытуемых, характеристики отчетных действий которых зависели от осознаваемого или неосознаваемого испытуемыми варьирования свойств среды. Выявлены различия параметров мозговой активности и характеристик отчетного действия в ситуациях осознания и неосознания. Обнаруженные различия, как предполагается, связаны, помимо прочего, со спецификой системных процессов при оценке

разных этапных результатов, оказывающихся и не оказывающихся в сознании (ср.: Леонтьев, 1946).

Если это предположение справедливо, полученные данные могут быть рассмотрены как свидетельство в пользу множественности уровней сознания, а каждый из двух выделенных выше уровней сознания (первый и второй) объединяют в действительности группы различающихся уровней (рисунок 7).

Здесь учитывается субъективность сознания, его отношение к сфере, описываемой с позиции первого лица (first person perspective) и одновременно используется феноменология, описываемая с позиции третьего лица (third person perspective). Учитывается также интенциональность сознания, его внутренняя диалогичность, коммуникативность, социальность, единство, темпоральность и наличие уровней (подробнее см.: Alexandrov, 1999, 1999a).

*Специфика сознания человека.* Появление сознания в эволюции не было, как точно замечает J. C. Eccles (1992), «внезапным озарением». Оценка результатов поведения осуществляется не только человеком, но и животным. Процесс оценки результатов у животных может быть сопоставлен с «протосознанием». Однако индивидуальный опыт, вовлекаемый в процесс оценки результата, у животных и человека различается.

Животное использует лишь опыт его собственных отношений со средой или в особых случаях опыт особи, с которой оно непосредственно контактирует. В том числе опыт ограниченной группы, передаваемой этой особью. Человек же использует опыт всего общества, опыт поколений (мир знаний «в объективном смысле», в том числе представленных в символической форме, в виде артефактов; знаний, фиксированных на материальных носителях – попперовский Мир III), что принципиально изменяет его возможности в сравнении с животными и отличает «протокультуру» животных от культуры человека, обладающей выраженной кумулятивностью.

*Сходство роли сознания и эмоций в организации поведения.* Анализ литературы по данной теме (см.: Alexandrov, 1999a; Alexandrov, Sams, 2005) позволяет выявить сходство роли, приписываемой авторами ряда работ сознанию и эмоциям в организации поведения:

- эмоции, как и сознание, принимают участие в регуляции деятельности;
- эмоции, как и сознание, имеют большое коммуникативное значение;

- эмоции, как и сознание, связываются с процессами сличения ожидаемых и реальных параметров результатов во время реализации и при завершении действия.

Имея в виду указанное сходство, можно по аналогии с определением сознания, данным выше, сопоставить эмоции с оценкой субъектом результатов своего поведения, осуществляемой в процессе реализации поведения (как «внешнего», так и «внутреннего») и при его завершении.

В. С. Выготский отмечал, что «сознание должно быть понято как реакция организма на свои же собственные реакции» (1982, с. 58), а говоря об «оценочной функции эмоций», рассматривал последнюю как реакцию «всего организма на свою же реакцию» (1982, с. 94). С точки зрения единой концепции сознания и эмоций, позиция В. С. Выготского (1982), который дает сходные определения сознания и эмоций, представляется следствием не теоретической небрежности, но как раз строгой последовательности в анализе связи сознания и эмоций с организацией поведения.

Если все это так, то не оказывается ли, что, говоря о сознании и эмоциях, мы описываем различные аспекты единого механизма, лежащего в основе поведения? Ответ на это вопрос может быть дан через анализ индивидуального развития.

*Сознание и эмоции в индивидуальном развитии.* Как уже было отмечено выше, формирование новых систем в процессе индивидуального развития обуславливает прогрессивное увеличение дифференцированности в соотношении организма и среды. Системы, формирующиеся на самых ранних стадиях онтогенеза, обеспечивают минимальный уровень дифференциации: хорошо–плохо; approach (приближение)–withdrawal (избегание). Это разделение применимо ко всем живым существам (Schneirla, 1939, 1959), в том числе, например, и к бактериям (Kelley, 2004). Оно связывается со стремлением к удовольствию и с избеганием неудовольствия. Так, говоря о человеке, Л. С. Выготский подчеркивал, что вся его психическая деятельность «направляется желанием удовольствия и отвращением к страданию» (2005, с. 242).

Минимальный уровень дифференциации значит, что данное деление образует направляющие для всей системной структуры опыта, формирующегося на протяжении индивидуального развития. В единой концепции сознания и эмоций эмоция связывается именно с упомянутыми наиболее древними и низкодифференцированными

уровнями организации поведения (см. сопоставимые в этом аспекте взгляды: Анохин, 1978; Ушакова, 2004а; Швырков, 1984; Berntson et al., 1993; Cacioppo, Gardner, 1999; Davidson et al., 1990; Panksepp, 2000; Schneirla, 1939, 1959; Zajonc, 1980). Все эти рано формирующиеся системы, которые вовлекаются в обеспечение поведения приближения или поведения избегания, направлены на достижение положительных адаптивных результатов.

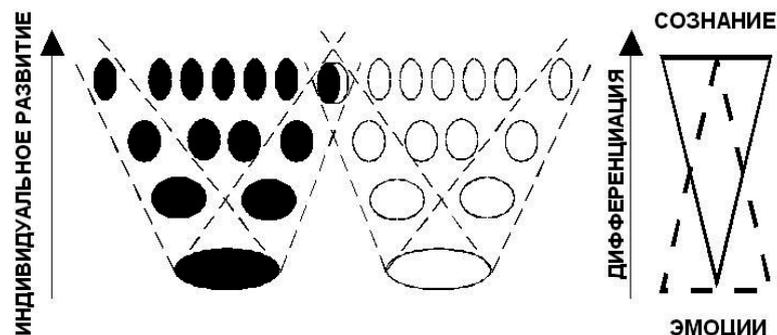


Рис. 8. Сознание и эмоции на последовательных стадиях дифференциации поведения

*Левый фрагмент:* большие овалы внизу обозначают системы наименьшей дифференциации, обеспечивающие реализацию поведенческих актов «приближения» (удовольствие, положительные эмоции – белые овалы) и «избегания» (неудовольствие, отрицательные эмоции – черные овалы) на самом раннем этапе онтогенеза. В процессе развития дифференциация нарастает и поведенческие акты начинают обеспечиваться актуализацией все большего числа систем. Пунктирные линии отграничивают наборы систем разного возраста и дифференциации, одновременная актуализация которых обеспечивает достижение результатов поведенческих актов, соответствующих тому или иному набору.

*Правый фрагмент:* треугольники иллюстрируют идею о том, что сознание (треугольник обращен вершиной вниз, сплошная линия) и эмоция (треугольник обращен вершиной вверх, пунктирная линия) являются разными характеристиками *одной и той же* многоуровневой системной организации, уровни которой представляют собой трансформированные в процессе научения (системогенеза) этапы индивидуального развития. При этом выраженность одной характеристики (сознание) нарастает, а второй (эмоция) падает при возрастании степени дифференцированности систем. (Идея иллюстрации описываемых закономерностей с помощью взаимопроникающих треугольников заимствована у Я.А. Пономарева, 1999.)

*Суть концепции.* Основное положение единой концепции сознания и эмоций: *сознание и эмоции являются характеристиками разных, одновременно актуализируемых уровней системной организации поведения, представляющих собой трансформированные этапы развития и соответствующих различным уровням системной дифференциации* (рисунок 8).

*Сознание и эмоции рассматриваются континуально, не как дизъюнктивные психологические процессы, имеющие различные нейрофизиологические механизмы, а как различные характеристики единой системной организации поведения.* Дифференциация соотношения индивида со средой возрастает в процессе индивидуального развития. Любой поведенческий акт осуществляется как одновременная реализация систем: от наиболее старых и, как правило, наименее дифференцированных до наиболее новых и дифференцированных. Каждая из этих систем представляет собой фиксированный в системной структуре индивидуального опыта этап развития. Фиксация осуществляется в процессе системогенеза при научении.

Как уже отмечалось, *все системы направлены на достижение положительных адаптивных результатов поведения. Они не могут быть описаны как специальные «механизмы», «системы» или «подсистемы» «генерации» сознания и эмоций.*

Сознание и эмоции – характеристики, присущие наиболее и наименее дифференцированным уровням соответственно. Из последнего утверждения *не следует*, что данные характеристики принадлежат только двум уровням: наиболее и наименее дифференцированному. Континуальность в единой концепции сознания и эмоций означает, что в развитии нет критического момента появления сознания или исчезновения эмоций. На каждом этапе развития, на каждом уровне системной дифференциации поведение может быть охарактеризовано с применением обеих характеристик: сознание (с-) и эмоции (э-). Однако на каждом уровне соотношение этих характеристик различно (см. правый фрагмент на рисунке 8). Выраженность с-характеристики нарастает по мере дифференциации, а выраженность э-характеристики – уменьшается. Для каждого данного этапа развития э- и с-характеристика максимально выражены для противоположных концов системного континуума, т. е. для наименее и наиболее дифференцированных систем.

Следовательно, *в процессе развития осуществляется постепенный недизъюнктивный переход от формирования систем, для которых максимально выражена э-характеристика, к формированию*

систем, реализация которых характеризуется как проявление сознания. Причем высокодифференцированные системы не заменяют низкодифференцированные, а «прибавляются» к ним. Поэтому поведение любого индивида обладает обеими этими характеристиками, выраженность которых зависит от ряда факторов. Последнее утверждение требует пояснения.

У любого индивида можно выделить системы минимальной и максимальной дифференцированности. Таким образом, с позиций единой концепции сознания и эмоций, поведение любого индивида обладает как с-, так и э-характеристикой. О приложимости с-характеристики к представителям всех стадий эволюционного развития уже кратко говорилось выше. Как понятие «сознание», так и понятие «эмоция» приложимо ко всем живым существам.

Следовательно, единая концепция сознания и эмоций согласуются как с позицией А. Trewavas (2003), который приводит убедительные теоретические и экспериментальные аргументы в пользу того, что растения обладают интеллектом, памятью, способностью к научению и целенаправленному поведению, так и с позициями R. Plutchik (1980) и R. Buck (1989) в том аспекте, что все живые существа, в том числе и растения, имеют эмоции.

Таким образом, когда рыба бьется на крючке, она действительно испытывает отрицательные эмоции (Sneddon et al., 2003), а не просто демонстрирует их физиологические телесные признаки (см.: Randerson, 2003). Или если улитка осуществляет поведение самостимуляции (мезоцеребральной области), то это дает основание утверждать, что упомянутая область играет «эмоциональную» роль в поведении и свидетельствует в пользу того, что данное поведение улитки обладает э-характеристикой (Balaban, Maksimova, 1993).

Возвращаясь к определению эмоций, данному выше, следует теперь добавить, что они связаны с оценкой результатов реализации систем, обеспечивающих соотношение индивида и среды на низком уровне дифференциации.

Из единой концепции сознания и эмоций следует, что поскольку в обеспечение поведения с необходимостью вовлекаются наиболее рано сформированные низкодифференцированные системы, постольку эмоция той или иной интенсивности свойственна любому поведению. Это положение согласуется с представлением Buck (1989) о том, что мы всегда испытываем эмоции, но не отдаем себе в этом отчета, пока они не становятся выраженными. Zajonc (1980), а также Ellis и Newton (2000) привели аргументы в пользу того,

что эмоции лежат в основе любого «когнитивного акта», любого «состояния сознания». Позиция, в соответствии с которой эмоции – обязательная основа, «подмостье» любого поведения, тщательно обоснована и в работах Damasio (1994, 2000).

К сопоставимым выводам ранее (более 80 лет назад) пришел М. М. Бахтин (1986). Мыслить – значит не быть абсолютно индифферентным, считает он. Эмоционально-волевой тон обязательно присутствует в любой поступке, даже в самой абстрактной мысли; вообще все, что мы имеем, дано в эмоционально-волевом тоне, который присутствует и в мыслях, и в словах, и в делах, подчеркивает Бахтин. Зарождение подобного представления, как отмечает А. Н. Уайтхед, можно найти еще у Платона, который не отделял «живую эмоцию» от «интеллектуального восприятия». «Прогресс психологии, – отмечает Уайтхед, – позволил нам понять многие тонкости, однако он не затронул того факта, что восприятие неизбежно связано с эмоцией» (1990, с. 636).

Мы не касаемся проблемы классификации эмоций, более дробной, чем выделение групп «хорошо–плохо». Как убедительно показано А. Вежицкой, «каждый язык налагает на эмоциональный опыт людей свою собственную классификационную сетку», поэтому «такие английские слова, как «anger» или «sadness», представляют собой культурные артефакты английского языка, а не независимые от конкретной культуры инструменты анализа... Эмоции не могут быть идентифицированы при помощи слов, а слова принадлежат какой-то одной конкретной культуре и приносят с собою культуроспецифическую точку зрения» (1999, с. 507, 523). Предполагается, что слова, существующие в данном языке, специфическим образом ограничивают неопределенность, возникающую при восприятии мимических выражений эмоций, и способствуют быстрой их классификации (Barrett et al., 2007), которая, следовательно, оказывается связанной с особенностями языка.

Довольно близко к данной позиции данное нами (Alexandrov, Sams, 2005) описание генеза многочисленных (подвергаемых классификации, изучению и даже локализации) эмоций. Индивид с позиции перспективы первого лица (first-person perspective): «хорошо» – «плохо» описывает свое соотношение с миром, разнообразно характеризуя его. Данное описание, если использовать терминологию перспективы третьего лица (third-person perspective), определяет принадлежность систем, актуализированных в данном соотношении, к approach (приближение) или withdrawal (избегание),

т. е. к «положительному» и «отрицательному» доменам индивидуального опыта (рисунок 8) или к одному из их субдоменов. Для этого он употребляет специфичные для соответствующей культуры и языка термины. Тогда и появляются, скажем, эмоции «fear» или «pleasure». *Используя термины «положительный» и «отрицательный», домены индивидуального опыта, мы понимаем под ними наборы систем, объединенных общностью результатов – соответственно, достижения желательных объектов-целей, приближения к ним и избегания нежелательных объектов и воздействий.* Заметим, что нейронное обеспечение систем, принадлежащих к этим доменам, не обязательно разнесено по разным структурам мозга; соседние нейроны могут быть специализированы относительно разных систем: избегания или приближения (Koyama et al., 2001; Leknes, Tracey, 2008; Nishijo et al., 1997).

В то же время многолетние исследования А. Вежбицкой с соавт. привели их к убеждению, что в данной области существуют и универсалии, отражающие «алфавит человеческой мысли» и имеющие эквивалент во всех языках мира: «хорошо/ий» и «плохо(й)» (Вежбицкая, 1999). Показано, что люди «автоматически» оценивают как хорошие или плохие «большинство, если не все... объекты и события, как социальные, так и несоциальные» (см. обзор: Bargh, Ferguson, 2000, p. 931). С этими универсалиями соотносима дробность классификации в нашей концепции.

Сказанное не означает, что мы рассматриваем анализ разнообразия системных организаций, связанных с определенными е-характеристиками упомянутых субдоменов, как малоинтересный. Но этот кросс-культурный анализ выходит за рамки наших задач.

Имеются экспериментальные аргументы в пользу того, что организация упомянутых выше доменов асимметрична. Нами было показано, что даже в том случае, если параметры стимуляции рецептивных полей нейронов соматосенсорной коры неизменны, не только характеристики активаций нейронов, но и само наличие активаций (т. е. состав активирующихся нейронов), зависят от того, в каком поведении происходит эта стимуляция – в поведении приближения или избегания (Александров, 1989). Различные составы нейронов цингулярной коры обезьян вовлекаются в обеспечение внешне одного и того же инструментального поведенческого акта в тех случаях, когда этот акт используется для избегания боли или получения пищи (Koyama et al., 2001; Nishijo et al., 1997). Поведение избегания для своего обеспечения требует более детального анализа среды,

чем поведение приближения (Alexandrov, Alexandrov, 1993; Khayutin et al., 1997). Были приведены аргументы в пользу того, что негативно-эмоциональные состояния более разнообразны, чем позитивно-эмоциональные (см., например: Claves, Timmers, 1993; Damasio, 1994; Wundt, 1897). Ранее было высказано предположение, что домен избегания более дифференцирован и к нему принадлежит больше систем, чем к домену приближения (Alexandrov, Sams, 2005).

Исходя из приведенных соображений, мы проверяли, проявляются ли упомянутые различия между доменами в закономерностях актуализации систем, принадлежащих к этим доменам, и в закономерностях научения, ведущего к пополнению одного или другого домена. Проверили, различается ли активация слуховой коры человека при дискриминации слуховых сигналов, различающихся по частоте (стандартный тон – частый, а отклоняющийся – редкий) в зависимости от валентности эмоций (Alexandrov et al., 2007). Испытуемые совершали внешне идентичные акты дискриминации с целью получения награды или избегания наказания. Если домен избегания более дифференцирован и включает больше систем, предполагали мы, то в ситуации предъявления идентичных слуховых сигналов можно ожидать более сильную активацию слуховой коры в реализациях поведения избегания, чем в реализациях поведения приближения. Амплитуда компонентов N100, связанных с событиями суммарных потенциалов мозга, была достоверно большей в реализациях поведения избегания, чем в таковых поведения приближения. Возможно, большая амплитуда N100 связана с актуализацией большего числа систем и, следовательно, с активацией большего числа нейронов в реализациях поведения избегания. Это предположение соответствует данным, полученным ранее при регистрации активности отдельных нейронов. Обнаружено, что на предъявление идентичной по физическим свойствам вспышки света в первичной зрительной коре животных активируются достоверно больше нейронов, когда эта вспышка сигнализирует о необходимости реализовать поведение избегания, чем когда она же является сигналом поведения приближения (Shvyrkova, Shvyrkov, 1975).

Предположение о большей дифференцированности домена избегания находится в соответствии с выводами ряда авторов о том, что действия в отрицательном эмоциональном состоянии характеризуются большей скрупулезностью, тщательностью и сосредоточенностью, чем в положительном состоянии (см., например: Erk et al., 2005; Peeters, Czapinski, 1990; Schwarz, 1990).

По-видимому, бóльшая системная дифференциация актуализированного в отрицательном эмоциональном состоянии домена избегания связана с необходимостью быть более внимательным, тщательным при решении задач, тратить на них больше времени и даже использовать специфические когнитивные стили (ориентированные на детали), поскольку выбор систем, требуемых для обеспечения подлежащего реализации поведения, производится из большего набора, чем в положительном эмоциональном состоянии (актуализация домена приближения).

*От сознания к эмоциям.* Из единой концепции сознания и эмоций следует, что чем выше пропорция активных в реализующемся поведении элементов, принадлежащих низкокодифференцированным системам, тем выше интенсивность эмоций, т. е. выраженность э-характеристики поведения в сравнении с с-характеристикой, связанной с активностью элементов, принадлежащих к высококодифференцированным системам. Тогда подавление активности элементов, принадлежащих к высококодифференцированным системам, должно вести к усилению э-характеристики. Такое избирательное подавлением может, как выяснилось, быть экспериментально вызвано острым введением алкоголя (этанола). Введение алкоголя вызывает обратимое уменьшение числа активных в поведении нейронов, принадлежащих к наиболее новым и дифференцированным системам (Alexandrov et al., 1990, 1993).

В экспериментах с участием испытуемых было обнаружено, что острое введение алкоголя в большей степени уменьшает амплитуду ЭЭГ-потенциалов, связанных с категоризацией слов иностранного языка, чем потенциалов, связанных с категоризацией слов родного языка, усвоенного на значительно более ранних этапах индивидуального развития. При этом наблюдается выраженное усиление э-характеристики – эйфория и одновременно увеличение числа ошибок поведения категоризации (Alexandrov et al., 1998). Обнаружено также, что острое введение алкоголя отражается на результатах психологического тестирования: когда участники принимали алкоголь в той же дозе, что и в описанных выше экспериментах, их эмоциональность статистически значимо усиливалась (Бодунов с соавт., 1997). Таким образом, полученные результаты подтверждают, что соотношение с- и э-характеристик поведения зависит от относительного «веса» активированных новых и старых систем. Блокирование элементов, принадлежащих к первым, сдвигает соотношение от сознания к эмоциям.

Дополнительными факторами, влияющими на это соотношение, может быть степень близости индивида к конечному результату сложного поведения. Число активных нейронов, принадлежащих к наиболее старым системам, увеличивается по мере приближения к консумматорному акту, а при выполнении индивидуально специфических актов appetentного (например, инструментального поведения), напротив, растет число нейронов новых систем (Александров, 1989; Alexandrov et al., 1990; и др.). Эти данные согласуются с представлением о том, что э-характеристика поведения растет при приближении к достижению его цели (Fraisie, Piaget, 1963; Miller, 1959).

К факторам, влияющим на соотношение с- и э-характеристик поведения, может быть отнесена и степень актуализации старых систем низкой дифференциации. Последняя нарастает с увеличением потребности. Так, показано, что чем больше проходит времени с момента получения пищи или воды, тем выше нейронная активность в подкорковых структурах (в которых, видимо, значительное число нейронов принадлежит к «старым» системам – Александров, 2004а; Александров и др., 1999; Швырков, 2006) и сильнее стремление получить желаемое (см., например: Kendrick, Baldwin, 1989).

*Регрессия и архаизация.* В свете проводимой здесь логики не вызывает удивления связь известного в психологии феномена регрессии и эмоциональности. Этот феномен может быть продемонстрирован как у животных, так и у людей. Он описывается как «примитивизация», возврат к ранее сформированным формам поведения, переход к более низким уровням психического развития. Появляется в ситуациях высокой эмоциональности, стресса, новизны, сложности; причем чем сильнее эмоции, тем глубже регрессия (см.: Фресс, Пиаже, 1975). Яркие примеры регрессии приводит также В. Франкл (1990), описывая заключенных в концлагере, внутренняя жизнь которых примитивизируется, низводится до постоянной мечты о хлебе и пр. *С позиций излагаемой здесь единой концепции, регрессия и эмоциональность – два разных описания сдвига системной организации поведения в сторону более рано сформированных низкокодифференцированных систем.* Ранее регрессия рассматривалась (Александров, 2006б) как характерная для начальной стадии научения.

*Сходство системных структур субъективного опыта и культуры позволяет предполагать, что и культура также может в определенных сложных условиях временно «дедифференцироваться»,*

сдвигаться в сторону ранее сформированных форм. Действительно, регрессия в общественной жизни – архаизация – известный феномен (см., например: Ахиезер, 200; Бочаров, 2000; Пржиленская, 2005; Самойлов, 2007).

Общество может в кризисных ситуациях, «переломных» периодах его эволюции (Бочаров, 2000) либо вырабатывать новые инновационные идеи, либо возвращаться к старым, сформированным в более простых условиях; архаизация рассматривается как форма регресса (Ахиезер, 2001), процесс упрощения, примитивизации социо-культурной системы (Самойлов, 2007). Отмечается, что «на разных этапах истории сложности общества соответствуют разные уровни (мы бы добавили – дифференциации. – Ю. А., Н. А.) культуры... Оттесненные на задний план сгустки опыта несут в себе древние программы, способные к новым боям... в условиях кризиса» (Ахиезер, 2001, с. 97).

В качестве прототипического описания архаизации может быть рассмотрен библейский сюжет (Исход, гл. 32), повествующий о возврате евреев к язычеству от монотеизма во время получения Моисеем скрижалей\*. «Народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы... вынул золотые серьги из ушей своих... и сделал из них литого тельца... И сказали они: вот бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли Египетской!... И сказал Господь Моисею: поспеши сойти, ибо развратился народ твой... уклонились они от пути, который Я заповедал им... И взял тельца, которого они сделали, и сжег его в огне, и стер в прах, и рассыпал по воде, и дал ее пить сынам Израилевым».

В истории России примерами архаизации является возврат во второй половине XI и XII вв. к старым верованиям при неурожаях и социальных потрясениях (Шуклин, 1995), а также возрождение в советский период подобия общины, с которой в крестьянской среде связывалась справедливость, равенство, коллективизм, взаимопомощь (Ахиезер, 2001). Н. Н. Алексеев (1998; один из интеллектуальных лидеров евразийского движения, историк и теоретик государства и права) рассматривал ход событий 1917 г. при крушении государственного порядка как определяемый существованием и оживлением «примитива», существовавшего в памяти народных

\* Авторы благодарят В. Г. Безрогова за идею использовать этот отрывок в качестве иллюстрации архаизации.

масс и включавшего идеи вольницы, диктатуры и социального устройства, родственного коммунизму. Другой пример архаизации – эскалация похищения невест в современном Киргизстане (Raudsepp, 2005).

Хотя архаизация обычно рассматривается как негатив, она может быть не только неизбежным, но и полезным этапом в поисках нового пути развития общества (Пржиленская, 2005). Здесь можно провести параллель со стадией «эмоционального предрешения», с которой начинается поиск нового, научение в индивидуальном развитии (Психологические исследования..., 1975).

Интересной проблемой, с нашей точки зрения, является динамика отношения к соответствующему явлению, способу социальной организации после его использования в новой исторической ситуации. Можно предположить, что оно меняется. Если так, то возможное изменение могло бы быть сопоставлено с реконсолидационными изменениями элементов субъективного опыта, т. е. с модификациями, которые претерпевает ранее консолидированная память после ее новой актуализации (см., например: Александров, 2005а).

Если принять обоснованное нами представление о формировании структуры культуры путем наслоения, а не вытеснения ранее сформированного и только что сказанное о реконсолидационных изменениях предсуществующих элементов культуры, то эти сообщения могут выступить в качестве системно-структурного объяснения феноменологии, которую в результате анализа обширного материала истории описывает П. А. Сорокин: система культуры постоянно воспроизводит прежние типы культуры, но в новом варианте, отличающемся от ранее существовавших, поэтому «история вечно повторяется и не повторяется никогда» (2006, с. 851; ср. с мыслью Н. А. Бернштейна (1990) о движении как «повторении без повторения»).

### От эмоций к сознанию

Известно, что процессы созревания в раннем онтогенезе и научение у взрослого сходны на молекулярно-генетическом уровне (см.: Александров, 2004а, 2005а; Анохин, 1997, 2006). Есть основания предполагать существование еще одного важного аспекта сходства между этими двумя процессами. В обоих случаях процессы начинаются с наиболее глобальных (более «старых»: хорошо – плохо) систем и кончаются созданием дифференцированных (более «новых») систем.

Если это так и если соотношение рано и поздно сформированных систем – важный фактор, влияющий на интенсивность эмоций, то, говоря о раннем онтогенезе, можно ожидать, что на этом этапе развития индивид менее дифференцированно соотносится со средой и более эмоционален, чем на более поздних стадиях, поскольку число все более дифференцированных систем в структуре субъективного опыта возрастает.

Экспериментальные данные оправдывают это ожидание (см.: Fraisse, Piaget, 1963; Gross et al., 1997; Panksepp, 1994), подтверждая не только предсказание, следующее из единой концепции сознания и эмоций, но и ортогенетический принцип. В соответствие с ним развитие происходит от состояния относительного недостатка дифференцирования к состоянию увеличивающегося дифференцирования, причем более «старые» и позже появившиеся формы сосуществуют (Werner, Kaplan, 1956, p. 866, 879).

Содержание приводимых А. Р. Лурией младенческих воспоминаний Шерешевского согласуется с гипотетической картиной, следующей из только что сказанного. «Мать я воспринимал так: до того, как я ее начал узнавать, – «это хорошо». Нет формы, нет лица, есть что-то, что нагибается и от чего будет хорошо... Это приятно... Вот я замечаю руки... Появилось чувство приятного и неприятного... Очевидно когда подтирали – это делали грубовато, было неприятно... Мать я вижу ярко и ясно – это облачко, потом приятное...» (1996, с. 49–50). Интересно также описание А. Белого: «Тот пласт, который подается сознанию ребенка, вступающего в третий год жизни... так характеризуем: представьте ваше сознание... несколько ослабленным..., но не угасшим вовсе; я... переживаю предметную действительность комнаты... как рыбка, живущая в аквариуме, поставленном в комнате; представьте себе эту рыбку сознающим себя ребенком, и вы поймете, что действительность ему подана как сквозь толщу воды» (1989, с. 183–184).

Результаты интроспекции, да еще основанные на ретроспективном анализе детских воспоминаний, избежавших (или вероятно избежавших) «инфантильной амнезии», конечно, не могут рассматриваться в качестве аргументов, но служат, как нам кажется, хорошей иллюстрацией того, как в субъективном мире отражается низкая дифференциация первых систем, соотносящих ребенка с миром\*.

\* Авторы благодарят К. В. Анохина за идею использовать эти примеры в качестве иллюстрации излагаемых представлений.

Наиболее рано, еще в пренатальном периоде формирующиеся низкодифференцированные системы, имеют максимально выраженную э-характеристику и способствуют достижению результатов целенаправленных поведенческих актов плода (см.: Александров и др., 1999). Акты, в основе которых эти низко дифференцированные системы могут быть, по-видимому, отнесены к группе тех соотношений организма и среды, которые классифицируются в литературе как «амодальные» (Сергиенко, 2004). Именно эти системы исторически есть начало дифференциации индивидуального опыта, и поэтому структурно они могут быть рассмотрены в качестве элементов, принадлежащих к «основе» любого позже сформированного действия. Поведение, которое появляется после рождения, имеет свою предысторию в пренатальном развитии (Александров, 2004а; Lewkowicz, 2000; и др.).

В течение постнатального периода последовательно формируется поведение, основанное на обонятельном, тактильном, слуховом и зрительном «контактах» со средой (Gottlieb, 1971). Из единой концепции сознания и эмоций следует предположение о том, что появление новой модальности и, следовательно, возможности формировать более дифференцированные системы усиливает с-характеристику поведения индивида, а также, что поведение, основанное на модальностях, появившихся раньше (например, на обонянии), более эмоционально, чем основанное на модальностях, появившихся позднее (например, на зрении).

Из двух теоретических позиций, рассматривающих развитие «межсенсорной интеграции» (см. обзор: Lewkowicz, 2000), первой из которых является «позиция дифференциации» (Werner, Gibson): модальности дифференцируются в процессе развития, а второй – позиция, основанная на представлении о том, что модальности изначально «разделены» и в процессе развития интегрируются (Piaget), наша точка зрения ближе к первой позиции. Эта близость еще увеличится (хотя и не приведет к полному совпадению представлений), если принять поправку ранней «позиции дифференциации», сделанную D. J. Lewkowicz (2000) и состоящую в том, что дифференциация не начинается с амодальности. Отсюда следует, что когда мы выше употребили термин «амодальность», мы не солидаризировались с ранней версией «позиции дифференциации». Мы лишь хотели, во-первых, подчеркнуть первичность, базовый характер систем, формирующихся на самых ранних стадиях онтогенеза, а во-вторых, их появление еще до того, как наиболее рано формирующиеся

«конвенциональные» модальности (тактильная, вестибулярная) начинают функционировать.

Принимая при рассмотрении организации поведения позицию полимодальности, мы, тем не менее, считаем, что как у взрослого в целом ряде ситуаций, так и в еще большей мере на ранних этапах развития, когда действует «ограничивающий принцип» (отсутствие, несформированность одной модальности дает преимущество для развития поведения, основанного на другой – Turkewitz, Kenyu, 1985), формируются поведенческие акты, для которых ключевой, ведущей является та или иная конкретная модальность.

Как было сказано выше, оценивая результаты своего поведения, человек смотрит на себя «глазами общества» и «отчитывается» ему, используя специальный видоспецифический инструмент отчета – речь (в том числе – внутреннюю). По-видимому, указанная выше последовательность формирования модальностей и связанная с ней разная дифференцированность поведения, опирающегося на разные модальности, является важным фактором, обуславливающим тот факт, что в разных языках (от английского до японского и зулу) две трети или даже три четверти всех слов, описывающих сенсорные впечатления, относятся к слуху и зрению и лишь оставшаяся меньшая часть слов распределена среди других чувств (Wilson, 1998). Сходное соотношение было обнаружено и в русском языке (Колбенева и др., 2005). В этих экспериментах мы определяли эмоциональность оценки испытуемыми прилагательных, адресуемых к опыту с разной модальной отнесенностью. Обнаружено, что высокоэмоциональные оценки достоверно чаще даются прилагательным, относящимся к вкусу и обонянию, чем к зрению и слуху.

Та же закономерность повышения дифференцированности, что обнаруживается в раннем онтогенезе, наблюдается в динамике процесса научения. Формирование нового удачного акта в процессе научения может быть рассмотрено как увеличение подробности, степени дифференцированности соотношения индивида со средой (Швырков, 2006). А. Vechara с соавт. (1997), показали, что в игре, направленной на получение денежного выигрыша, правила которой испытуемым не сообщались, но должны были быть выявлены ими в процессе проб и ошибок, участники начинают эффективно играть до того, как осознали, каковы правила и какая именно стратегия приводит к успеху. На этой ранней стадии у них регистрируются объективные показатели повышенной эмоциональности – кожногальванические ответы именно в тех случаях, когда делается

объективно рискованный выбор, но его рискованность не может быть еще декларирована испытуемыми. Первоначальная «э-стадия» постепенно изменяется и трансформируется в «с-стадию», на которой появляется возможность отчета.

Сходные в анализируемом аспекте результаты были получены О. К. Тихомировым с сотрудниками (Психологические исследования..., 1975), которые показали, что осознанию, «интеллектуальному» решению непосредственно предшествует стадия «эмоционального предрешения», когда у человека возникает ощущение, что им найден принцип решения задачи, но он еще не может его сформулировать. Эти эксперименты демонстрируют, что обучение «движется» от стадии низкого к стадии высокого дифференцирования.

Научение, особенно в случаях выраженной новизны ситуации, по-видимому, начинается с регрессии, связанной с повышением интенсивности эмоций, что в системных терминах может быть описано как увеличение «веса» низкодифференцированных систем по отношению к высокодифференцированным (Александров, 2006б). Подобное соотношение отражает отсутствие в памяти индивида подходящего для новой ситуации способа поведения. Интересно заметить в связи с этим, что К. Г. Юнг рассматривал «возврат к инфантильному уровню» в качестве условия, создающего возможность сформировать «новый жизненный план». «Регрессия, по существу, – писал он, – есть также основное условие творческого акта» (2000, с. 119).

Подобное движение осуществляется не только при научении, но и в микроинтервалах времени: в процессе развертывания отдельного поведенческого акта (Flavell, Draguns, 1957; McCauley et al., 1980; Navon, 1977).

Н. Werner и В. Kaplan (1956) привели убедительные аргументы в пользу того, что ортогенетический принцип действует и в филогенезе. Филогенетическое развитие, как и онтогенетическое, может рассматриваться в качестве увеличения максимальной дифференцированности и числа систем у данного вида (см. также: Анохин, 1949; Волохов, 1968; Карамян, 1970; Когхилл, 1934; Шмальгаузен, 1982). Действительно, J. von Uexkull (1957) пришел к заключению, что в ходе эволюции число разных актов, которые могут совершить индивиды, возрастает.

Таким образом, во всех рассмотренных вариантах развития наблюдается *общий принцип: от старых низко дифференцированных систем к более новым, более дифференцированным системам*, т. е.,

упрощенно говоря, «от эмоций к сознанию». В этом смысле можно сказать, что *онтогенез повторяет филогенез, научение повторяет онтогенез, а развертывание поведенческого акта повторяет научение*. Конечно, масштабы времени перехода от сравнительно более низкой к высокой дифференциации в процессах фило-, онтогенеза, научения и реализации дефинитивного поведения различны: от годов до секунд и миллисекунд.

#### ОТ МОРАЛИ К ЗАКОНУ

При учете аналогий между структурами субъективного опыта и культуры нами предлагается системный подход к рассмотрению морали. Мы согласны с М. Midgley (1994) в том, что вряд ли сейчас можно получить очевидный и однозначный ответ на вопрос, каким образом сформировалась мораль в человеческом обществе. Однако системная интерпретация морали в терминах структуры культуры может быть дана.

*Мораль и коллективные результаты.* Возникновение жизни в эволюции и онтогенезе связано с появлением опережающего отражения и целенаправленности, которые характеризуют живое на всех этапах онто- и филогенеза (Александров, 1989, 2004а; Анохин, 1975; Швырков, 2006). *Наличие у живого целей неразрывно связано с субъективностью отражения мира, свойственной живому в отличие от неживого, которое реагирует на стимулы, а не ведет себя целенаправленно. Субъективность, в частности, выражается в делении объектов и событий на «плохие», препятствующие достижению цели, и «хорошие», способствующие достижению.* В мире нет объективно плохого и хорошего (см., например: Dennet, 1993; Sherrington, 1955).

Заметим, Б. Спиноза связывал наличие добра и зла именно с наличием цели. При этом он подчеркивал, что моральные понятия не адекватны сущности природы, ибо в ней самой нет цели. Добро и зло – это лишь модусы мышления. Как нам представляется, здесь необходимо добавить, что и мышление, и цели формируются в культуре, которая имеет соответствующие домены («хорошо», «плохо»).

Подчеркнем еще раз, что именно с этого деления начинается жизнь индивида в эволюционной и индивидуальной перспективах. При рассмотрении индивидуального развития это наиболее грубое низкодифференцированное деление мира, фиксированное на весь период существования индивида первыми из сформированных у него систем, связывалось нами выше с эмоциями.

В философии нового времени четко осознано «практическое назначение морали» как способа удовлетворения потребностей и интересов общества в целом и отдельных индивидов в частности (Дробницкий, 2002, с. 95). Происхождение сообществ, можно полагать, с самых первых моментов существования было связано с достижением коллективного результата – поддержания существования этого сообщества. При этом моральным является такое поведение, благодаря которому сообщество, в частности, государственная организация лучше всего сохраняется (Гоббс, 1964).

Необходимость достижения коллективного результата согласует цели индивидов, которые «идут» на подобное согласование (ограничивающее, а не только предоставляющее дополнительные степени свободы – см.: Ядов, 2006), поскольку, как было отмечено выше, принадлежность индивида к сообществу дает ему преимущества по сравнению одиночной особью во всем спектре поведений, направленных на удовлетворение наиболее базовых потребностей.

Такая позиция соответствует ранее сформулированному положению (Maciver, Page, 1961; см.: Добницкий, 2002), согласно которому мораль есть инструмент согласования индивидуальных действий для организации групповой деятельности. Другими словами, оказывается, что *мораль связана с формированием сотрудничества в достижении коллективных результатов.* Ж. Пиаже (2006) отмечает: факты определенно свидетельствуют в пользу того, что правило становится моральным законом с того момента, когда правило (мораль) сотрудничества сменяет правило (мораль) явного принуждения. (Назовем здесь принуждение явным, чтобы отличить от того «невидимого», о котором говорилось выше.) Наличие данной закономерности, по-видимому, связано с тем, что сотрудничество и есть согласование индивидуальных результатов для достижения коллективного. В то же время явное принуждение не обеспечивает подобного согласования действий принуждающего и принуждаемого\*.

\* Для раскрытия этой логики приведем справедливое, хотя и контринтуитивное утверждение: никого ничего нельзя *заставить* сделать. Интуиция, связанная с парадигмой «стимул – реакция», подсказывает, что можно и даже очень просто. Более того, говоря о факторе страха (террора) в тоталитарном государстве, в качестве «положительной» стороны оказывается логичным рассмотреть упрощение управления обществом: «Нет необходимости учитывать сложный баланс интересов различных его слоев – достаточно отдавать определенные приказы» (Шафаревич, 2000, с. 133). В действительности в межличностных

Наличие «коллективной цели» достижения коллективного результата неизбежно связано с классификацией явлений, а также – и это наиболее важно для нас – с разграничением поведения индивидов на «хорошее», разрешенное, способствующее достижению этой цели, и «плохое», запрещенное, препятствующее ее достижению. Именно с этого деления начинается формирование сообщества и структурных элементов культуры этого сообщества. Отсюда, как справедливо отмечает Ю. М. Лотман, «культурное поведение» обязательно подразумевает хотя бы две возможности, из которых только одна выступает как «правильная» (2000, с. 396).

*Мораль как характеристика древних, низкодифференцированных элементов культуры.* Мораль может быть сопоставлена с характеристиками наиболее древних и минимально дифференцированных базовых элементов культуры. Эти элементы, находящиеся в основании доменов «хорошего» («правильного») поведения и «плохого» («неправильного»), явились основой для дальнейшей эволюции и дифференциации культуры. Они канализировали все ее дальнейшее развитие (рисунок 2).

Рассматривая единицы культуры как среду для формирования всех возможных видов поведения у членов сообщества, можно согласиться с тем, что «моральный код» выступает как таксономия санкционированных действий (Goldberg, 2001), как тенденция совершать одни действия и воздерживаться от других (Moll et al., 2005), а моральное решение – как оценка (хорошо/плохо) действий, соотношенная с ценностями культуры (Haidt, 2001).

---

отношениях принуждение обуславливает формирование специального поведения, наиболее вероятная цель которого – избегание принуждения. Достижение данной цели, как правило, вовсе не то, что требуется принуждающим. Поведение избегания может в лучшем случае лишь по видимости, во внешнем плане соответствовать тому, что принуждающий ожидает. Другое дело, что в определенных случаях подобного внешнего соответствия принуждающему может быть достаточно. Ясно, однако, что от принуждаемого следует ждать не отдачи и активного приспособления к постоянно меняющейся среде, а скорее, халтуры, «итальянской забастовки» и избегания навязываемой симуляции при первой возможности. Итак, видимо, единственный способ наверняка заставить кого-нибудь делать то, что требуется, – это «заставить» его захотеть, обусловить формирование у него соответствующей требуемому поведению цели. Во всяком случае это эффективный способ.

Любая единица культуры включает как рано сформированные элементы («племенного», родового происхождения), так и новые, дифференцированные элементы, часть которых может быть сопоставлена с «законом». В связи с этим не удивительно, но закономерно, что примитивные элементы «морального поведения» гораздо древнее, чем палеолитические ритуалы» (Wilson, 1998, p. 257). В пользу возможности столь долгого сохранения элементов культуры свидетельствует, к примеру, то, что в восточнославянском фольклоре сохраняются отголоски палеолитического периода (Рыбаков, 1981, с. 598). Закономерно также, что любое знание субъекта о мире, формирующееся в культуре, соотносимо одновременно с моральными нормами и законом (Знаков, 2005б).

Как отмечает О. Г. Дробницкий (2002), анализ возникновения морали (соотносимой с древними системами культуры) – дело беспрецедентно сложное и не осуществленное. Вместе с тем имеются аргументы против упрощенного понимания этого генеза как основанного на рациональном понимании людьми социальных причин и следствий, на осознании ими общественных (коллективных) целей и полезности или вредности для их достижения отдельных действий, а затем на формировании тех или иных норм. Поскольку древние системы лежат в основании целых доменов культурного опыта, постольку не странно, что с данной нормой связана не одна определенная цель или общественная потребность, а множество таковых. Скорее речь может идти об инновационном формировании огромного числа «пробных» элементов и последующем эволюционном отборе (Косамби, 1968, см.: Дробницкий, 2002; Смелзер, 1994; Тулмин, 1984) из разнообразия тех, которые дают сообществу эволюционные преимущества.

В культуре могут быть сформированы внешне одинаковые поведения, соотносимые и с доменом, обуславливающим формирование разрешенного («хорошо»), и запретного («плохо») поведения. Наличие таких «перекрытий» сопоставимо с наличием у индивида «общих» актов, которые связаны и с положительным (приближение) и с отрицательным (удаление) доменами опыта (см. рисунки 2 и 8). Эти акты внешне одинаковы, но имеют разный системный состав и мозговое обеспечение (Alexandrov et al., 2007).

Выше было отмечено, что наличие коллективной цели неизбежно связано с делением поведения индивидов на «хорошее», разрешенное, и «плохое», запрещенное. Это означает, что данная закономерность предполагается свойством всех культур

и сообществ. Действительно, в известной работе С. Е. Osgood с соавт. (1957), в которой суммированы результаты многих исследований, посвященных анализу факторов, определяющих понимание мира у индивидов, принадлежащих к разным культурам, обосновано представление о том, что оценочная размерность: плохой/хороший, положительный/отрицательный является для этих культур общей, а также первичной и основополагающей. Данная размерность отражает наличие соответствующих доменов как в структуре субъективного опыта, так и в структуре культуры (рисунки 2 и 8).

С указанным структурным свойством связана «универсализуемость» морали. Универсализуемость состоит в том, что нравственная оценка, относящаяся к одному акту индивида, может быть распространена на множества разных актов данного класса, совершенных любым индивидом, хотя всякое человеческое действие или социальное событие в чем-то уникально (Дробницкий, 2002). Это так потому, что каждый из индивидов «использует» для научения данному классу актов определенную единицу (ы) культуры, принадлежащую к определенному домену. Но каждый из них формирует при этом индивидуально специфичный акт.

Выше, сравнивая домены субъективного опыта: избегания, связанный с отрицательными эмоциями, и приближения, связанный с положительными, – мы обосновывали большую дифференцированность первого из них. К сходному выводу приходит Аристотель, сопоставляя то, что мы рассматриваем как два домена культуры. «Совершить проступок можно по-разному (ибо зло, как образно выражались пифагорейцы, принадлежит беспредельному, а благо – определенному), между тем поступить правильно можно только одним-единственным способом» (2006, с. 72).

Эта закономерность обнаруживается и в обыденном знании, отражаясь в литературе. Хорошо известно утверждение Л. Н. Толстого о том, что счастливые семьи счастливы одинаково, а несчастные – несчастны по-разному. Что касается морали, Аристотель приводит высказывание неизвестного автора: «Лучшие люди просты, но многосложен порок» (2006, с. 72).

*Сходство морали и эмоций.* Таким образом, если эмоция в структурном плане характеризует принадлежность единиц субъективного опыта к «положительному» или «отрицательному» домену опыта, то мораль также характеризует множество разных единиц,

*но не опыта, а культуры, принадлежащих к «положительному» или «отрицательному» ее домену.*

Если эмоция есть аспект рассмотрения системной структуры поведения, связанный с низкодифференцированными системами субъективного опыта, то и мораль представляется в литературе как «аспект... многогранной действительности человека» (Дробницкий, 2002, с. 340), который, с наших позиций, связан с древними, низкодифференцированными системами структуры культуры.

*Конфликт между сущим и должным.* Единицы субъективного опыта, соответствующие разным поведенческим актам, могут иметь в основании одну и ту же низкодифференцированную систему (рисунки 1, 2, 8). При этом данные акты часто оказываются альтернативными способами поведения в определенной ситуации, выбор между которыми составляет содержание принятия решения. Та же структурная особенность свойственна единицам культуры.

При всеобщности морали наблюдается существенное различие групповых норм (Дробницкий, 2002). Эта особенность может проявляться для индивидуального сознания как известный конфликт «между сущим и должным». Например, индивид использовавший для формирования своего поведения единицу культуры А, может рассматривать именно это поведение как моральное, соответствующее низкодифференцированной системе этой единицы. В то же время некоторые варианты альтернативного поведения других индивидов, сформированные на основе другой единицы Б, но включающей ту же «моральную» систему, будет восприниматься им как «недолжное» потому, что моральным является А.

По-видимому, чем выше дифференциация культуры, тем больше появляется альтернатив и, следовательно, возможностей для конфликта. Поскольку выбор альтернативы определяется не в последнюю очередь тем, какое место в социальных отношениях занимает индивид (см.: Журавлев, Журавлева, 1998), постольку можно предположить, что нарастание выраженности конфликта зависит от выраженности социального расслоения. Действительно, имеется много аргументов в пользу того, что нарастание противостояния реальности нормам морали связано с повышением социальной дифференциации общества (см.: Дробницкий, 2002). Таким образом, в связи с дифференциацией и наличием альтернативных способов «реализации» пра-систем морали отдельные единицы культуры могут лишь частично соответствовать моральным нормам.

Рассмотрение влияния социальной дифференциации с другой стороны приводит к сходному пониманию происхождения конфликта. Формирование новых элементов культуры – дело индивидов. Если их социальные позиции различаются, созданные дифференцированные элементы культуры (законы, установления и т. п.) могут восприниматься как противоречащие морали, т. е. тем низкодифференцированным системам, которые лежат в основании вновь формируемых единиц. И тогда может казаться, что «добро... идет вразрез с интересами общества», что «часто добрый человек приносит больше зла, чем добра» (Мечников, 1988, с. 257).

Указанное выше понимание конфликта между «требованиями морали и реальностью» служит системно-структурным его объяснением. Одновременно оно находится в соответствии с позицией M. D. Hauser, которая, хотя и отличается от нашей, но также включает понимание морали как наследия древности. Рассматривая конфликт между нравственным чувством и реальностью сегодняшних отношений, M. D. Hauser приходит к следующему заключению: «Системы, которые создают интуитивные моральные суждения, часто противоречат тем системам, которые являются причиной наших поступков, потому что современный ландшафт только смутно напоминает наше первоначальное состояние» (2006а, р. 418).

*Мораль и нравственность.* Как и культура в целом, мораль не «потребляется» индивидом, она, по существу, воссоздается им. Моральные нормы не просто принимаются, а опосредуются отношением личности к обществу, «отношением, выработанным самой личностью» (Абульханова-Славская, 1980, с. 158), формируются в индивидуальном опыте при совершении личностью проб и ошибок, характерных для научения (Леонтович, 1979). L. Kohlberg приводит убедительные аргументы в пользу того, что моральные принципы, имеющиеся у индивида созданы, реконструированы им скорее, чем усвоены (1982; см также: Таррап, 1997). В сфере морали, как и в сфере интеллекта, ребенок имеет только то, что приобрел сам (Пиаже, 2006).

Хотя многими авторами мораль и нравственность не разделяются, имеется и аргументированная позиция, согласно которой *мораль относится к описанию структур общественного сознания, а нравственность – к характеристике «психологической структуры личности»* (см., например: Знаков, 1991). Возможно соотнесение этой точки зрения с позицией Л. Уайта (2004), который считает, что каждый элемент культуры без исключения имеет как объективный,

так и субъективный аспект. (Ясно, по-видимому, что имел в виду Уайт, но если уточнять термины, используемые в этом соотнесении, то необходимо добавить, что субъективное психическое тоже объективно – см.: Зинченко, 1999).

О. Г. Дробницкий рассматривает как «разные вещи» 1) социальную детерминированность индивидуального поведения, согласование его с «законами общественной жизни» (это «сущность морали ... первого порядка») и 2) особое, индивидуальное преломление морали в личном сознании, которое выступает как «идущее изнутри» (2002, с. 114).

Имея в виду это разграничение, а также излагаемую позицию, согласно которой мораль является характеристикой элементов культуры, можно считать, что «моральное воспитание, обучение, развитие» (Eisenberg, 2000; Kohlberg, 1982; Mead, 1908; Moll et al., 2005; Tarrap, 1997) индивида в общества есть формирование нравственности. В определенном смысле можно сказать, что мораль «переходит» во внутреннюю нравственную норму (Шадриков, 2006). Поскольку мораль воссоздается каждым индивидом, не удивительно что «моральная интуиция» может приводить разных людей к разным моральным оценкам одного и того же события (Greene, 2003).

*Нравственность и отношения между системами, составляющими структуру субъективного опыта.* Moll с соавт. (2005, 2002) подчеркивают, что при столкновении с явлением индивид автоматически, бессознательно (см.: Waldmann, 2006) и быстро прикрепляет ему «ярлык» моральной оценки. Таким образом, *акты, совершаемые индивидом и входящие в его индивидуальную память, получают «ярлык», являющийся частью «социальной», «коллективной» оценки результата каждого из совершенных действий.* Данная оценка – производное «коллективного монолога» эгоцентрической речи, превращенной во внутреннюю речь (Выготский, 1996).

В этом смысле следует согласиться с представлением, сформулированным сто лет назад G. H. Mead (1908): моральная интерпретация нашего опыта может быть найдена внутри самого опыта. Близко к этому мнению В. Д. Шадрикова (2006) о том, что личностные качества, включая нравственные, являются поведенческими характеристиками. Учтем, что любое поведение есть актуализация элементов опыта. Наша позиция в данном аспекте согласуется и с представлением А. Н. Уайтхеда, который справедливо отмечает, что «мораль производна от других факторов опыта, иначе чувство долга было бы бессодержательным и потому не могло бы побуждать

к действию. Чистая мораль, возникающая как бы из вакуума, невозможна» (1990, с. 400).

Мы полагаем, что *нравственность может быть рассмотрена как специфическая характеристика структуры субъективного опыта. Нравственность характеризует отношения между элементами опыта, актуализация которых обеспечивает реализацию разных действий индивида. Эта характеристика соотносима с моральной оценкой событий и действий и обобщает множество единиц опыта по критерию этой оценки: приемлемы они или нет.* Данная характеристика феноменологически соответствует свойствам семантической памяти в отличие от эпизодической (Tulving, 1985).

Если эпизодическая память детальна и связана с конкретными актами, сформированными в течение жизни индивидом, с событиями его жизни, то семантическая память (соотносимая с более низким уровнем сознания, чем эпизодическая) является обобщенной и относится к познанию закономерностей, правил, в соответствии с которыми в данной культуре совершаются конкретные действия и разворачиваются события. С семантической памятью часто связывается знание того, например, что такое справедливость, правда, дружба и пр.

Существует много как экспериментальных, так и теоретических аргументов в пользу имплицитного характера семантической памяти, связывания ее со «знанием без осведомленности» (Desgranges et al., 1998; Larsson, 1997; Nadel, Moscovitch, 1997; Schacter, Tulving, 1994). Под имплицитностью в данном случае понимается «ненамеренное, бессознательное использование предварительно усвоенной информации» (Schacter, Tulving, 1994, p. 13).

В оригинальной концепции E. Tulving семантическая и эпизодическая память рассматриваются как разные уровни единой памяти, связанные с разными уровнями сознания: семантическая, как уже было отмечено, – с более низким. Это представление несколько ближе к нашему, отвергающему идею существования *разных* «систем памяти» в интерпретации L. R. Squire (1987; см.: Александров, 2004а; Whittlesea, Price, 2001; см. сомнения в обязательности принятия этой идеи для объяснения экспериментальных данных: Howe с соавт., 2003), но и оно принадлежит к направлению, постулирующему последовательное, с большим временным разрывом, формирование уровней в онтогенезе и возможность их отдельной реализации: одного без другого.

Идея о возможности последовательного формирования уровней – систем памяти заслуживает более подробного раскрытия, поскольку демонстрирует необходимость подчеркивания хоть и хорошего, но именно феноменологического соответствия нравственности и семантической памяти, а не «механизмов» формирования первой, как мы их представляем (нравственность – характеристика отношений между элементами опыта, соответствующими разным актам индивида), и второй, как представляет это E. Tulving с соавт. (1985, 2001; Wheeler et al., 1997). Б. М. Величковский (2006) квалифицирует как естественное предположение о том, что семантическая память формируется на основе обобщения эпизодов прошлого опыта – эпизодической памяти. Однако E. Tulving отвергает это кажущееся логичным положение: первично формирование эпизодической памяти, связанной с актами индивидуальной жизни, а вторично – семантической памяти, связанной с общими закономерностями, в пользу обратного: первой в онтогенезе формируется семантическая, а уж затем – эпизодическая. В качестве аргумента приводятся данные о том, что в раннем онтогенезе имеется возможность знать о закономерностях (усваивать «knowledge» – семантическая память), а возможность вспоминать специфические события личного прошлого (specific happenings), что характеризуется наличием аутоноэтического сознания, появляется много позже: в четыре-пять лет, во всяком случае не раньше двух лет (Perner, Ruffman, 1995; Wheeler et al., 1997).

Если считать, что нравственность начинает свое формирование лишь во время сенситивного периода (см. ниже), то, казалось бы, противоречий нет: содружество эпизодической и семантической памяти к этому моменту заведомо имеется. Однако наше представление противоречит рассматриваемой точке зрения принципиально. Память фиксирована в специализациях нейронов относительно элементов субъективного опыта – систем поведенческих актов и в отношениях между этими элементами. Эта память хотя и не обязательно может быть декларирована, в том числе и отнесена к личному прошлому, но используется для реализации поведения индивида. Отношения между элементами (межсистемные отношения) не могут формироваться до упомянутых элементов. На любом этапе онтогенеза формирование систем – системогенез – есть образование новой памяти и одновременно изменение отношений между элементами опыта. Хотя это всегда «одни и те же» по системной структуре элементы (см.: Анохин, 1975, 1978), однако, будучи

сформированными на ранних и поздних этапах индивидуального развития, они оказываются разными. Системы различаются по степени дифференцированности (см.: Александров, 1989; 2006б) и в связи с тем, какова сложность структуры индивидуального опыта, которая модифицируется при формировании данной системы; число систем и их связей растет с возрастом (Александров, 2004а).

Предполагают, что запаздыванием эпизодической памяти, в частности, объясняется феномен детской или инфантильной амнезии (о других объяснениях природы детской амнезии в сопоставлении с этим см.: Perner, Ruffman, 1995). В то же время имеется много данных о том, что уже 9- и даже 3- и 6-месячные дети могут повторять действия или серии действий, в том числе связанные с определенным объектом, которые они видели в предыдущие дни или даже месяцы (Howe et al., 2003; McDonough, Mandler, 1994; Meltzoff, 1988; Nelson, Fivush, 2004; Perris et al., 1990). Дети в 13 месяцев запоминают определенные аспекты, детали событий, что может быть выявлено при тестировании спустя год (Fivush et al., 1987). Показано, что опыт, приобретенный детьми в возрасте до года, может влиять на их поведение и два года спустя (Mayers et al., 1987). 5-летние дети могут не только использовать приобретенный до года опыт, но и давать *словесный* отчет об опыте действий с игрушками, *сформированном ими в «довербальный» период* (10 мес.) (Mayers et al., 1994).

Поскольку спустя длительное время после наблюдения тех или иных действий дети, не достигшие возраста 4–5 (и даже 2) лет, могут имитировать действия, которые они наблюдали, но которые в течение этого времени и при наблюдении не воспроизводили, между многими авторами существует согласие в том, что возможность данной «отсроченной имитации» (deferred imitation основана на сохранении памяти после того как имитируемая модель исчезла) свидетельствует в пользу наличия невербальной декларативной памяти, подобной эпизодической (Howe et al., 2003, p. 477) и извлекаемой после длительного периода времени (Meltzoff, 1990, 1995).

С нашей точки зрения, эти факты означают, что в указанные возрастные периоды дети, *как и взрослые*, формируют новые элементы опыта (посредством специализации нейронов в отношении этих элементов), которые затем на протяжении жизни вовлекаются в обеспечение множества «внешних» и «внутренних» актов. (Впрочем, формирование подобных элементов опыта начинается не только с самых ранних этапов постнатального онтогенеза, но уже в пренатальном онтогенезе – см. Александров, 2004а; Alexandrov, Sams, 2005.)

С других позиций, имея в виду эти факты, М. А. Wheeler с соавт. (1997, p. 335) отмечают, что знание о себе, соответствующее ноэтическому сознанию, может включать память о позиции тела в пространстве, определенных привычках, свойствах и автобиографических фактах, и его актуализация может не сопровождаться чувством оживления, повторного переживания прошлого, т. е. не соответствовать жестким критериям аутоноэтического сознания и эпизодической памяти. Позиция авторов становится еще более для нас значимой, если учесть точку зрения М. L. Howe с соавт. о том, что «автобиографическая память не отличается функционально от других «типов» памяти» (2003, p. 480) и ее формирование не основано на использовании «специализированных нервных механизмов», разных для разных системы памяти (Howe, Courage, 1997).

Наконец, говоря о жестком разграничении разных видов памяти, следует подчеркнуть, что даже авторы, настаивающие на нем, признают «затруднительным, если вообще возможным, определить, действительно ли дети могут сознательно вспоминать прошлое так, что это вовлекает эпизодическую систему» в ситуации, когда они думают о вещах и событиях, которые не наличествуют физически. Однозначного теста на эпизодическую память нет. Более того, авторы подчеркивают, что «нет точки в развитии ребенка, которую можно было бы считать началом или завершением» формирования эпизодической памяти и аутоноэтического сознания (Wheeler et al., 1997, p. 344, 345). Также и при анализе автобиографической памяти подчеркивается градуальный характер этого процесса: «Нельзя выделить точку, перед которой нет автобиографической памяти, а после которой она есть» (Nelson, Fivush, 2004, p. 489). Рассматривая не только формирование памяти, но и ее развитие в целом, К. Nelson и R. Fivush обосновывают континуальный подход, подчеркивают недизъюнктивность развития, отсутствие «границ» и формирование новых функций и компетенций на основе старых, в «смеси» с ними (2004, p. 507). А. N. Meltzoff приходит к сопоставимым выводам на основе анализа большого экспериментального материала, полученного при изучении «отсроченной имитации» у детей. Автор ссылается на представления о существовании представлений о «системах памяти» (в том числе: процедурная – декларативная, процедурная – семантическая – эпизодическая) и спрашивает, можно ли утверждать, что младенец использует одни системы памяти и не использует другие? Его ответ – нет. С самого рождения ребенок использует «системы памяти» разных «уровней» (1990, p. 18,25).

Итак, еще раз подчеркнем феноменологичность соответствия. Мы предполагаем: то, что называется эпизодической и семантической памятью, – не разные компоненты структуры памяти, а разные характеристиками одной и той же целостной структуры. Одна из них характеризует единицы (и элементы) опыта, соответствующие актам поведения (внешнего и внутреннего), другая – отношения отдельных единиц (и элементов) друг с другом, складывающиеся как внутри доменов субъективного опыта, так и между ними.

Актуализация любой единицы опыта может быть рассмотрена одновременно и в связи с тем, какой результат достигается при совершении соответствующего акта, и со стороны принадлежности данного акта к группе санкционируемых или запрещенных. Любой акт, формируясь, изменяет как набор элементов опыта, так и структуру отношений между ними.

И здесь опять видно соответствие с представлением о семантической и эпизодической памяти: при рассмотрении формирования семантической и эпизодической памяти отмечается, что у взрослого (почему подчеркивается, что именно у взрослого, см. выше представление о более позднем развитии эпизодической памяти по сравнению с семантической в онтогенезе) неизвестно примеров формирования эпизодической памяти без изменения содержания семантической, и наоборот; извлечение эпизодической и семантической памяти также происходит содружественно (Wheeler et al., 1997). В рамках нашего представления нравственность является не характеристикой отдельного компонента или компонентов опыта и не «продуктом» специального психического или физиологического «органа морали», а характеристикой всей структуры опыта. Исследования показывают, что даже в такой узкой сфере, как игра в шарики, «истоки сознания правила... обусловлены жизнью ребенка в целом» (Пиаже, 2006, с. 95).

Подобное рассмотрение нравственности как глобальной характеристики, соотносимой с многими актами индивидуального поведения и определяющейся межсистемными отношениями, складывающимися между элементами опыта, демонстрирует значительное феноменологическое сходство и с таксонной памятью, противопоставляемой памяти локальной (Nadel, 1994). Первая дает обобщающие характеристики (концептуальные, категориальные, чувственные, описывающие качества объектов и событий в терминах «хорошо» – «плохо») материала, содержащегося во второй.

Пространственно-временной аспект, присущий локальной памяти, у таксонной отсутствует. Локальная память формируется быстро и по принципу «все или ничего», а таксонная медленно, градуально, базируясь на ранее сформированной локальной памяти, соответствующей конкретным эпизодам.

Подход к рассмотрению нравственности как характеристики, связанной со структурой, представленной элементами опыта, актуализация которых обеспечивает реализацию разнообразных поведенческих актов, направленных на достижение конкретных результатов, согласуется с позицией Аристотеля в ее противостоянии позиции Платона. Аристотель возражает против платоновского представления о существовании «блага самого по себе», принадлежащего к самостоятельно существующему миру идей. «„Благо“ имеет столько же значений, сколько „бытие“ <...> общая идея для этого невозможна». «Что же касается блага, – считает Аристотель, – то оно определяется в категориях сути, качества и отношения» (2006, с. 45).

Общество «детерминирует развитие морального сознания тиранически», отмечает G. H. Mead (1908, с. 312). Необходимость и зависимость от культурного «содержания» нравственности в том или ином ее варианте определяется, во-первых, тем, что любое поведение индивида формируется в данной культуре, любая единица которой содержит низкодифференцированные системы, сопоставимые с моралью. А во-вторых, тем, что неизбежным является формирование обобщенных, «семантических» характеристик субъективного опыта. Формирование «моральной характеристики» опыта означает, образно говоря, неизбежное «автоматическое» соотнесение соответствующих действий – своих и чужих – со структурой культуры в «терминах» прасистем культуры, находящихся в основании доменов «хорошо» и «плохо».

*Интуитивизм и рационализм.* Мораль, характеризующая низкодифференцированные системы культуры, не проявляется в субъективном плане в качестве четких законов и инструкций. Еще Плотин (204–270 гг. н. э.) замечал, что чистота морального принципа достигается лучше на бессознательном уровне, а сознательный анализ здесь далеко не всегда полезен (см.: Разин, 2002). Юм (Hume, 1960) подчеркивал, что мораль основана на «чувствовании», а не на «знании». А. Эйнштейн использовал подобное понимание, эксплицируя его в качестве правила, которым он руководствовался в жизни при принятии решений.

Математик Ф. Бернштейн в 1939 г. попросил Эйнштейна написать ободряющее письмо автомобильному магнату Г. Форду, известному антисемитскими выступлениями. Хотя последний стал демонстрировать изменение своих взглядов и, в частности, протестовал против преследования евреев в Германии, сионистские организации Америки продолжали нападки на него. Просьба Бернштейна была обоснована тем, что без такой поддержки со стороны Эйнштейна Форд под огнем критики опять может сблизиться с Гитлером. Эйнштейн ответил, что эта просьба – пример недостатка собственного достоинства. «Вы скажете, – писал он, – что политические поступки связаны только с насущной целесообразностью, а не с достоинством. Но я другого мнения. Поведение, рожденное здоровым чувством, всегда лучше любой хитрости уже потому, что и другой тоже может оказаться хитрым. Что я инстинктивно этически отвергаю, того я не делаю, как не буду этого делать и в этом случае» (см.: Siegmund-Schultze, 1998, цит по: Беркович, 2008; курсив наш. – Ю. А., Н. А.).

Экспериментальные данные показывают, что индивиды оценивают события с моральной точки зрения «автоматически» (Moll et al., 2005, р. 803), выбирают поведение в соответствии с моральными нормами, не вербализуя их (Бобнева, 1978) и не формулируя каких-либо обоснований (Hauser, 2006б). Так, в экспериментах М. И. Бобневой (1978) было обнаружено, что, совершая выбор, испытуемые не оценивают своего поведения как основанного на тех или иных нормах, но фактически используют «огромное число социальных норм, связанных с условиями экспериментальной задачи, имплицитно» (1978, с. 306). Сказанное означает, что формулу Сократа «Нравственность есть знание, а безнравственность – плод невежества» (см.: Выготский, 2005, с. 262) следует понимать не как связывание нравственности с усвоением инструкций, правил, специального «нравственного (морального) поведения», а как указание на возможную связь «накопления» нравственности при формировании все более богатой структуры индивидуального опыта.

Ж. Пиаже пишет о том, что с самого начала есть «мораль внешнего правила», основанная на правилах, диктуемых взрослыми, и мораль взаимности, идущая изнутри и основанная на симпатии или сочувствии. Усилия, направленные на внедрение во внутренний мир ребенка диктуемых правил, автор называет «самой спорной из моральных педагогик» (2006, с. 250).

В то же время смена морали явного принуждения, внешнего правила моралью кооперации в процессе индивидуального развития, которую описывает автор, отражает, по-видимому, не только становление сотрудничества, что несомненно, но и стадию формирования структуры субъективного опыта. Если на первых порах набор элементов опыта невелик и для регуляции поведения, как кажется, необходимо внедрение внешнего правила, например, «Не лги», каковое внедрение требует формирования специальных новых элементов опыта, то позже, когда опыт становится много богаче, отношения между элементами опыта\* усложняются, уже сами эти отношения начинают «диктовать» возможность или невозможность реализации того или иного элемента опыта в тех или иных условиях. Поэтому, в частности, оказывается, что ребенок, взрослея, все больше освобождается от авторитета взрослых (Пиаже, 2006).

Для субъекта вербализация обоснований этих возможностей или невозможностей, не сводимых к какому-либо отдельному элементу опыта, как в случае с внедренным правилом, а характеризующих весь опыт в целом, затруднена. Ребенок может легко вербализовать, что лгать нехорошо, а говорить правду хорошо, и так же легко нарушить запрет, имеющий, так сказать, локальное представительство в структуре его опыта. В то же время значительное труднее как вербализовать, так и нарушить «правило справедливости», называемое Ж. Пиаже «имманентным условием или законом равновесия социальных отношений» (2006, с. 251), которое соотносимо со всем опытом и сформировано вместе с ним, будучи, как это предположено нами, характеристикой отношений между его элементами.

Стадии нравственного развития, отражают формирование системной структуры субъективного опыта, одной из характеристик которой является связь доменов и субдоменов опыта с нравственной оценкой-классификацией. Причем чем больше актов («внешних» и «внутренних») накапливается и, следовательно, подвергается подобной классификации, тем более обобщенной и менее связанной с конкретным актом и его результатом становится оценка. И тем, вероятно, более «автоматической», *интуитивной* становится «нравственная операция» с каждым следующим индивидуальным актом.

\* Эти отношения предполагают, например, взаимное «облегчение»: если этот элемент, то и тот, или «торможение»: если этот элемент, то никогда не тот.

Под интуицией, которая играет центральную роль в межличностных отношениях, в выборе поведения и принятии решений (Neisser, 1963), предлагается понимать «феноменологический и поведенческий коррелят... субъективного опыта... полученного путем имплицитного научения» (Lieberman, 2000, p. 110, 109). Мы полагаем, что имплицитный характер научения при данном варианте морального развития связан с тем, что последнее определяется, как правило, формированием не специфических новых элементов субъективного опыта, а специфических отношений между элементами в структуре опыта. Отсюда следует, что мы согласны с R. Rorty (2006) в том, что *специальных нейронных сетей, обуславливающих «функционирование» нравственности* (наличие таких сетей следует из представлений M. D. Hauser (2006a), которые мы обсудим позднее; см. также о подобных специальных сетях: Agnati et al., 2007) *нет, и формирование нравственности связано с вовлечением нейронных структур «общего назначения».*

В литературе накоплен значительный материал, свидетельствующий в пользу только что описанной направленности нравственного развития при накоплении опыта. Показано, что интуитивные навыки совершенствуются по мере развития и их использования (см.: Lieberman, 2000). Хотя и основываясь на других посылах, M. D. Hauser (2006b) также выступает против представления о том, что нравственность формируется как следствие усвоения эксплицитно формулируемых правил и норм: если люди не могут рассказать о принципах, на которых они основывают моральный выбор, они, конечно, не могут учить им своих детей! По сходным причинам (неосознаваемость врожденного знания универсальной грамматики) С. Пинкер (2004) называет иллюзией представление о том, родители обучают детей языку.

Как мы считаем, яркой иллюстрацией к этим положениям может служить воспоминание П. А. Флоренского о формировании у него понимания запретного без специального декларирования родителями моральных норм: «...У неприличного нет таких внешних признаков, чтобы по ним определить его неприличность и объяснить ее. Скорее всего, оно сродни мистическим понятиям, оно табу; и только верхним чутьем я постигал, что табу и что не табу, но, конечно, никакие силы в мире не подвинули бы спросить у взрослых, что прилично и что неприлично и почему это так» (2004, с. 67, 68).

Хотя *нравственное развитие предстает как процесс непрерывный*, это не исключает того, что, как и в других случаях, здесь имеются

особенно важные периоды формирования нравственности: 9–15 лет. Например, в Индии (Орисса) дети воспитываются в культуре, в которой пространство и объекты структурированы в соответствии с правилами «чистоты и загрязнения»; только определенные лица и в определенных ситуациях могут входить в зоны максимальной чистоты. Мораль запрещает совершение действий, нарушающих эти правила. Дети усваивают идею чистоты и руководствуются ею интуитивно в любом поведении, везде и всегда: в храме, в доме, при обращении с собственным телом.

Взрослые же, скажем иностранцы, прибывающие в Ориссе, могут знать эти правила и даже руководствоваться ими в своем поведении, но совсем иначе, на сознательном уровне, принимая специальное решение по каждому случаю и скорее руководствуясь этим знанием, чем интуитивным, эмоциональным выбором (см.: Haidt, 2001, 2007). Видимо, эти взрослые, в отличие от выросших в Ориссе, могут и нарушить эксплицитные запреты в случае необходимости и при конфликте со своими представлениями. Это предположение близко к тому, что отмечал Б. Паскаль: «Если человек верует лишь по подсказке рассудка, меж тем как автомат в нем склонен верить противоположному, вера его шатка» (1999, с. 172).

Нельзя исключить, что к нравственной оценке имеет отношение не только характеристика структуры опыта, о которой шла речь выше, но и специальные акты, формирующиеся при возникновении эксплицитно сформулированной (извне или изнутри) задачи решения моральной дилеммы. Имеются амбивалентные ситуации и объекты, которые в зависимости от обстоятельств могут оцениваться либо позитивно, либо негативно. Причем нюансы ситуаций оказываются трудно учитываемыми в имплицитной моде.

В подобных ситуациях включается эксплицитная оценка, результат которой может быть отличным от таковой, получаемой при автоматической оценке (Fazio, 1990). При такой эксплицитной оценке – выборе между «хорошо» и «плохо» – выявляется паттерн активности мозговых структур, отличный от обнаруживаемого при имплицитной оценке: дополнительно «включаются», повышают активность структуры (такие как передняя цингулярная и правая префронтальная области коры), уровень активности которых при имплицитной оценке не превышает контрольного (Cunningham et al., 2004).

Если первый, «имплицитный» вариант морального развития не соответствует рационалистским представлениям Л. Колберга, который делал упор на рассудочности как основе морального развития,

то этот, второй с ними согласуется. В то же время в рамках «социального интуитивистского подхода», как нам представляется, хорошо обоснованного теоретически и эмпирически, последний вариант рассматривается как вторичный: моральное решение – эмоциональное, быстрое и интуитивное, а моральное рассуждение является лишь конструкцией «для других», обосновывающей и легитимирующей принятое ранее решение.

Таким образом, *моральное решение может быть представлено как «эмоциональная собака», за движениями которой* (довольно редко в обычной жизни, лишь когда это необходимо, но часто в условиях лабораторного эксперимента) *следует рассуждение – ее «рациональный хвост».* При этом задача рассуждения сопоставима с задачей адвоката, отстаивающего интересы клиента, а не судьи, ищущего истину (Haidt, 2001, 2007). Эта идея не нова. «Не разум – начало и руководитель добротели, а, скорее, движения чувств. – считал Аристотель. – Сначала должен возникнуть какой-то неосмысленный порыв... а затем уже разум произносит приговор и судит» (2006, с. 343).

V. N. Waller (1997) также обосновывает необязательность рациональной рефлексии для морального решения и меньшую эффективность последнего варианта, связанного с рефлексией, для морального развития. Рационалистские подходы к морали – не просто одна из возможных точек зрения. Они могут оказаться весьма опасными. В. Д. Шадриков (2006) специально подчеркивает, что интеллектуализация совестного акта путем его логического обоснования опасна. Так, для Ницше «подлинная мораль неотделима от ясности ума» (Камю, 1990, с. 170). Как может выглядеть мораль, произведенная «ясным умом», легко обнаружить, ознакомившись с трудами Ницше и с историей Германии XX в. (см. ниже раздел «Альтернатива Ф. Ницше»), а также с историей нашей страны, в которой насаждалась «классовая мораль», основанная на теориях классиков марксизма о любой морали как классовой и развивающая их: нравственно то, что подчинено интересам пролетариата. В том числе и жестокость, якобы отвечающая этим интересам.

E. O. Wilson (1998) далеко не первый рассматривает упомянутую выше рациональную легитимацию в качестве одной из главных задач религии. Возможно, однако, что эффект легитимации, эксплицирующей мораль, не обязательно позитивен. Что касается религии, очевидным кажется представление G. Stent, сформулированное Хорганом (2001, с. 27): именно религия «предоставляет людям возможность руководствоваться моралью». Напомним, что известный

моралист А. Гитлер утверждал, что только религия может сформировать нашу мораль, и поэтому чисто светские школы недопустимы (Hitler, 1933; см.: Hauser, 2006a, p. 421). M. D. Hauser, напротив, приходит к выводу: расхожая идея, что люди без религиозной веры испытывают недостаток понимания того, что правильно и неправильно, с точки зрения морали, и что они менее добродетельны, чем верующие, – ложная (2006a, p. 421). R. Dawkins приводит развернутую аргументацию в пользу следующего утверждения: «Мы не нуждаемся в боге, чтобы быть хорошими», мораль «коренится в нашем далеком дарвиновском прошлом, предшествуя религии» (2007, p. 258, 254). Эти выводы сделаны на основании отличающихся от наших теоретических положений, но и с наших позиций оказывается, что данное, широко принятое «очевидное» представление, нуждается в проверке.

Сходные с интуитивистскими положениями идеи были выдвинуты более трех веков назад Б. Паскалем: «Г-н де Роанне не раз говорил: «Разумные причины приходят мне в голову не сразу, что-то нравится или, напротив того, отталкивает меня сперва без всяких причин; вместе с тем я потом обнаруживаю, что оттолкнувшее меня оттолкнуло по той самой причине, которая пришла мне в голову лишь позднее». Но я думаю, что нечто оттолкнуло от себя не по той разумной причине, которая пришла в голову лишь позднее, а что она лишь потому и пришла в голову, дабы хоть как-то объяснить отталкивание» (1999, с. 173).

Сказанное выше о вторичности не означает, однако, что акты, формирующиеся при решении моральных проблем, не влияют на последующие интуитивные выборы. Они включаются в структуру опыта наряду с другими его элементами, в структуру, характеристикой которой является нравственность. С этой логикой согласуется утверждение Ж. Пиаже (2006) о том, что роль процесса осознания не сводится лишь к разъяснению уже выработанных понятий. Это ре-конструкция, которая наслаивается на конструкции, возникшие ранее.

*Каким образом можно представить себе формирование нового элемента опыта при решении моральной дилеммы? Оно может быть рассмотрено как выдвижение акта- гипотезы и «проигрывание» его во внутреннем плане на предмет соответствия нового элемента сложившейся структуре.* В данном случае, вероятно, проверяется «вписываемость» гипотетического акта в домен разрешенного поведения.

Описание соотношения организма со средой в новой ситуации как процесса, включающего выдвигание и селекцию гипотез, было в яркой форме представлено К. Р. Порпер (Porper, Eccles, 1977). Уже в конце 70-х годов появились экспериментальные аргументы для того, чтобы утверждать без всяких сомнений, что обучение, формирование нового опыта даже у животных не обязательно предполагает развертывание «внешнего» поведения и получение «подкрепления» вследствие изменения соотношения организма с внешней средой (Levis, 1979). Нарастание способности совершения проб и ошибок «в уме» без реализации их во «внешнем» поведении рассматривалось Л. В. Крушинским (1986) в качестве показателя развития поведения в филогенезе.

Следует полагать, что выдвигание акта-гипотезы и его тестирование во «внутреннем плане», т. е. проверка гипотезы на соответствие сложившейся к данному моменту структуре памяти индивида (пробная организация совместной активности новой совокупности нейронов), занимают определенный временной интервал. Величина этого интервала зависит от многих обстоятельств: степень новизны гипотезы, сложность уже имеющегося у индивида опыта и др. В результате тестирования фиксируется новая интеграция и инициируется изменение структуры памяти.

В литературе имеются данные, которые свидетельствуют в пользу возможности подобной фиксации (Procyk et al., 2000). В экспериментах с регистрацией активности нейронов у обезьян показано, что характеристики импульсации существенно изменяются уже на этапе, когда животное нашло правильное решение (в следующих после этого изменения реализациях поведения животное с вероятностью, равной единице, начинает действовать безошибочно), но еще ни разу не проверило его реализацией «внешнего» поведения, завершающегося подачей пищи. Сходные закономерности могут быть выявлены и у людей. Так в экспериментах с испытуемыми, участвующими в стратегической игре (крестики-нолики), до первой реализации нового для игрока хода обнаруживаются реорганизации поведения: время выбора ходов и, как предполагается, число актуализируемых в игре связанных элементов субъективного опыта изменяется (Александров, Максимова, 1998).

Решение моральной дилеммы может предполагать совершение определенного внешнего поведения или не предусматривать такового. Из только что сказанного следует, что формирование нового элемента опыта не обязательно требует достижения результата внешне

наблюдаемого поведения, даже если реализация такого поведения в принципе возможна и предполагается. Но это, однако, не означает, что нарушается одно из основных положений теории функциональных систем: о результате как системообразующем факторе, фиксирующем новую систему. В качестве системообразующего фактора здесь выступает результат тестирования гипотезы во «внутреннем» плане. П. К. Анохин допускал подобную возможность и рассматривал исследование формирования систем в результате подобного тестирования как трудную, но перспективную задачу: «Значительно труднее установить... как «проверяется» возможность получить нужный результат с помощью именно этой программы без внешней реализации?» (1980, с. 188). В части же случаев вновь сформированная интеграция как таковая вообще не предполагает реализации специального поведения для своего тестирования во «внешнем» плане; многие «внутренние действия» не «подлежат последующей экстерииоризации» (Дубровский, 1971, с. 171).

Имея в виду сказанное, можно следующим образом интерпретировать известное кантовское положение о моральном законе, который «внутри нас». Во-первых, он не сразу там, а появляется внутри нас по мере индивидуального развития, проходя определенные стадии формирования (см.: Kohlberg, 1982; Tappan, 1997). Во-вторых, он оказывается «внутри нас» не по мистическим причинам, перед которыми можно только благоговеть, но потому, что а) наш геном, как и мораль, имеют эволюционную историю (причем общую: генкультурная коэволюция), которая канализирует наше развитие; б) наш опыт формируется в культуре, каждая единица которой имеет в своем основании низкокодифференцированные системы, и *чему бы мы ни учились*, окажется, что они «отражены» в сформированном нами опыте.

Поэтому на вопрос о том, может ли существовать «морально индифферентное действие» (Kant, 1785), с наших позиций следует ответ: структурно нет. Со своих позиций А. Шопенгауэр также приходит к заключению, что всякий мотив имеет отношение к благу или злу (1999, с. 271). И В. Д. Шадриков (2006) подчеркивает, что морально-нравственная характеристика является аспектом любого поведения, поскольку любое поведение затрагивает других людей и предполагает выбор между добром и злом.

Поэтому же оказывается, что «моральные законы» могут феноменологически проявляться (или интерпретироваться) как императивы, побуждающие или запрещающие действия (Kant, 1785).

Также понятно, почему категорический императив, как постоянно подчеркивает Кант, не связан с определенным действием или его результатом. Одни и те же низкодифференцированные системы находятся в основании множества разнообразных единиц, каждая из которых служит эффордансом для формирования целого класса актов индивидуального поведения. Лишь на ранних стадиях морального развития можно проследить связь между моральной оценкой и конкретным актом, который ассоциирован с ярлыком – «хорошо» или «плохо» (Kohlberg, 1982).

*Эволюционные истоки морали.* Говоря о морали в эволюционном аспекте, следует согласиться с тем, что человеческая мораль не может быть сведена к тому или уравнена с тем, что обнаруживается у других общественных существ. Но мораль – эволюционно формирующийся феномен, не ограниченный только человеческим сообществом (Waller, 1997). К ней могут быть отнесены слова, сказанные J. C. Eccles (1992) о сознании: его появление в эволюции не было «внезапным озарением».

*Механизмы, ответственные за способность совершать моральный выбор, начали создаваться под давлением дарвиновского отбора за миллионы лет до появления человека* (Hauser, 2006a). Некоторые ключевые аспекты функционирования морали могут быть поняты, если они выводятся из того, что обнаруживается в сообществах животных, живущих в социальной среде (Midgley, 1994).

П. А. Кропоткин (1922) пришел к выводу, что практику («инстинкт») взаимопомощи можно проследить от самых первых зачатков эволюции через весь животный мир. Он видел в ней происхождение этических представлений человека, которые также прослеживаются через все ступени человеческого развития: от первобытных племен до современного (ему) общества. К. Г. Юнг, исходя из того, что мораль «есть инстинктивное регулирующее начало действия», утверждал, что она существует и у животных, «упорядочивает... совместную жизнь животного стада» (1994, см. также: Самуэльс, 1997).

Действительно, имеется много фактического материала, свидетельствующего в пользу того, что зависимость поведения индивида от других особей, распознавание несправедливости, кооперация, помощь, «положительное взаимодействие» (например, предупреждение об атаке хищника), наконец, «альтруизм» (принесение своих интересов или даже себя в жертву для пользы других) имеет глубокие эволюционные корни и обнаруживается не только у животных

и птиц, но и у насекомых, одноклеточных организмов и растений (Кропоткин, 1922; Файнберг, 1980; Швырков, 2006; Эфроимсон, 1995; Casebeer, 2003; Dawkins, 2007; Douglas-Hamilton et al., 2006; Dugatkin, 2002; Hauser, 2006a; Hegner et al., 1982; Moll et al., 2005; Strassmann et al., 2000; Trewavas, 2003; de Waal, 1996, 2008; Wilson, 1998; Wright, 1995; и др.).

«Если животные могут иметь врагов, они могут иметь и друзей; если они могут обманывать, они могут и быть честными; если они могут быть злобными, они также могут быть добрыми и альтруистичными», – настаивает F. de Waal. Он описывает наблюдения, из которых следует, например, что обезьяны вовсе не игнорируют сородичей-инвалидов как бесполезных членов группы, но инвалид получает больше заботы, внимания, по отношению к нему демонстрируется повышенная толерантность. Получены достоверные данные в пользу утверждения о существовании помощи, поддержки, оказываемой слабым, больным и умирающим особям у слонов (Douglas-Hamilton et al., 2006). Экспериментально обосновано (Langford et al., 2006) наличие эмпатии (во всяком случае ее эволюционного предшественника – Miller, 2006) у мышей. У животных обнаруживается также агрессия по отношению к нарушителям правил, процедура согласования противоречащих интересов, возможность «мысленно поменяться местами с другими: когнитивная эмпатия» и пр. (de Waal, 1996, p. 19, 52, 211). Эмпатия рассматривается в качестве «эмоционального процесса», имеющего прямое отношение к морали или даже центрального для «аффективной системы морали» (Tangney et al., 2007). Интенсивно изучаются мозговые основы эмпатии: показано, что составы активирующихся структур мозга сходны в ситуациях, когда индивид сам испытывает боль и когда он видит другого, испытывающего боль (Jackson et al., 2005; Singer et al., 2004).

В обзоре, посвященном эмпатии, de Waal (2008) привел сильные теоретические и эмпирические аргументы в пользу следующих утверждений. Эмпатия является лучшим кандидатом в механизмы «направленного альтруизма», обусловленного контактом с индивидом, испытывающим острую нужду в чем-либо, болезнь, страдание, недомогание и т. п. Способность к ней является филогенетически древней и свойственной, по крайней мере, птицам и млекопитающим (D. J. Langford с соавт. считают, что эмпатия вообще – «филогенетически континуальный феномен», выступающий в разных формах – 2006, p. 1967). Эта способность позволяет индивиду «быстро

и автоматически» соотноситься с эмоциональным состоянием других, что важно для социальных взаимодействий и достижения совместных целей\*.

Обзор исследований по кооперации и реконструкция ее эволюционного развития закономерно приводит авторов к заключению о важности учета эволюционного происхождения кооперации и альтруизма для изучения морали (Dugatkin, 2002). Сходную позицию отстаивает В. N. Waller, утверждая, что хотя этика не может быть биологизирована, но ясно, что биология вносит существенный вклад в развитие морали (1997, р. 353). В связи с этим можно усомниться в справедливости утверждения Ч. Шеррингтона (Sherrington, 1955, р. 287) о том, что «правильное» и «неправильное» (right и wrong) есть только у человека, но не у животных, даже наиболее эволюционно близких к человеку. К настоящему времени накоплено столько данных, противоречащих этому утверждению, что оказывается возможным даже в названии книги утверждать существование right и wrong не только у человека, но и у животных (de Waal, 1996).

Предполагается, что с эволюционным генезом морали связаны определенные ее ограничения. «Темная сторона врожденной предрасположенности к моральному поведению – ксенофобия, – пишет Е. О. Wilson. – Поскольку личная близость и общий интерес являются жизненно важными в общественных отношениях, мораль возникла, чтобы быть избирательной. И так было всегда, и так будет всегда» (1998, р. 253; курсив наш. – Ю. А., Н. А.). Эта идея близка к представлению Ch. Darwin (1874), который утверждал, что *все время, пока существует мир*, одни сообщества конкурируют с другими и мораль – важный элемент, способствующий успеху в этой борьбе.

*Альтернатива Ф. Ницше.* Ярким примером позиции, которая противоречит, как мы полагаем, представлению об эволюционном происхождении морали, включающей требование эмпатии и альтруистической помощи инвалидам, больным и слабым, является идеология Ф. Ницше.

\* В связи с обнаружением обусловленного эмпатией отношения к инвалидам, больным и слабым у животных, представляется приемлемым предположение о существовании заботы об инвалидах и слабых у неандертальцев. Оно обосновано обнаружением в пещере Шанидаре на севере Ирана среди скелетов неандертальцев скелета, имеющего признаки артроза и принадлежащего мужчине 40–50 лет, у которого никогда не было правой руки, т. е. инвалида с детства (Франкл, 2007).

M. D. Hauser (2006a) приводит аргументы, свидетельствующие о том, что использование идеи о моральном решении как следствии рассудочного выбора ведет к ошибочным решениям в политике, праве и образовании. Таким образом, оказывается, что дискуссия между рационалистами и интуитивистами имеет серьезное значение совсем не только для фундаментальной науки. Нам представляется, что содержание настоящего раздела демонстрирует, какое серьезное общественное значение может иметь забвение об эволюционных истоках морали, которое, как и спор между рационалистами и интуитивистами, можно было бы считать лишь внутринаучной проблемой.

Представления Ф. Ницше, который, выступая против общепринятых моральных ценностей, ведет, как отмечает А. М. Руткевич, «критику оснований западноевропейской культуры» (1990б, с. 346), приходят в очевидное противоречие с указанным представлением об эволюционном происхождении морали. В то же время ряд авторов квалифицируют эссе Ницше как вполне современную философию (см., например: Яковлев, 1990). Напротив, А. Ю. Суконник полагает, что философия Ницше, который окружен «некритическим ореолом», «провозглашенная замечательным достижением экзистенциальной философии», несомненно, является «делом прошлого» (2007, с. 151). Здесь уместно отметить, что мы, конечно, не преследуем цели дать систематическое изложение результатов творческого наследия философа и квалифицированную оценку этого наследия, но затрагиваем лишь одну, важную для нас тему.

«Что хорошо? – спрашивает Ницше, – пусть гибнут слабые и уродливые... надо еще помогать им гибнуть. Что вреднее любого порока? – сострадать слабым и калекам – христианство...» (1990а, с. 19). Ф. Ницше подчеркивал, что если раньше, до возникновения христианской цивилизации, хорошим и добрым был аристократичный, знатный, богатый и сильный, то новая мораль сделала хорошими больных и убогих, слабых и незнатных. Ход его мысли логичен – выступая против милосердия, он сражается с христианством: ведь «милосердие – ...единственный предмет, которому посвящено священное писание» (Паскаль, 1999, с. 235).

Это «восстание рабов в морали» имеет двухтысячелетнюю историю и инициировано оно евреями, – замечает Ницше, – хитрость и коварство которых обеспечило восстанию победу, а им признание выполнения ими беспрецедентной «всемирно-исторической миссии» (2006, с. 27, 28, 30). Именно евреи, – настаивает Ницше, – произвели «фокус выворачивания ценностей наизнанку» (Ницше, 1990б,

с. 315). Надо заметить при этом, что автор, называющий свою сестру «мстительной антисемитской дурой» и порвавший дружеские отношения с Вагнером из-за антисемитизма последнего, возможно, не был антисемитом (см.: Свасьян, 1990, с. 39). Лишь «возможно» потому, что его позиция, как отмечает Р. Гау (1978), была двойственной: с одной стороны, он постоянно характеризовал немецких политиков-антисемитов как «чернь», а с другой, по – видимому, не чувствуя себя непоследовательным, повторял за ними антисемитские банальности.

Евангелия, не противоречащие «иудейскому инстинкту», а развивающие его, вводят в «мир как в русском романе, где, будто сговорившись, встречаются отбросы общества, неврозы и «наивно-ребяческое» идиотство» (Ницше, 1990а, с. 38, 48).

*Все эти утверждения, сформулированные в духе «теории заговора» (евреев против старой доброй аристократической морали сильных), не согласуются, как уже было сказано, с представлениями об эволюционных истоках морали, предполагая принципиально неверное, с нашей точки зрения, представление о наличии «самого долгого в истории человечества ... доморального периода» и о грядущем наступлении «внеморального» (Ницше, 1990б, с. 266, 267).*

Если идеи Ницше сопоставить с обоснованным положением о том, что в эволюции поддержка индивидами друг друга играет не менее, а, вероятно, более значимую роль, чем борьба между ними (Кропоткин, 1922), с данными всех только что цитированных (и других) работ об эмпатии, альтруизме, взаимопомощи у животных и особенно об оказании ими помощи слабым, больным и инвалидизированным индивидам, а также принять положение, что «недавние открытия в области когнитивных наук ничуть не противоречат» идеям Кропоткина и согласуются со следующей логикой «добра» и «зла»: «Добро – это то, что «распространяет сопереживание», облегчает взаимопомощь, зло же, напротив, ее уменьшает, затрудняет» (Шанже, Конн, 2004, с. 204), то придется признать, что коварные евреи не ограничились людьми, они и отношения между животными изменили в том же, вероятно, выгодном для себя направлении.

Здесь уместно вспомнить высказывание А. Белого (1994) о том, что *Ницше если и использует Дарвина, то лишь как подобранный на пути хворостину, чтобы нанести удар противнику*. Трудно не признать справедливым и вывод Р. Штейнера в работе «Личность Фридриха Ницше и психопатология»: Ницше «на самый диковинный лад измышляет себе желанный объект нападения и затем борется

с химерой, далеко отстоящей от действительности» (Sterner 1977, р. 162, цит. по: Свасьян, 1980).

Несмотря на эмоциональную беллетристичность (обилие восклицательных знаков в его текстах впечатляет), афористичность (обуславливающую возможность взаимоисключающих трактовок его позиции – Коплстон, 2004) и резкую антихристианскую направленность произведений Ф. Ницше, а в определенных случаях, возможно, как раз благодаря им, его идеология оказала самое серьезное влияние на общественную мысль Германии и других стран, в том числе и России.

Идеология Ницше была использована нацистами для «научной» легитимации идеологии национал-социализма, в том числе и для обоснования массового уничтожения «неполноценных», слабых, больных и пр. Так, Н. А. Бердяев подчеркивает «несомненное влияние Ницше на фашизм и национал-социализм... на выработку жесткого, лишенного сострадания типа молодежи» (1994, с. 29), для которой «видеть страдание доставляет наслаждение, причинять их – еще большее» (Ницше, 2006, с. 70). Таким образом, дело уничтожения «отбросов» оказывается для последователей Ницше не только праведным, но еще и доставляющим удовольствие.

Б. Рассел оценивал вклад Ницше в исторический процесс следующим образом: «Ницше взирал на обычных людей, как на животных, и считал оправданным использование их для блага сверхчеловека, а не для их собственного блага. Это воззрение с тех пор служит для оправдания борьбы с демократией» (1987, с. 200). Данная оценка была хотя и негативной, но весьма общей, по-видимому, потому, что в 1935 г., когда были опубликованы эти слова, еще не было до конца ясно, к какой трагедии приведет идеология нацизма, использующая идеи Ницше. Позже, когда ситуация стала яснее, в книге, над которой Рассел работал во время Второй Мировой войны, он отмечал более определенно, что в настоящее время «имеются веские практические аргументы, показывающие, что попытка достичь цели, которую ставил Ницше», приводят к «единственной практически возможной форме... организации типа фашистской или нацистской партии» (Рассел, 2001, с. 898).

Нет однозначного ответа на вопрос, есть ли доля вины Ф. Ницше в преступлениях нацизма. Многими его вина отрицается: не может отвечать философ за то, как и кем будут использованы его идеи. Кроме того, возможно, что важное для нацистов

произведение – «Воля к власти» было фальсифицировано его сестрой (той самой «антисемитской дурой»), которая тенденциозно подобрала и скомпоновала записи Ницше так, чтобы они максимально соответствовали лозунгам германского нацизма (Руткевич, 1990, с. 346, 347).

Тем не менее, во-первых, и в других, несомненно, скомпонованных самим Ницше эссе, вполне достаточно идей, с которыми совпадают высказывания национал-социалистов.

В полном согласии с «теоретическими» нападкамии Ницше на милосердие и его коварных проводников Гитлер во вполне «прикладном» труде: секретной директиве, предназначенной для командования воюющих в СССР сухопутных сил (№ 1615/42 от 24 декабря 1942 г.) и подписанной Кейтелем, утверждал: «Милосердие, безразлично какого рода, является преступлением...» (Мюллер, 1974, с. 371). Опять-таки в унисон с Ницше Гитлер отмечал, что Павел использовал его (Христа) учение, чтобы мобилизовать преступные элементы... плебеев... с помощью еврейской дребедени – Библии. С победой христианства античный мир утратил красоту и ясность. Еврейство разрушило этот миропорядок, тайком протасив христианство в античный мир, найдя слабое место: большую совесть современного мира... Мир наступит лишь тогда, когда восстановится естественный порядок. Вообще не нужно сочувствовать тем, кто не может выжить в суровых жизненных условиях, людям, которым самой судьбой предназначено погибнуть, просто глупо сочувствовать им (Пикер, 1993, с. 45, 51, 80, 169, 346). Надо следовать «закону природы, который уничтожает слабых, чтобы предоставить их место сильным», – пишет Гитлер в своей главной книге (Нюрнбергский процесс, 1954, с. 594). Если естественная борьба за существование, при которой выживают только самые сильные и здоровые, подменяется стремлением спасти жизнь наиболее слабого и болезненного, то поколения становятся все более слабыми и несчастными, а потом такой народ исчезает с лица земли, – предостерегает он (Гитлер, 1992). Что же надо делать, чтобы такого не случилось? «Если в Германии будет рождаться миллион детей в год и будет устраняться 700 000–800 000 слабейших, то конечным результатом станет наше усиление» (Documents on Nazism, 1975, p. 1002; цит. по: Gardella, 1999).

В соответствии со словами нацистов находились их дела. Так, например, Гитлер распорядился «убить всех больных

и престарелых людей Германии, которые не могли уже больше продуктивно работать для германской военной машины» (Нюрнбергский процесс, 1954, с. 568; это версия главного обвинителя от Великобритании Х. Шоукросса. Главный обвинитель от СССР Р. А. Руденко также упоминает в своей речи об этом приказе, но уточняет, что речь идет о душевнобольных и престарелых и что к изданию приказа был причастен министр внутренних дел нацистской Германии В. Фрик – с. 649).

В настоящее время изучено много документов, относящихся к осуществлению «программы эвтаназии», и обнаруживаются новые документы, изучение которых выявляет дополнительные подробности этого практического воплощения рассматриваемых идеологических схем (см.: Bredict, Kuhla, 1999; von Cranch, 2003; Gardella, 1999; Hohendorf et al., 2002; Ost, 2006; Parent, Shevell, 1998). Гитлер отказался от мысли открыто принять закон об эвтаназии, первый проект которого был подготовлен его личным врачом Тэо Мореллом.

Справедливости ради отметим, что у Морелла были коллеги-предшественники. Так, еще в 1905 г. известный американский врач В. Ослер заявил, что стариков следует уничтожать при помощи хлороформа в возрасте 60 лет, так как в эти годы, по его мнению, снижаются умственные и другие способности человека» (Послесловие..., 1988, с. 308). (Не обсуждая очевидную нравственную уязвимость этой позиции, подчеркнем ее слабость в прагматическом аспекте. Например, выдающаяся новаторская работа академика П. К. Анохина «Системный анализ интегративной деятельности нейрона» была опубликована, когда автору было больше семидесяти лет, в 1974 г.) Оба врача, в особенности Морелл, могли бы сказать, что их позиция основана на твердых научных знаниях и соответствует представлениям наиболее авторитетных ученых-генетиков, которые полагали, что одна из главных задач генетики – улучшение человеческого вида понижением репродуктивной способности плохо приспособленных и повышением – хорошо приспособленных. Психиатры обсуждали, насколько тяжело бремя, которое несет общество, поддерживая умственно неполноценных детей и взрослых. Евгенические идеи не только обсуждались, но и претворялись в жизнь еще до Гитлера, а к моменту его прихода к власти медицинское сообщество Германии рассматривало применение стерилизации и эвтаназии как вполне приемлемую акцию (Kandel, 2005 в Illes, Bird, 2006). Программа

стерилизации, введенная в 1933 г., обусловила обязательную стерилизацию 400 тыс. человек (Гольденсон, 2008).

В октябре 1939 г. Гитлер подписал секретный приказ, который вменял врачам в обязанность и давал им право в рамках специальной программы «Aktion T-4» отбирать кандидатов для умерщвления и лишать их жизни. К кандидатам относили умственных и физических инвалидов, как взрослых, так и детей, а также других слабых, неприспособленных к жизни «нежелательных элементов», например, гомосексуалистов. Кроме инъекций и газовых камер для убийства использовалось лишение пищи: применялись быстро и медленно убивающая голодная диета. В последнем случае пациент умирал примерно за три месяца (Ost, 2006, p. 19). Кроме того, использовалось отравление скополамином, люминалом и т. п., добавляемым в питье и пищу. Иногда упомянутые фармакологические средства применялись в том случае, когда кандидат, подвергаемый голоданию, слишком долго не умирал. Программа осуществлялась с одобрения медиков и с широким привлечением и врачей, и сестер. За участие в программе врачи и сестры получали дополнительное вознаграждение. Так, по признанию одной из сестер, которая убила путем внутримышечной инъекции 211 детей, она получала за участие в программе премию – 35 марок ежемесячно (Ost, 2006, p. 15). Вероятно, врачи получали больше. Интервьюирование некоторых из этих людей позволило заключить, что «они не были дьяволами или сознательными убийцами, но лишь людьми среднего класса, слепыми в отношении определенных моральных дилемм» (Kandel, 2005; в Illes, Bird, 2006, p. 513).

Последовательность событий, когда речь шла о детях, описывается так. В медицинских центрах отбирались кандидаты. Информация посылалась в Берлин, и три «эксперта» решали, должен ли ребенок быть убит. Решение принималось без контакта «экспертов» с ребенком и без уведомления родителей или опекунов. В форме ребенка ставился плюс или минус. Плюс означал смерть (Ost, 2006). Приговоренные дети транспортировались в один из специальных центров Германии. Родителей уверяли, что детей транспортируют для оказания наиболее эффективной помощи. После прибытия ребенка его убийство откладывалось на несколько недель, чтобы создать у родителей впечатление, что лечение проводится. Сначала в кандидаты отбирали только детей трех лет и младше, затем и более старших (Gardella, 1999).

Что касается взрослых, в последнее время обнаружены документы, согласно которым 50% приговоренных к убийству квалифицировались не как неспособные работать, а как работающие «механически». Такое качество работы было признано недостаточным, чтобы человек имел право жить (Hohendorf et al., 2002). После официальной отмены программы (1941) убийства продолжались; дополнительно были убиты десятки тысяч людей. Эта фаза осуществления эвтаназии называется в нацистских документах «неконтролируемой». Из документов, составленных на материале опроса жителей, живущих рядом с учреждениями, где производились убийства, следует, что жители были прекрасно осведомлены о том, что в этих учреждениях происходило (Ost, 2006, p. 25).

Об «эффективности» программы можно судить на примере ситуации с душевнобольными. Поскольку истребление не затрагивало неактивированных носителей шизофрении, постольку через несколько лет в Германии было столько же больных, сколько до реализации программы (Гиндикин, 2007).

Осуществление программы рассматривается как подготовка Холокоста (Gardella, 1999), в том числе технологическая. Врачи и сестры, вовлеченные в программу, потом реализовали накопленный опыт в лагерях уничтожения на Востоке. Программа эвтаназии реализовывалась нацистами и в России, в том числе при активном участии органов вермахта, вовлеченность которых в акции подобного типа, начиная с Нюрнбергского процесса, принято было отрицать. В массовом порядке уничтожались больные психиатрических клиник, находящихся на оккупированных территориях. Генерал-полковник Ф. Гальдер, говоря об учреждениях для душевнобольных в районе группы Север, инструктировал: «Русские рассматривают сумасшествие как что-то святое. (См., однако, ниже о стерилизации душевнобольных в СССР.) Несмотря на это, больных следует умерщвлять» (Мюллер, 1974, с. 149).

Во-вторых, Ницше мог бы, кажется, и предугадать, как его слово может отозваться. Например, о подталкивании падающих, слабых, убогих. Почему это не только что упомянутое убийство умалишенных, старых или «неполноценных» по другим, скажем, национальным критериям? Во всяком случае, в литературе при обсуждении генеза, идеологического обеспечения эвтаназии авторы, оправданно, с нашей точки зрения, отсылают к работам Ницше (например: Gardella, 1999).

Допускаем, хотя и не уверены в том, что, как считают некоторые, Ницше содрогнулся бы, увидев результаты претворения его идей в жизнь, он «в ужасе отвернулся бы от социальных последствий своей проповеди» (Бердяев, 1994, с. 229). Но, полагаем, даже если и так, то скорее не потому, что нацисты исказили его идеологию, а потому именно, что *последовательное* отражение его идеологии выглядело столь ужасно.

А. Камю, защищая Ницше, пишет: «Он призывал человека склониться перед вечностью рода... а в ответ на место рода поставили расу и заставили индивида склониться перед этим мерзким идолом. Жизнь, о которой он говорил со страхом и трепетом, деградировала до уровня учебника биологии для домохозяек». Но далее продолжает: «*Не было ли в его трудах чего-то такого, что могло бы быть использовано как призыв к окончательному убийству? <...> Приходится ответить – да*» (1990, с. 176, 177; курсив наш. – Ю. А., Н. А.).

Преступления нацизма, «столь ужасающие, что при самой мысли о них воображение отказывается их постичь», – говорит в своей заключительной речи на Нюрнбергском процессе главный обвинитель от Великобритании Х. Шоукросс (Нюрнбергский процесс, 1954, с. 503); «можно с полной уверенностью сказать, что за всю историю человеческого рода не было совершено преступления, подобного этому» (Черная книга, 1991, с. 14). В то же время признание вины Ницше в такой ситуации означало бы одновременно признание необходимости для исследователя (философа или ученого) скрывать (иногда бессрочно) некоторые мысли, в правоте которых он убежден (а в отношении Ницше убежденность нам представляется несомненной). С такой инструкцией, представленной в общем виде, трудно согласиться.

Хотя создание ядерное оружие по тому критерию, какое число жизней к сегодняшнему дню оно унесло, несопоставимо (пока) с числом, которое потеряло человечество вследствие претворения в жизнь рассматриваемых здесь идеологических установок Ницше и нацистов, но дискуссии и относительно вины физика (или ее отсутствия), оказываются непростыми. А. Эйнштейн никогда не колебался в убеждении, что бомбардировка Хиросимы и Нагасаки не может быть оправдана и является морально преступной (Sayen, 1985), и, как отмечал его друг А. Швейцер, он «умер... от сознания своей ответственности за нависшую над человечеством

опасность атомной войны» (Геттинг, 1967, с. 98) «в безысходной безнадежности» (Швейцер, 1989, с. 376).

Утверждая, что после появления и применения атомной бомбы перед физиками встала проблема осознания последствий их работы, Б. С. Братусь пишет (1997, с. 19), что подобная проблема возникает теперь и перед психологами. «Психология активно, порой на первых ролях стала привлекаться к выполнению грандиозных заказов по манипулированию индивидуальным и общественным сознанием... Время чистой психологии ради психологии ушло. Или иными словами, ушло время безответственной психологии. Настала пора проявить личность, а значит, выбрать и осознать общие смыслы и ориентиры движения, понять и честно признать, какому образу человека мы собираемся служить, соответствовать нашей профессиональной деятельности».

В то же время В. Гейзенберг, отмечая, что после бомбардировки Хиросимы ему пришлось признать: «Успехи атомной физики, которую я жил в течение 25 лет, теперь оказались причиной гибели более чем ста тысяч человек, Я не считаю, что имеет смысл употреблять здесь слово «вина», пусть даже все мы в той или иной мере связаны той причинной цепью, которая привела к этой великой трагедии» (2004, с. 175). Собеседник В. Гейзенберга – Карл Фридрих фон Вейцзеккер аргументирует отсутствие вины следующим образом: Гальвани и Вольты не могли представить себе позднейшего развития электротехники и не ответственны за направление ее последующего развития (например, за ток, пропущенный через металлическое ограждение концлагеря или электрический стул, добавим мы). «Ни отдельная личность, ни общество в целом не в состоянии действительно обозреть все позднейшие последствия изобретения», – заключает Вейцзеккер (2004, с. 177).

И все-таки мы полагаем, что позиция, согласно которой наука вне морали, не верна. Человек, производящий преступные опыты над людьми, и ученый, рискующий своей жизнью в процессе эксперимента, – одинаково принадлежат науке, – подчеркивает А. Мень (1991). Принадлежат, но не одинаково. А в конкретном, обсуждаемом нами случае – ситуация довольно ясная: последствия «изобретения» Ницше, его «слов» были значительно проще представимы, и практическое приложение его идей *прямо из них вытекало*. Как и из идей «негативной евгеники». И, как нам представляется, Ницше, а не Вагнер действительно заслуживает ярлыка «нацист *ante litteram*» (Д'Анджелло, 2007, с. 31), обозначающего,

что идеология (философия) Ницше имела явные черты, присутствующие идеологии более позднего времени – нацистской.

Мы согласны с Т. Венцлова в том, что пишущий должен принимать клятву Гиппократу: не навреди. Нельзя публично высказывать и публиковать того, что может даже в отдаленной перспективе способствовать резне (Venclova, 1999, p. 98). Нам представляется, что подобная клятва, которую с древности и до наших времен дают врачи (не всегда, впрочем, соблюдая) и которая, к сожалению, является лишь воображаемой для пишущих, была нарушена Ницше.

Заметим, что так представляется нам эта ситуация *сейчас*, на этапе, который может быть назван «постнеклассическим» и который характеризуется учетом ценностей субъекта в качестве ориентиров познания. Для «классического» же этапа было характерно абстрагирование от того, что прямо не относится к познаваемому объекту (Степин, 1989). Учет этих ценностей материализуется, в частности, в создании специальных комитетов и комиссий, имеющих дело с этическими проблемами, возникающими в связи с развитием науки (Illes, Bird, 2006).

«Решающий аргумент против философии Ницше», который был приведен Б. Расселом более 60 лет назад, актуален и сегодня: «Ницше презирает всеобщую любовь, а я считаю ее движущей силой всего, чего я желаю для мира. У последователей Ницше были свои удачи, но мы можем надеяться, что им скоро придет конец» (2001, с. 900). Приведенный аргумент, по мнению Рассела, лежит в области эмоций. Однако это вовсе не свидетельство слабости аргумента (см. выше нашу позицию в отношении противопоставления эмоций «когнициям»).

Поскольку надежды лишь на любовь, а также на принятие клятвы Гиппократу и понимание последствий своих действий *всеми* – явное прекраснотушение, следует по-видимому признать правоту утверждений, сделанных E. Kandel во время его выступления на съезде Society for Neuroscience в 2005 г. (Illes, Bird, 2006). Противодействие отрицательным этическим последствиям научных исследований может быть оказано за счет широких общественных дискуссий, позволяющих учесть этические аспекты анализируемых проблем. Подобные дискуссии могут обеспечить включение этих аспектов в качестве обязательного компонента в процесс принятия решений наряду с мнением узких групп специалистов, базирующемся на «самых современных» научных данных и теориях. M. D. Hauser (2006a) также отмечает, что когда

обсуждаются такие вопросы, как эвтаназия, точка зрения обычных людей не менее важна, чем мнение специалистов. Подчеркнем, что мнения специалистов и остальных людей по поводу эвтаназии могут существенно различаться (Знаков, 2007).

Именно прозрачность демократического общества и проведение таких дискуссий в Англии и США не позволили перейти от слов к эвгенически «правильным» действиям, хотя позиции эвгеники в этих странах были так же сильны, как в Германии, подчеркивает E. Kandel. Заметим, что в пользу позиции Kandel свидетельствуют данные, которые приведены В. Я. Гиндиным (2007). Он сообщает, что в СССР в тот период, когда аборт был запрещен, молодым женщинам с диагностированной шизофренией, которые оказывались в психиатрической больнице, проводили насильственную стерилизацию. Мотивировка – вполне рациональная: эти женщины плодовиты, но не могут ухаживать за детьми. Эта практика скрывалась от общества, – подчеркивает Гиндин. Непрозрачность общества была такова, что до сего времени неизвестно, была ли эта процедура узаконена.

«*Орган морали*». Принятие положения о том, что мораль имеет длительную эволюционную историю и не является «внезапным озарением», сочетается у некоторых авторов с сильным утверждением о том, что мораль и моральное поведение генетически детерминированы, и у человека существует мозговой «орган морали» (moral organ), аналогичный видоспецифическому «органу языка» (language organ; см., например: Пинкер, 2004). Предполагается, что «орган морали» представляет собой специальную нейронную сеть, предназначенную для распознавания моральных проблем и решения их на основе «моральной грамматики» (Hauser, 2006a, б).

Сразу заметим, что выше мы уже отмечали свое согласие с точкой зрения R. Rorty (2006) о сомнительности идеи специальных нейронных сетей, «продуцирующих» нравственность. Нейроны специализируются не относительно множества разнообразных «функций» в традиционном смысле этого термина (восприятие, движение, мышление, любовь, принятие решения, когнитивное картирование, сознание, эмоции, нравственность ... и мн. др., разнообразие которых ограничивается даже не наличным словарем, а лишь фантазией авторов), но относительно целостных соотношений индивида со средой, актов «внешнего» и «внутреннего» поведения. Эти соотношения являются функцией в системном смысле (т. е. функциональной системой – Анохин, 1975, 1978) и могут быть рассмотрены

с самых разных сторон, в том числе реализация системы может быть проанализирована как восприятие, движение, принятие решения, функционирование сознания и т. п. (Александров, 1989, 2004а, 2005а; Швырков, 2006). Результатом такого рассмотрения может оказаться связывание активности той или иной структуры с той или иной рассматриваемой «функцией». Неудивительно при этом, что при суммировании работ разных авторов, фокусирующих свое внимание на анализе *разных* сторон упомянутых целостных соотношений, активность нейронов, локализованных в *одних и тех же* стереотаксических координатах, оказывается связанной с множеством разнообразных «функций» (см.: Александров, 1989).

М. D. Hauser в своей только что изданной книге (2006а), ставшей сразу весьма популярной и вызвавшей большой интерес и отклики в наиболее авторитетных научных изданиях, проводит основанную на анализе большого эмпирического материала аналогию между «врожденностью», генетической детерминацией языка и «моральным инстинктом», которым обладает каждый ребенок и который нужен для быстрой оценки морально должного и не должного, основанной на «бессознательной грамматике действий».

Указанное «прототипическое» представление о языке связывается в первую очередь с именем Н. Хомского (Пинкер, 2004; Хомский, 1972, 2005), с которым у Hauser имеется ряд совместных публикаций, посвященных языку (см. например: Hauser et al., 2002). Оно мало кого оставляет равнодушным, часто обуславливая формирование глубокой приверженности либо столь же глубокого отвержения. В результате Хомский входит в десятку наиболее цитируемых авторов: он уступает Марксу, Ленину, Шекспиру, Фрейдю и Библии, но опережает Гегеля и Цицерона. С этой точки зрения, язык – видоспецифическое «инстинктивное» поведение и его развитие зависит от культуры так же, как прямохождение. Подчеркивается, что язык хотя и является сложным навыком, но развивается у ребенка без всяких усилий, самопроизвольно. У всех детей с рождения есть общая для всех языков схема. В основе любого конкретного языка – «универсальная грамматика». К настоящему времени на основании исследования множества языков описаны сотни языковых универсалий. Ошибки в языке, которые делают дети, часто настолько четко соответствуют общей грамматической логике, что удивительно, почему использованная ими форма – ошибка, а не языковая норма. Типы языка (как и ходьбы) могут быть разные в разных культурах, но возникают они в любой культуре. Во всяком

случае противоположное не показано: не обнаружен ни один безъязыкий народ.

Надо заметить, что последний аргумент не уникален. D. Dennett и R. McKay (2006) замечают, что свидетельства существования религии в той или иной форме обнаружены у всех людских сообществ. Другие авторы приводят подобные аргументы, обосновывая «конвергенцию» по отношению ко всему «миру *идей*»: «Основные типы орудий и оружия у всех народов одинаковы, – пишет Л. С. Берг, – примерами могут служить: лук и стрелы, приборы для добывания огня... Удочки и сети для лова рыбы и т. п. Все эти предметы изобретены в разных концах земли, независимо друг от друга». Автор обосновывает таким образом неслучайность появления этих и других «признаков», для обоснования положения о том, что «естественному отбору в деле образования новых форм нет места» (1922, с. 178, 179). Мы, согласившись с P. Lieberman в том, что ни один разумный человек не свяжет характеристики орудий, которые мы используем, с активностью «врожденного... мозгового «орудийного органа» (1998, р. 27), рассматриваем эти доводы в качестве аргументов в пользу ген-культурной коэволюции.

Даже у сообществ, находящихся на уровне каменного века, имеется вовсе не примитивный («уровня каменного века»), а достаточно сложный язык. Когда носители разных языков коммуницируют, выполняя совместную работу, они пользуются обрубленными цепочками слов, взятых из языка нанявшего их владельца (или колонизатора). Порядок слов в таком языке, называемом «пиджин», вариабелен, грамматическое содержание – минимально. Но если дети усваивают пиджин, они, руководствуясь своим «языковым инстинктом», привносят в него ранее отсутствующую стройную грамматическую систему, формируя новый, достаточно богатый «креольский» язык. Разные креольские языки, возникающие на основе разных «исходных» языков, обнаруживают «сверхъестественное сходство».

Каждая фраза, которую слышит и понимает человек, в чем-то уникальна. Она не может быть следствием внешней «инструкции», реакцией на стимул.

Что же касается морали, люди рождаются с этой моральной грамматикой, фиксированной в структуре мозга эволюцией, буквально с врожденной моралью, кодированной в ДНК, считает М. D. Hauser. Эта грамматика может быть представлена как универсальный набор абстрактных принципов, специфические исключения к которым устанавливаются в каждой культуре. В соответствии

с упомянутыми принципами человек решает, какие действия запрещены, а какие допустимы и даже обязательны.

Заметим, что утверждения, близкие к этим (в частности, распространяющие идеи Хомского на мораль – см.: Bloom, Jarudi, 2006, а также: Agnati et al., 2007; Mikhail, 2007), делались и раньше. Так, в статье, опубликованной более 40 лет назад в журнале «Новый мир» и ставшей, как в свое время (в 60-е годы XIX века) «Рефлексы головного мозга»\*, одним из наиболее заметных явлений не только научной, но и общественной жизни 60-х годов XX века, В. П. Эфроимсон писал, что «в наследственной природе человека заложено нечто такое, что вечно влечет его к справедливости» (1961, с. 194)†.

\* Данная работа, «оказавшая огромное влияние на формирование... научной и общественной мысли в России» (Каганов, 1947, с. 6, 7), первоначально была названа автором «Попытка свести способ происхождения психических явлений на физиологические основы» и послана для публикации в известный журнал «Современник». Цензор запретил публикацию работы в этом литературном и общественно-политическом ежемесячном журнале. Была разрешена публикация 1) в узкоспециальном издании и 2) при условии смены названия работы на более академическое. В результате работа была опубликована в 1863 году в еженедельной газете «Медицинский Вестник», № 47, 48 под известным с тех пор названием «Рефлексы головного мозга».

† Эту статью, изданную небольшим тиражом, сначала изд-во ТАСС разослало специалистам. Влиятельный академик Н. П. Дубинин предложил ТАСС снять с работы редактора, допустившего издание «вредной» статьи. Однако в это время в газете «Известия» вышла заметка на тему «генетика и альтруизм» и редактора не тронули. Благодаря публикации этой заметки и активности акад. Б. Л. Астаурова удалось опубликовать полный вариант статьи в литературном и общественно-политическом ежемесячном журнале «Новый мир» вместе с разъяснениями Астаурова, поддержавшего основные выводы Эфроимсона. Уже после публикации в «Новом мире» Дубинин добился, чтобы Отдел науки ЦК КПСС провел заседание для осуждения Эфроимсона и Астаурова. Но после проведения этого заседания отдел науки получил много писем от ученых в защиту Эфроимсона и Астаурова с просьбами не поддерживать Дубинина. В ЦК дело постарались замять: никого не осудили и с работы не сняли (Сойфер, 2005). И много позже Дубинин продолжал считать себя правым. «Попытки обелить евгенические ошибки лидеров прошлого этапа генетики... делал Б. Л. Астауров. В. П. Эфроимсон выступил с ошибочными взглядами... Я выступил с решительным возражением против этого идеологически чуждого нам направления и стремления доказать, что его ошибочность кроется в смешении принципов биологического и социального наследования», – писал он (1989, с. 419–420).

Ж.-П. Шанже отмечал, что хотя «единого этического центра в мозге не существует», но «предрасположенность нейронов к этике является в целом общей для всего человеческого вида». Этика «подвержена генетическому детерминизму... Именно в том, что есть универсального в этике... следует искать выражение генетического наследия, общего для всего человечества. Эти генетические детерминанты выражаются постепенно и последовательно в течение... внутриутробного развития». Обращаясь к идеям и терминологии Н. Хомского, Шанже связывал «генетическое наследие человека», обуславливающее «просоциальное» этическое поведение, с формированием «порождающей грамматики» этики (Шанже, Конн, 2004, с. 194, 195). С. Пинкер (2004), аргументировав наличие у человека врожденного языкового инстинкта, отмечает, что этот инстинкт, врожденный «модуль» – не единственный. Кроме него, существует модуль «справедливости», предопределяющий врожденное чувство «прав обязанностей и их нарушений», а также модули «интуитивной механики: знания о движениях, силах» и т. д.; «интуитивной биологии: понимание того, как функционируют животные и растения»; «еды: что годится в пищу»; «интуитивной психологии»; и др. (Пинкер, 2004, с. 400, 401).

И. И. Мечников в 1907 г. писал: *многие* теоретики считают, что «основа нравственности заключается во врожденном чувстве каждого человека... заставляющем делать добро ближнему и подсказываемом внутренним голосом совести, как следует поступить, гораздо лучше, чем всякая утилитарная оценка поведения». (1988, с. 256). Как уже отмечалось выше, К. Г. Юнг связывал мораль с врожденными инстинктами, считал, что мораль «не навязывается извне – человек имеет ее, в конечном счете, а priori» (1994, р. 56). А еще раньше, конфуцианством, возникшем более 2000 лет назад, было сформулировано базовое положение о том, что способность быть хорошим, вести себя правильно изначально заложена в нашей психике и задачей является такой образ жизни, при котором «врожденная предрасположенность к моральному поведению будет расти» (Menicus, Book VIB. 2.6, Book VIIA. 4; Yang, Sternberg, 1997a, р. 103).

Даже сам термин «орган морали», как и возражения против возможности существования такого, имеют давнюю историю. Так, Л. С. Выготский писал в книге, изданной в 1926 г., следующее. Человек, «нарушавший правила морали, казался ненормальным, больным. Педагогика в таких случаях говорила о моральной дефектности ребенка как о болезни в таком же смысле, как обычно

говорят об умственном или физическом дефекте. Предполагалось, что моральная дефектность есть такой же врожденный недостаток, обусловленный биологическими причинами... какого-то дефекта в строении организма, как врожденная глухота или слепота... следовательно, есть дети, которые самой природой назначены сидеть за решеткой, потому что они родились преступниками. Нечего и говорить, что с точки зрения физиологической и психологической такое представление является абсурдным... физиологам никогда не приходилось наталкиваться на какие-либо особые органы морали в человеческом теле» (2005, с. 269; курсив наш. – Ю. А., Н. А.).

Интересно, что метафору «грамматического органа», следующую из работ Хомского, также некоторые «находят абсурдной». «Но если существует языковой инстинкт, то он должен иметь материальное воплощение где-либо в мозге», – отмечает С. Пинкер (2004, с. 284). Подобные метафоры работают, если их автор придерживается «органогенетических» представлений, согласно которым «функция» (внимания, восприятия, движения, морали, языка, любви и т. п.) является «отправлением» какого-либо морфологического субстрата – органа; она в нем «локализована». Если же исследователь придерживается «системогенетических» представлений, согласно которым «функция» (достижение положительного результата в целостном соотношении организма и среды) не может быть локализована (Александров, 2004а; Анохин, 1975, 1978), но принадлежит целому организму, то подобные метафоры им рассматриваются как дезориентирующие. Сказанное не исключает, конечно, что критика понятий грамматического или морального «органа» может вестись и с других методологических позиций.

Имея в виду сказанное выше о ген-культурной коэволюции и учитывая наши представления о морали и нравственности, можно сказать, во-первых, что между геномом и моралью, как и культурой в целом, существует, конечно, связь. И в этом самом общем смысле вряд ли можно усомниться в правоте цитированных выше К. Г. Юнга, В. П. Эфроимсона, Ж.-П. Шанже, М. Д. Хаузера, С. Пинкера и других авторов. Но, во-вторых, необходимо заметить, что из упомянутых представлений следует также и то, что концепция прямой связи «гены – моральное поведение, грамматика действий» – явное редукционистское упрощение, которому способствует и метафора «мозгового морального органа».

К этой концепции в полной мере можно отнести критику «соматических» позиций Р. Доукинза и Е. О. Уилсона, данную нами выше.

Гены связаны с поведением не напрямую, а через процесс специализации нейронов относительно формируемых в процессе научения индивидуально специфичных элементов субъективного опыта. Этот процесс включает весь мозг, весь организм, а не является функцией какого-либо органа. Следовательно, индивидуально специфичный процесс научения (в приложении к предмету настоящей дискуссии – моральное развитие) есть реализация индивидуального генома при обучении актам индивидуального поведения, направленным на достижение конкретных полезных результатов и разворачивающихся в специфической культуре. Таким образом, мозг, как уже говорилось, не является «хранилищем» или «средой обитания» элементов культуры или, добавим, морали. Индивид усваивает и хранит элементы субъективного опыта, сформированного в культуре и соответствующего актам индивидуального поведения, а не элементы культуры или закодированные нормы морали.

Здесь необходимо сделать еще одно замечание, относящееся к важному источнику расхождений между представлениями М. Д. Хаузера и нашими. Из его представлений следует, что существуют некие *врожденные* свойства и это означает, что они даны изначально, готовыми «кирпичиками» или буквами «морального алфавита», из которого строится слово «нравственность». Ее формирование, подчеркивает автор, сопоставимо скорее с ростом конечности, чем с обучением в воскресной школе. Эта метафора, видимо, – производное от приводимых автором слов Томаса Джефферсона, который полагал, что моральное чувство является такой же частью человека, как его нога или рука.

С наших позиций, оказывается, что *любое соотношение со средой, даже видоспецифическое, свойственное всем особям данного вида, обеспечивается за счет активности специализированных нейронов. Их специализация возникает в процессе научения.* Это означает, что оно обязательно *формируется* в процессе индивидуального развития. Иначе говоря, любое «врожденное» поведение не существует в виде готового «кирпичика» («органа», интеграции, системы и т. п.), но формируется в процессе индивидуального развития, является, в этом смысле, приобретенным и несет в себе особенности данного развития.

Существует значительная литература, посвященная анализу возможных значений, казалось бы, очевидного термина «врожденное». Она эффективно интегрирована в теоретической работе R. Samuels. Как отмечает автор, врожденными часто считаются

свойства, особенности, которые *не приобретены*. Приобретенными считаются свойства в том случае, если имеется период развития индивида, на протяжении которого данные свойства имеются, а до этого периода они отсутствовали. С позиций этого «совершенно здорового понимания приобретения» «все когнитивные структуры приобретены» или, иначе говоря, если «врожденные свойства – те, что не приобретены», то «никаких врожденных когнитивных свойств нет» (Samuels, 2004, p. 136, 137).

Видно, что такая позиция в значительной степени соответствует нашей. Если же рассмотреть врожденность как развитийную инварианту, то с этих позиций фенотипическое свойство данного генотипа может быть рассмотрено как врожденное в том случае, если оно неизменно появляется у организмов с данным генотипом при всех вариантах развития в нормальной для этих организмов среде. Если понять врожденность морали в этом смысле, для нас проблем нет, но в представление М. Д. Хаусера о врожденности морали включено отсутствие необходимости обучения для появления данного свойства моральности, т. е. то, что не может быть нами принято. Он, правда, оговаривает, что может иметь место «*инструментирование*» средой предуготовленной «врожденной системы». О формировании систем *de novo*<sup>\*</sup>, естественно, речи нет. Именно отсутствие необходимости обучения есть наиболее часто используемая характеристика врожденности в когнитивной науке.

R. Samuels подчеркивает, что биология во многих своих областях отказалась от использования понятия врожденности, поскольку оно уже не играет полезной роли в построении теорий. Почему же его продолжают использовать в психологии и когнитивной науке? Его использование позволяет очертить (сузить) границы психологического объяснения: если утверждается, что свойство врождено, то психология не должна и не может объяснить его происхождение. Это дело других наук.

Имеется полезная попытка выделить существенно разные, как считают авторы, понимания врожденности: «репрезентационная врожденность», т. е. изначально данное, преспецифицированное содержание знания, и «архитектурная врожденность», т. е. преспецифицированные механизмы научения (Karmiloff-Smith et al., 1998). При необходимости выбора из этих двух позиций мы, очевидно, выбрали бы вторую. А. Karmiloff-Smith с соавт. считают, что развитие

\* С самого начала, заново (лат.).

есть необходимый ключ для понимания происхождения «репрезентаций». Они считают, что разница между двумя позициями может быть представлена как разница между априорным знанием чего-либо и наличием инструмента, позволяющего познать что-либо: первая позиция – Хаусер (2006а) утверждает, что некоторые знания могут быть врожденными, «встроенными» в мозговой «компьютер»; вторая позиция – L. F. Agnati et al. предполагают существование неких «врожденных правил, позволяющих схватывать Формы» (2007, p. 76).

Наш выбор не оригинален, он повторяет выбор других авторов. Так, более двух тысяч лет назад Аристотель настаивал на том, что «то, чем мы обладаем по природе, мы получаем сначала как возможности... а затем осуществляем в действительности... совершая поступки... Ни одна из нравственных добродетелей не врожденна нам по природе... но приобрести их для нас естественно, а благодаря приучению... мы в них совершенствуемся» (2006, с. 64, 65). Двести лет назад Ламарк писал, что, хотя можно, без сомнения, получить при рождении особое предрасположение к наклонностям, передаваемое родителями через организацию, но «считать в особях человеческого вида известные господствующие наклонности за *врожденные* – не только опасное мнение, но прямая ошибка» (1937, с. 358). В последнее время S. E. Fisher (2006) и S. G. Grant (2003) в своих обзорно-теоретических статьях привели веские аргументы для обоснования заключения о том, что гены не специфицируют напрямую поведенческие и когнитивные процессы. Разрыв между генами и когнитивными процессами может быть преодолен только при включении представления о системах, формирующихся в процессе индивидуального развития.

Следовательно, с наших позиций, дихотомия «врожденно или формируется» отсутствует. Признание изначальных генетических predispositions не означает отсутствия необходимости формирования в культурной среде даже *самых базовых*, общих для всех обществ «компонентов» нравственности.

Преспециализация нейронов, специализирующихся в процессе онтогенеза в отношении видоспецифического поведения, довольно жестко определяет то, относительно какого поведения специализация сформируется, но детерминация не однозначна. Это касается даже такого поведения, как сосание новорожденных или становление речи.

С. Пинкер (2004) отмечает, что хотя основы грамматики «изначально заложены в детском мозге», но ему приходится осваивать

конкретные нюансы того или иного языка: английского или кивундجو. Это освоение может быть рассмотрено в качестве «приобретения знания», что, как мы уже отмечали, требует формирования специализаций нейронов в процессе научения. Трагические естественные «эксперименты», которые «проводят» безнравственные родители, выращивая детей в безмолвных темных комнатах, неизменно приводят к одному результату: дети вырастают немыми. Из этой логики (врожденного языкового инстинкта) следует, кажется, простой ответ на вопрос, который С. Пинкер называет головоломкой: «Почему новорожденные не говорят?» Ответ: потому что у них не произошла еще специализация преспециализированных нейронов, которая развернется при последовательном обучении все новым и новым действиям, для оценки результатов которых с точки зрения социума будут использованы все новые слова и их сочетания, формирующие «врожденный» язык ребенка.

Ясно, что провести аналогичный «эксперимент» с «моральной изоляцией» принципиально сложнее, поскольку речь идет не о том, что надо просто смоделировать отсутствие внешних «моральных инструкций», а о необходимости полностью исключить любую коммуникацию, имеющую отношение к оценке индивидом получаемых результатов.

Итак, с наших позиций можно в целом согласиться с точкой зрения Л. С. Выготского, высказанной много лет назад: хотя «несомненно, что в основе морального чувства мы найдем и инстинктивную симпатию к другому человеку, и общественный инстинкт», но «моральное поведение есть поведение, воспитываемое таким же точно образом через социальную среду, как и всякое другое» (2005, с. 259; курсив наш. – Ю. А., Н. А.). «В целом» потому, что с наших позиций термин «моральное поведение» может вводить в заблуждение, существенно сужая область, в которой действует мораль: весь поведенческий репертуар. Если перефразировать мысль Л. С. Выготского так, чтобы она в большей мере соответствовала нашим представлениям, то следовало бы выразить ее так: нравственность, характеризует отношения между формирующимися системами поведенческих актов, сама, по определению, оказывается продуктом научения, разворачивающегося в социальной среде, как и всякое поведение, даже то, которое формируется на необитаемом острове.

Что касается непосредственной связи геном – мораль, сходное отношение формулировал ранее и Ж.-П. Шанже, настаивающий, как только что отмечалось, на генетически обусловленной

«порождающей грамматике» этики. «Лично я всегда очень критично относился к высказываниям об упрощенной связи между генами и общественным поведением... совершенно упускающим из виду тот факт, что главную особенность человеческой этики составляют постоянные попытки примирить общественное поведение и разум», – писал он (см. также: Midgley, 1994). «Наиболее очевидная функция морали носит «эпигенетический» характер» (Шанже, Конн, 2004, с. 197).

Итак, *связь между индивидуальным геномом и нравственностью – опосредованная. И это не только потому, что связь ген – индивидуальное поведение – не прямая. Элементы культуры «производятся», даже если упрощать (пропуская звено «специализация нейронов»), не просто индивидуальными, а комплементарными генами. Культура не является набором выучиваемых норм (в том числе и моральных), а средой обучения, которая определяет специфику набора актов, которые может в ней сформировать индивид.* То, какие именно акты из этого набора будут сформированы данным индивидом, в определенной степени зависит от особенностей его генома и, следовательно, от свойств его нейронов. Нравственность уже была рассмотрена выше как одна из многих характеристик целостной структуры опыта, а не как специфичный ее домен, что принимается М. D. Hauser (использующим представление о ней как о специальном «домене знания» – Dwyer, Hauser, 2008; Hauser, 2006a) и некоторыми другими (см., например: Mikhail, 2007). Наличие этой характеристики можно рассматривать как «соматическую репрезентацию» морали, соотносимой со структурой общественного опыта (культуры).

Наша позиция близка той, которую сформулировали Y. Kovas и R. Plomin. Сопоставив представления, в рамках которых гены рассматриваются как «универсалы» и как «специалисты», они обосновали справедливость первого представления: «Генетический вклад в структуру и функцию мозга – универсальный, но не модулярный, Гены-универсалы влияют на структуру и функцию множества областей мозга, каждая из которых имеет отношение ко множеству когнитивных процессов» (2006, р. 198, 200). Наша позиция находится также в соответствии с позицией E. Dupoux, P. Jacob (2007), которые приводят аргументы против рассмотрения нравственности в качестве специфической способности, модуля, подобного языковому.

М. D. Hauser (2006a) рассматривает тот факт, что люди часто не могут объяснить и обосновать свой моральный выбор как аргумент в пользу врожденности грамматики морального поведения

и против возможности обучения этому поведению. Из всего сказанного выше следует, что люди, как правило, действительно не обучаются специальному моральному поведению. Не потому, что оно изначально в наших генах, а потому что нравственность появляется как следствие формирования структуры субъективного опыта, представляющей многообразные акты «внешнего» и «внутреннего» поведения, но не как результат выучивания специального «морального поведения».

Именно единицы опыта, соответствующие упомянутым актам, являющиеся результатом научения, в наибольшей степени доступны декларированию. А нравственное развитие имеет отношение к формированию недеклалируемых отношений между системами, складывающихся и модифицирующихся преимущественно в ходе подобного научения.

Можно увидеть определенное соответствие между нашей позицией и мнением F. de Waal (1996), который подчеркивает, что хотя, как и язык, мораль слишком сложна, чтобы формироваться путем проб и ошибок (т. е. имеется определенная генетическая предрасположенность), но она и слишком вариативна, чтобы быть генетически «запрограммированной». К наиболее серьезным ошибкам биологов, обсуждающих проблему морали, F. de Waal относит игнорирование упомянутой вариативности и недооценку «выученного» характера морального поведения. M. R. Waldmann (2006) также отмечает серьезные межкультурные различия морали, существующие наряду с универсалиями, и подчеркивает, что если M. D. Hauser легко принимает и то, и другое, как соответствующее предсказаниям его концепции, то трудно представить себе, какой вообще может быть ее эмпирическая проверка.

О том, что трудно вообразить себе эксперимент, на основании результатов которого можно было бы решить, справедлива ли концепция M. D. Hauser или представление о формировании нравственности как следствии «обычного» научения, пишет и R. Rorty (2006). M. R. Waldmann добавляет, что некоторые компоненты, имеющие отношение к моральному поведению, могут быть «врожденными», но они не обязательно должны быть специфичны для «морального домена». В нашей терминологии к таким компонентам могут быть отнесены индивидуально специфичные наборы нейронных пре-специализаций с той лишь коррекцией, что и их формирование определяется не только генетическими, но и эпигенетическими факторами.

*Мораль и закон.* Из единой концепции сознания и эмоций следует, что эмоция, как характеристика элементов низкой дифференциации, указывает на то, к какому домену субъективного опыта принадлежит актуализированная его единица, обеспечивающая данный поведенческий акт. В то же время сознание рассматривается как характеристика новых, сравнительно высоко дифференцированных элементов, указывающая, какая именно из множества альтернатив выбрана и реализуется (Alexandrov, Sams, 2005). Сходным образом могут быть проанализированы характеристики низко- и высокодифференцированных элементов культуры.

*Мораль уже была сопоставлена нами с наиболее древними, рано сформированными элементами.* Поэтому и кажется, что моральные идеи в «смутной и расплывчатой форме» установлены «с самого начала» в «глубокой древности», составляя «первоструктуру» цивилизации (Дробницкий, 2002, с. 292, 295). Закон же связан с более дифференцированными системами. Из такого представления логически следует, что низкодифференцированные системы общи для разных людей, эпох и ситуаций: масса самых разнообразных единиц на протяжении всего развития культуры имеет основанием ограниченное число общих низкодифференцированных систем. Они должны быть общими не только для разных эпох, для разных степеней дифференциации культуры, но и для разных культур.

Для выживания всех сообществ было важно осуждать трусость, ложь во имя личной выгоды и пр. Л. С. Выготский также связывал наличие общих для разных культур черт морали с наличием «общих элементов всякого человеческого общества» (2005, с. 256). Действительно, многократно и убедительно обосновано, что культуры разных человеческих сообществ имеют «много общих древних структурных элементов» (Midgley, 1994, p. 144) и что моральные основания в самых разных обществах на протяжении всей истории человечества универсальны (Дробницкий, 2002; Кэмпбелл, 1979; Меркулов, 2000; Уайт, 2004; Шопенгауэр, 1999; Kohlberg, 1982; Moll et al., 2005; и др.).

Давно стало очевидным, что «в каждом племени как бы оно ни обособилось от основного мирового движения, всегда находятся представления... о добре и зле, о том, что справедливо и что несправедливо... на эти первоначальные понятия нисходят века, на них накапливается опыт» (Чаадаев, 1991, с. 383). Эразм Дарвин (1954) в своей поэме «Храм Природы» (XVIII в.), которая была проникнута идеями эволюции и предвосхитила эволюционное учение

его внука – Чарлза Даврина, ссылаясь на библейский сюжет, относил дифференциацию добра и зла к основополагающему началу становления человека, к началу познания\*. Психосемантические исследования показывают, что добро и зло выступают в качестве общечеловеческих параметров образа мира, формирующегося в самых разных его уголках (Стефаненко, 2004). Как это поясняет М. Midgley, у самурая в Средние века и у калифорнийца в XX в. были разные представления о том, что такое хорошее и правильное поведение, но при воспитании детей они руководствовались одним и тем же принципом – ответственность родителей за детей (1994, р. 138). По-видимому, наличие подобных универсалий связано с обнаруживаемым у детей в самых разных культурах сходством оценок того, что, например, не спровоцированный ничем удар кулаком есть нарушение моральных норм (см.: Nichols, 2004).

В то же время довольно давно пришло и понимание огромного разнообразия культурных правил, традиций, исходящих из сходных посылок. Так, Геродот отмечает, что каждый народ считает свои обычаи наилучшими, и иллюстрирует следующей историей, как по-разному понимают разные народы, что такое почитать родителей после их смерти. Дарий однажды спросил греков, за какое вознаграждение они согласились бы съесть тела своих умерших родителей. Естественно, они ответили, что не сделают это ни за что на свете. Тогда Дарий спросил у индийцев (каллатиев, принадлежавших к древнему темнокожему населению Индии), которые едят тела родителей, за какую цену они согласятся сжечь тела покойных родителей. Индийцы воскликнули, что это невозможно и попросили царя не кощунствовать (Геродот, 2002, с. 186). Джон

\* Хотя любовь опередила эту дифференциацию.

«Краса с Любовью счастье куш венчали,  
Доколе прародители людей  
Тот плод, соблазна полный, не сорвали  
И в простоте младенческой своей  
О правде и неправде не знавали.  
И вот открылось им Добро и Зло  
И отраженье верное нашло  
В зеркале душ их; стыд и угрызенья  
Познала Совесть; Голод лить стал кровь,  
Явился Грех, неся с собой мученья,  
И зародилась к ближнему любовь».  
(Дарвин, 1954, с. 54).

Локк (1690), говоря о том, что специфика обычаев, образа жизни и идей народов связана со спецификой их языка, приводя слова, относящиеся к нравственности, отмечает, что «если из любопытства станут сравнивать такие слова с теми, которыми они переведены на другие языки, то найдут, что очень немногие из последних слов точно соответствуют им во всем объеме своего значения» (Вежицкая, 1999, с. 268).

Из сказанного, казалось бы, следует, что поскольку в основании единиц культуры на протяжении всей эволюции последней находятся все те же низкодифференцированные древние системы, характеристикой которых и оказывается мораль, то говорить об «эволюции морали», имея в виду ее модификацию, нельзя. Обоснования утверждений, согласующихся с этой логикой, можно найти в литературе. Так, например, указывается, что неправомерно считать, что при развитии культуры имеет место эволюция морали, и в связи с этим нет никаких оснований считать первобытные народы более или менее моральными, чем народы ныне существующих культур (Уайт, 2004).

Однако, во-первых, нельзя исключить, что старые системы в структуре культуры, как подобные системы в структуре субъективного опыта, претерпевают модификации, связанные с включением в структуру вновь формируемых систем. Эти модификации элементов субъективного опыта, подстраивающие их к новой структуре опыта, были названы нами «аккомодационной реконсолидацией» (Александров, 2005а). Во-вторых, роль одной и той же прасистемы при наращивании новых систем может изменяться, так как меняется единица культуры как целое, а именно она – среда формирования индивидуального поведения. В-третьих, разнообразие и изошренность конструкций «для других» со временем нарастает. Этот процесс также может быть ответственным за изменение моральной среды, в которой живут члены сообщества.

В то же время высокодифференцированные системы, в том числе соответствующие альтернативным вариантам поведения, могут иметь в основании одну и ту же низкодифференцированную систему. Таким образом, закон характеризует вариации нормирования поведения, зависящие от социально-экономической организации общества (социализм, капитализм), конкретной ситуации (насилие превышает пределы необходимой самообороны или нет) и массы других факторов. Поэтому данная характеристика значительно более динамична и изменчива, чем первая.

Определенное сходство может быть отмечено между тем соотношением морали и закона, которое мы здесь подчеркиваем, и соотношением магии и религии. Д. Д. Фрэнгер полагает, что единообразие и всеобщность магических представлений и верований по сравнению с бесконечным разнообразием религий связано с тем, что «первая представляет собой более грубую и раннюю фазу в развитии» интеллекта человечества (1980, с. 70). Не входя в дискуссию о точности формулировки Фрэнгера (см.: Токарев, 1980), заметим, что если в целом принять ее справедливость, указанное сходство можно рассмотреть в качестве феномена, иллюстрирующего следующую закономерность. Самые разные пары понятий культуры, характеризующие более древние и низкодифференцированные (мораль, магия) и более новые и высокодифференцированные (закон, религия) элементы культуры, характеризуются подобным соотношением. Это отражает общую закономерность развития и, следовательно, организации системных структур.

Из схемы на рисунке 2, а также из сказанного выше о совместной актуализации низко- и высокодифференцированных элементов культуры следует, что формирование поведения в культуре, связанное с актуализацией ее целостных единиц, нормируется одновременно морально и юридически. Оказывается, что «право всегда включает в себя элементы обычая и традиции», связанные с более старыми элементами культуры (Дробницкий, 2002, с. 239). И. Кант (Kant, 1887) писал, что согласие данного действия с юридическим законом есть его «законность», а с моральными нормами – его же «моральность».

Говоря об этом соответствии, подчеркнем, что к очевидным и принципиальным различиям позиций в первую очередь относится следующее. И. Кант настаивал на том, что «если нет первоначального существа... Творца... и душа так же делима и разрушима, как материя, то моральные идеи и основоположения также теряют всякое значение и падают вместе с трансцендентальными идеями» (1998, с. 393). Это был единственный путь, который видел автор для того, чтобы обосновать мораль и объяснить ее происхождение. И полтора века спустя М. Борн отмечал, что никто не знает, как обосновать научными методами моральные нормы (2004, с. 32). Сейчас также преждевременно говорить о решенности этой проблемы в собственно науке. Однако, основываясь на эволюционном подходе к происхождению морали, мы, как и ряд других авторов (например: Эфроимсон, 1995, с. 54; критику с других позиций см.:

Шопенгауэр, 1999), не можем принять «божественное» происхождение «закона в сердце» (хотя последняя метафора кажется нам весьма удачной, если рассмотреть сердце как символ противоположности холодному аналитическому разуму). Трудно сказать, лучше, чем это сформулировано М. Midgley (1994), которая, говоря об эволюционном происхождении морали, отмечает: если принять идею Творца (как это действительно делает, например, известный генетик F. Collins, принимая, что мораль не просто дар божий, но и яркое свидетельство существования бога – см. van Biema, 2006), то окажется, что ему, чтобы получить мораль, пришлось бы использовать силы эволюции. Это очевидно, хотя до сих пор не ясно, каково именно сочетание разных эволюционных факторов, обуславливающих формирование морали (Waal, 1996).

И. Кант (Kant, 1887) многократно подчеркивал, что юридические обязанности диктуются извне, через «внешнее законодательство», внешние правила, в то время как «моральное законодательство не может быть внешним». По-видимому, логика всего сказанного выше позволяет полагать, что *превращение формируемых индивидом, часто невербализуемых моральных правил во внешние правила, кодексы и пр. (что делалось на протяжении всей истории как в религиозной, так и в светской практике) меняет их статус внутренних моральных норм. Они начинают быть соотносимыми с высокодифференцированными системами, приобретая статус внешних законов со всеми вытекающими из этого статуса последствиями\**. Например, отношение к ним как к правилам, которые могут быть нарушены при возможности избежать наказания, купить безнаказанность за деньги (индальгенция), наличие ситуативной зависимости, и пр. Коротко говоря, в такой форме они теряют статус категорического императива. Ответ на вопрос о том, насколько полезно такое изменение статуса, зависит от того, в какую эпоху это происходит, кто является потребителем кодексов, от кого, от чьего имени они исходят, на каком этапе развития индивид знакомится с кодексом и пр.

Ж. Пиаже (2006) подчеркивает, что весь полученный им эмпирический материал подтверждает «удивительную мысль Бовэ»: чувство обязанности появляется только в том случае, если предписание

\* Одно из них – неприменимость закона к «элите». Так, один высший сановник говорил Дельвигу: «Что вы говорите мне про закон? Законы пишутся для низших сословий, а не для нас» (Голоса из России, 1974, с. 89). Сходные свойства могут приобретать моральные нормы.

поступает от людей, которых ребенок уважает\*. От этих и других факторов зависит, как отразится на структуре субъективного опыта индивидов поведение ознакомления с предлагаемыми правилами.

Так, К. Левин (2000), рассматривая вопросы переобучения, замечает, что оно может затронуть лишь уровень вербального выражения системы ценностей. В результате может иметь место не ожидаемое изменение поведения, а нарастание дискомфорта от усиления расхождения между тем, что индивид должен чувствовать, и тем, что он чувствует. М. D. Hauser (2006a) полагает, что бессознательная система, имеющая отношение к осуществлению морального выбора, нечувствительна к религиозным доктринам. Экспликация моральных норм может быть связана с нарушением морали. Например, приводит к обоснованию положения, в соответствии с которыми окажется, что данные нормы распространяются не на всех членов данного сообщества. При этом легко производится подмена имплицитных моральных норм эксплицитными временными социальными соглашениями, которые, как подчеркивает М. D. Hauser, «могут нарушаться и применяются выборочно только к отдельным группам людей, тогда как моральные правила неприкосновенны и универсально применимы» (2006a, р. 292). Так в нацистской Германии постоянно декларировалось серьезнейшее значение моральных норм, в том числе семейных уз и связей для построения нового общества, но при обращении с евреями Германии никакая мораль не принималась во внимание (Моссе, 2003).

Имея в виду все сказанное, в особенности о том, что формирование нравственности не есть усвоение эксплицитно сформулированного ее кодекса, действительно можно полагать малоэффективными или даже «совершенно бесплодными попытки морального обучения, моральной проповеди» (Выготский, 2005, с. 264) как со стороны священнослужителей, так и со стороны светской власти (Hauser, 2006a).

Возможно, сформулированные «моральные законы» (типа «Не убий»), являются не моральными законами, а выраженными в вербальной форме результатами попыток с помощью «обыденной науки», религии, философии выразить главным образом имплицитное, скрытое от сознания (а может быть, и недоступное для него) содержание субъективного опыта, имеющее отношение к нравственности, и «транслировать» его вовне, в общественный

\* См. также главу 7 об отношении к закону, характерному для русской культуры.

опыт, превратив в то, что называется моралью в обыденной науке. Говоря «главным образом», мы имеем в виду, что к нравственности имеют отношение не только характеристики отношений между элементами опыта, но и единицы опыта, соответствующие целостным актам, формирующимся при решении эксплицитно сформулированной моральной дилеммы. Это содержание опыта может быть декларируемо. Однако, вероятно, пути решения таких дилемм весьма ситуативны, зависят от массы факторов (Hauser, 2006a) и не могут быть универсальными.

Хотя обыденное знание небесполезно для функционирования социума (Midgley, 1994; Московичи, 1995а, б), но оно основано на неточных формулировках. Более того, наши практические, обыденные описания нравственных принципов могут быть не просто неточны, а ошибочны (Hauser, 2006a). Будучи введен в заблуждение ложными формулировками «человек творит зло», причем «с особенным размахом и удовольствием, когда уверен, что поступает согласно велению совести» (Паскаль, 1999, с. 313).

Для того чтобы возможно более точно сформулировать содержание нравственных принципов, необходима не только сомнительная интроспекция, не только религиозные, литературные и философские изыскания, но и экспериментальные исследования. Как, впрочем, и для того, чтобы ответить на другие вопросы психологии. Выявление содержания нравственных норм, а также разработка проблемы «вербализации морали», ее влияния на моральный выбор в экспериментальных исследованиях уже приносит интересные и важные результаты (см.: Hauser, 2006a).

Ю. М. Лотман связывал мораль со стыдом, а закон со страхом. Он отмечал, что именно стыд как специфически человеческое свойство «лег в основу регулирования первых человеческих – уже культурных – запретов. Это были нормы реализации физиологических потребностей, – бесспорно, наиболее древний пласт в системе культурных запретов. Превращение физиологии в культуру регулируется стыдом». Позже, «в момент возникновения государства и враждующих социальных групп... основным психологическим механизмом культуры сделался страх. Стыд регулировал то, что было общим для всех людей, а страх определял их спецификацию относительно государства, то есть именно то, что на этом этапе казалось культурно доминирующим» (2000, с. 664, 665). Автор подчеркивает, что соотношения этих двух типов нормирования поведения человека в обществе сильно варьируют, но наличие их обоих в культуре

неизбежно и необходимо. Последнее замечание Ю. М. Лотмана в терминах предлагаемых здесь представлений означает, что развитие культуры происходит как дифференциация и наслоение и данная единица культуры всегда включает оба класса элементов: низко- и высококодифференцированные.

Имея в виду понимание закона как относящегося к системам относительно высокой дифференциации, имеющим в своей «генетической» основе низкокодифференцированные системы, соотносимые нами с моралью, а также представление об эволюционных корнях морали, мы можем согласиться со следующим утверждением: попытки вывести право в человеческом обществе из экономического обмена\* – ошибка. Его первооснова значительно более архаична. Шимпанзе явно выказывают возмущение при жульничестве со стороны других членов стаи (Waal, 1989).

Наше соотношение морали с низко-, а закона с высококодифференцированными элементами культуры согласуется с интуитивистским пониманием морали (Haidt, 2001, 2007) и с позицией Э. Дюркгейма, который отмечал, что психические состояния, связанные с моральными санкциями, диффузны, а сами моральные правила настолько расплывчаты, что их трудно даже сформулировать. При этом юридические правила отличаются ясностью и точностью (1991, с. 79–80).

В. О. Лобовиков (2003) также подчеркивает, что понятия «хорошо/добро» и «плохо/зло» являются неустранимо нечеткими, размытыми. Институциональные нормы фиксируются в виде «эксплицитно и однозначно выраженных вербальных формул» и их происхождение «связано с организационно-структурной дифференциацией общества». Мораль же является неинституциональной, «незримой» формой нормирования (Дробницкий, 2002, с. 238, 243). В связи с этим кажется сомнительной следующая внешне логичная идея Б. Рассела: если моральные правила значительно уменьшают уровень счастья в сообществе, то очевидно, что их пора изменить (1987, с. 81).

Поскольку мораль не только всеобща, но и индивидуальна (см. выше точку зрения F. de Waal о межиндивидуальной вариативности этических норм), по существу, она воссоздается в культуре каждой личностью, постольку она может, конечно, входить в противоречие

\* Так, например, Ф. Ницше (2006) полагал, что мир нравственных понятий имеет источником долговое право, отношения продавца и покупателя, кредитора и должника.

с юридическими правилами. Суд присяжных, с этой точки зрения, есть способ устранения этих противоречий, реализуемый путем голосования. Кроме того, правила и законы могут быть написаны в интересах лишь одной из групп сообщества. Поэтому если что-то назвать неподобающим, это не значит, что оно и против правил. Могут быть плохие правила, например, законы, «направленные против критики в адрес правительства» или требующие «совершения чего-то, что действительно является злом: например, закон о расовой сегрегации в общественных местах» (Нагель, 2001, с. 54).

Имея в виду сказанное о морали и законе, можно согласиться с В. О. Лобовиковым в том, что «нужно исследовать морально-правовые явления как единую систему, не разрывая ее искусственно на две части – мораль и право». Однако утверждение «нет никакой необходимости различать мораль и право» (2003, с. 43) вызывает возражения, также с очевидностью вытекающие из содержания вышеизложенного.

*Мораль и эмоции.* Итак, моральные суждения основываются на интуиции и «инстинктивном чувстве», определяющем что есть хорошо, а что – плохо (Greene, 2003; Haidt, 2001, 2007; и др.). Отсюда следует предположение, что решение моральных дилемм может быть связано с повышенной активностью низкокодифференцированных систем субъективного опыта и, следовательно, с повышенной интенсивностью эмоций.

Подобные соображения подкрепляются данными обыденной науки и высказываются, хотя и в связи с другими теоретическими представлениями, уже давно (см., например: Sherrington, 1955). Аристотель считал необходимым эмоциональный настрой для совершения нравственного действия и рассматривал добродетельное поведение как совершаемое под влиянием эмоций (см.: Разин, 2002).

В то же время, как подчеркивают, J. D. Greene с соавт., традиционно в психологии морали подчеркивалась роль разума в вынесении моральных суждений. Лишь в последнее время (вновь) внимание было обращено на вовлеченность эмоций в этот процесс и его интуитивный характер (2001, р. 2105; Eisenberg, 2000; Haidt, 2001, 2007; Moll et al., 2002), хотя рационализм остается еще «правляющим» подходом в этой области (Haidt, 2001, р. 816). Рассмотрение проблем морального развития приводит к пониманию того, что «моральные эмоции» появляются до того, как формируется возможность вербальных «моральных рассуждений». Сначала появляются «моральные чувства» и лишь позже – «моральные принципы» (Waal, 1996, р. 87).

Можно сказать, что роль «моральных эмоций», как и эмоций вообще, состоит в первичной, грубой ориентации в том, к какому домену субъективного опыта относится данная ситуация, данное поведение, положительному или отрицательному. Специфика же в случае «моральных эмоций», по-видимому, состоит в том, что это отнесение связано с принадлежностью данного поведения к группе, формируемой в рамках либо положительного, либо отрицательного домена культуры. Особенно ярко проявляется «интуитивная» роль эмоций в тех ситуациях, для морального поведения в которых не существует сформулированных социальных норм (Hauser, 2006b).

Выше мы отмечали: оценивая результаты своего поведения, индивид дает им «общественную оценку». В «моральном сообществе» главным в оценке действия индивидом является именно то, что другие думают об этом действии (Waal, 1996). И ему комфортно при совершении морального поведения потому, что «общество» использует для оценки наряду с другими терминами и термины принадлежности поведения к группе актов, сформированных в домене «хорошо», – похвалу. О. Г. Дробницкий рассматривает следующий механизм переноса моральной оценки общества «внутри» индивида. Понуждение индивида в обществе включает разные формы воздействия: поощрение и осуждение, сила массового примера, общественное мнение и т. д. «Интерииоризация» этих форм внешнего воздействия приводит к тому, что и сам индивид начинает управлять своим поведением, ориентируясь на общую норму» (2002, с. 225).

Предположение о связи решения моральных дилемм и эмоций подтверждается экспериментами с картированием мозга у испытуемых, решающих моральную дилемму: у них обнаруживается повышение активности структур, связываемых с эмоциями (например, амигдалы) (Casebeer, 2003; Greene et al., 2001; Haidt, 2001; Moll et al., 2005; 2002). «Автоматическое», бессознательное моральное оценивание сопровождается возникновением «моральных эмоций» и активацией наряду с «эмоциональными» структурами также областей мозга, связываемых с социальным поведением (например, орбитофронтальная кора). Когда, как это особенно часто бывает в условиях лабораторного эксперимента, вместо имплицитной оценки разворачивается эксплицитное моральное рассуждение и принятие решения, набор достоверно увеличивающих активность структур изменяется: вовлекаются некоторые дополнительные области префронтальной коры (см.: Moll et al., 2002).

\*\*\*

Итак, древние, низкодифференцированные системы, характеристикой которых является мораль, лежат в основе всех единиц культуры. Наш опыт формируется в культуре, каждая единица которой имеет в своем основании низкодифференцированные системы. Чему бы мы ни учились, оказывается, что эти системы «отражены» в сформированном нами опыте. Поэтому любое знание субъекта о мире, формирующееся в культуре, соотносимо с моральными нормами. Нравственность есть глобальная характеристика субъективного опыта, определяющаяся межсистемными отношениями, складывающимися между элементами опыта. Это специфическая характеристика целостной структуры субъективного опыта, соотносимая с моральной оценкой событий и действий и «классифицирующая» все множество единиц опыта по критерию этой оценки. Данная «классификация» при рассмотрении ее с позиции первого лица означает, что действие (собственное или чужое) воспринимается субъектом как должное или недолжное. При рассмотрении ее же с позиции третьего лица, она означает, что действие субъекта соотносимо либо с доменом культуры, задающим формирование разрешенного, поощряемого, либо с доменом запретного, неодобряемого поведения.

Следовательно, связывание моральной оценки со всеми действиями, в том числе, конечно, и интеллектуальными, свойственное азиатским культурам, не является неким наивным искажением реальности в обыденном знании. Наоборот, оно хорошо соответствует как структурным особенностям культуры, так и связи между этими особенностями и структурой формирующегося в культуре субъективного опыта.

Интересно отметить в связи с только что сказанным, что, как считают С. R. Kinlaw и В. Kurtz-Costes, у детей обнаруживается имплицитное представление об интеллектуальности, включающее выраженный социальный компонент. И лишь много позже, ближе к концу школы, у них формируется характерное для той культуры, в которой они воспитываются, представление об интеллекте, связанное почти исключительно с когнитивными факторами; по-видимому, большое значение в этой динамике имеет школьное воспитание (см.: Kinlaw, Kurtz-Costes, 2003). Полученные нами данные (см. выше о сравнении представлений педагогов и подростков) позволяют предполагать, что сходная динамика наблюдалась и у наших детей.

Однако формирование представлений об умном человеке не завершилось тем, что когнитивные факторы становились превали-

рующими, как это описано С. R. Kinlaw, В. Kurtz-Costes (2003). Сделанное только что заключение не позволяет трактовать отмеченную разницу как своеобразное «недоразвитие» соответствующих социальных представлений в азиатских культурах. Скорее, оно заставляет полагать, что а) воспитание детей вносит aberrации в процесс формирования представлений об умном человеке у детей, б) эти aberrации, хотя и могут быть общими для западной и азиатской культуры, но проявляются в них с разной степенью. В настоящее время ситуация, во всяком случае по оценкам российской популяции, меняется. Анализу этой динамики посвящена следующая глава.

## СТАБИЛЬНОСТЬ И ДИНАМИКА СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ В МЕНЯЮЩЕМСЯ ОБЩЕСТВЕ

**К**ультура как динамическая среда. Культура может быть представлена как «поток», «динамическая среда»; ее содержание постоянно изменяется (Уайт, 2004; Лихачев, 1994). В качестве основы и определяющего фактора направленности потока Л. Уайт рассматривает технологию и связанную с ней социальную организацию. Последняя понимается им как способ, которым общество извлекает пользу из технологии. В зависимости от упомянутого фактора меняется отношение к «теще, ... целомудрию, эвтаназии, рабству, расторжению брака, бережливости... и еще тысяче подобных вещей» (Уайт, 2004, с. 75, 77). Более того, по мнению К. А. Абульхановой-Славской, психическое вообще является производным способа общественной организации и места, которое занимает личность в системе этих отношений в общественном производстве, складывающихся в рамках данного способа (1980, с. 34, 68).

Меняются не только сложные социальные представления, но и такие «элементарные процессы», как «когнитивные» или «эмоциональные» (Kitayama, 2002). Причем эти изменения могут быть быстрыми. Как отмечал А. Р. Лурия, анализ результатов экспериментальных исследований (которые он назвал «антидекартовскими») процесса решения задач, аргументации, воображения и т. п. демонстрирует, что «перестройка мышления может произойти за относительно короткое время при наличии достаточно резких изменений социально-исторических условий» (1982, с. 69).

Технологии и социальные организации меняются. Вместе с ними меняются и социальные концепции. Меняется также и язык, на котором формулируются концепции. Динамика единиц языковой эволюции – социалем, которым было дано определение выше, как и динамика культуры, определяется развитием производства и изменением социальных отношений (Журавлев, 1982).

Ранее близкие идеи выдвигал А. А. Богданов (1913–1917). Он считал, что определяющим фактором типа культуры является тип труда, т. е. его содержание и социальная организация (формы разделения труда и специализации индивидов). Модифицируется

при изменении этого фактора и инструмент согласования индивидуальных результатов для достижения коллективных – язык.

Показано, например, что число терминов в английском языке, отражающих содержание обыденного биологического знания, уменьшается с XVI по XX в., особенно резко в XIX в. Wolff с соавт. (1999) считают, что это знание не исчезает, но сохраняется в языке, хотя и в «непрямой» форме (см. выше о наложении, а не замене элементов культуры как способе развития ее структуры), и это сохранение может обеспечивать процесс «восстановления» соответствующего знания.

Социальная организация серьезно изменилась в нашей стране за последние годы. Проведенные исследования позволяют полагать, что имеются изменения «российского менталитета», связанные с перестройкой общественной идеологии (Воловикова, 2005). Действительно, уже подрастает поколение, не знакомое непосредственно с другой, ранее существовавшей социально-экономической системой. У молодежи обнаруживается перестройка ценностных представлений, выражающаяся, например, в том, что они в меньшей степени, чем предшествующие поколения, надеются на удачу и чудо (Стефаненко, 2004).

Конечно, для сравнения динамики общественного сознания лучше брать несколько временных срезов. Однако, как отмечают, В. Ф. Петренко и О. В. Митина (1997), они, как и многие другие исследователи считают возможным ограничиться двумя срезами. И в этом случае выявляется динамика, особенно выраженная в тех случаях, когда срезы совпадают с узловыми моментами развития общества.

Хорошо обоснована позиция, согласно которой социальные представления особенно эффективны для понимания эволюции социальных объектов (Lahlou, 2001). Ясно, что социальные представления – динамический феномен (Voelklein, Howarth, 2005), но экспериментально их динамика очень мало изучена. В то же время результаты такого изучения, особенно приуроченного к периодам серьезных социальных и экономических изменений, в которые часто наблюдается отказ от прежних представлений (бесполезных или даже наказуемых, как при переходе от демократии к тоталитаризму), имеют важное теоретическое и практическое значение (Meier-Pesti et al., 2003; Raudsepp, 2005). Специально подчеркивалось, что особым вызовом является анализ «когнитивных аспектов коллективных событий», разворачивающихся быстрыми темпами

«при возникновении капитализма вслед за падением Советского Союза» (DiMaggio, 1997).

В социальной психологии отмечается, что в масштабном «естественном экономическом „эксперименте“», осуществленном в нашей стране, «среди социально-экономических изменений наибольший интерес вызывает смена форм и отношений собственности». Предполагается, что эта смена отражается в «динамике социально-психологических феноменов». Например, возрастает значимость таких ценностей, как «богатство», «собственность». Вообще отмечается существенное изменение ценностных ориентаций (Журавлев, 1997; Журавлева, 2006). В оценке участниками трудовой деятельности друг друга изменилось соотношение «весов» деятельностных и экономических (имущественных) критериев. Подобные изменения по-разному выражены в разных возрастных группах и проявляют зависимость от социально-психологического типа личности. Обнаруживается и обратное влияние: социально-психологические факторы, по всей видимости, оказывают воздействие на социально-экономическую динамику (Журавлев, 1997).

Ранее J.-C. Abric (1984) высказывал предположение о том, что с изменением только одного социального представления или понятия меняется вся их совокупность. Эта идея хорошо согласуется с системным представлением о культуре. Говоря о системности культуры, К. Левин (2000) подчеркивал, что культурные национальные особенности проявляются во всех ее аспектах: и в том, как написаны кулинарные книги, и в том, какие фотографии отбирает кандидат в президенты для своей избирательной компании. Идея системности позволяет предполагать существование связанной структуры социальных представлений, в которой наличие или появление одного представления делает более вероятным наличие или появление другого (Raudsepp, 2005).

*Если принять идею системности и целостности культуры, можно предположить, что определенную динамику должны претерпевать и те имплицитные представления, которые, казалось бы, не связаны прямо с формами собственности: представления об интеллектуальной личности. Происходящие изменения имеют прямое отношение к изменениям важнейшего компонента кооперации – экономической кооперации людей, а основная роль социальных представлений – обеспечение каркаса для кооперации в коллективах (Lahlou, 2001). Роль социальных представлений в соответствии с одним из ранних определений*

S. Moscovici (1963) – обеспечение совместного поведения и коммуникации; они могут рассматриваться как «семиотический механизм регулирования совместных действий» (Raudsepp, 2005, p. 458). Не удивительно поэтому, что экономическая ситуация оказывается существенным фактором, влияющим на динамику социальных представлений (Voelklein, Howarth, 2005).

*Эмпирический анализ.* Мы оценивали динамику представлений об умном человеке в России, сравнивая результаты, полученные в начале 90-х годов, и примерно через 10 лет, в 2004 г. Сравнение показало наличие динамики социальных представлений об интеллектуальности.

Для исследования имплицитных представлений об умном человеке в 2004 г. (Одинцова, 2005) использовался тот же лист характеристик, что и в исследовании, проведенном в 90-х годах. Испытуемого просили вспомнить умного человека, которого он знал лично и оценить его по каждому из 60 утверждений по 5-балльной шкале. Испытуемых просили также указать пол и возраст описываемого человека. Общая выборка испытуемых составила 300 человек, из них взрослые – 114 человек, средний возраст – 34 года, 70% женщины, остальные 186 человек – школьники.

Группа школьников была разбита на две подгруппы в соответствии с возрастом испытуемых. В младшую подгруппу вошли учащиеся 5-х классов, общее количество – 50 человек, средний возраст – 11 лет, из них 54% девочки. В старшую подгруппу вошли учащиеся 8-х, 9-х и 10-х классов, общее количество – 136 человек, средний возраст – 15 лет, из них 52% – девочки.

Взрослые испытуемые считают умным человеком мужчину, средний возраст которого составил 41 год: 71% мужчин и 60% женщин полагают, что умный человек – это мужчина. В 1990-х годах умным человеком называли мужчину 83% мужчин и 60% женщин. В целом спустя 10 лет картина достоверно не изменилась (рисунок 9).

Школьники предпочитают выбирать умного человека из своей собственной половой и возрастной группы. Так, в младшей группе школьников 83% мальчиков выбрали своих сверстников, 70% мальчиков решили, что умный человек – это мальчик того же возраста, что и они, и 13% – что это девочка. Среди девочек той же возрастной группы картина была следующей: большинство выбирало сверстников (78%), из них 60% выбрали девочку и 18% – мальчика. Взрослых на роль умного человека выбрали 17% мальчиков, из них

Стабильность и динамика социальных представлений в обществе

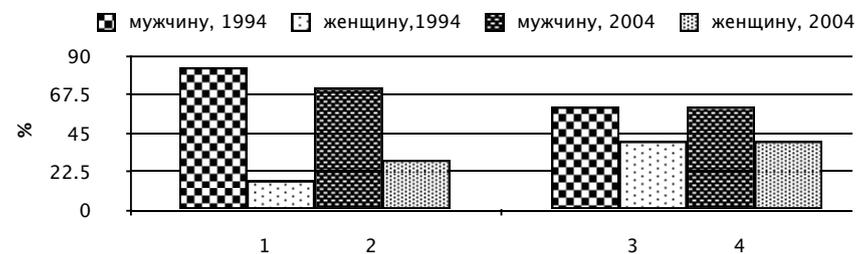


Рис. 9. Половые предпочтения в выборе умного человека взрослыми в 1994 и 2004 гг.

Выбирают: 1 – мужчины в 1994 г., 2 – мужчины в 2004 г.; 3 – женщины в 1994 г., 4 – женщины в 2004 г.

13% выбрали женщину, 4% мужчину и 22% девочек, из них 18% выбрали женщину и 4% – мужчину (рисунок 10).

Полученные результаты, по-видимому, свидетельствует о низком авторитете интеллектуальности старшего поколения. Кроме того, если в качестве умного человека выбирается взрослый, то в большинстве случаев это женщина. Таким образом, у детей младшего школьного возраста преобладают представления о женской интеллектуальности. Это может быть связано с тем, что учителями как начальных, так и средних классов чаще всего являются женщины. По критерию выбора в качестве умного человека своего сверстника полученные данные практически не отличаются

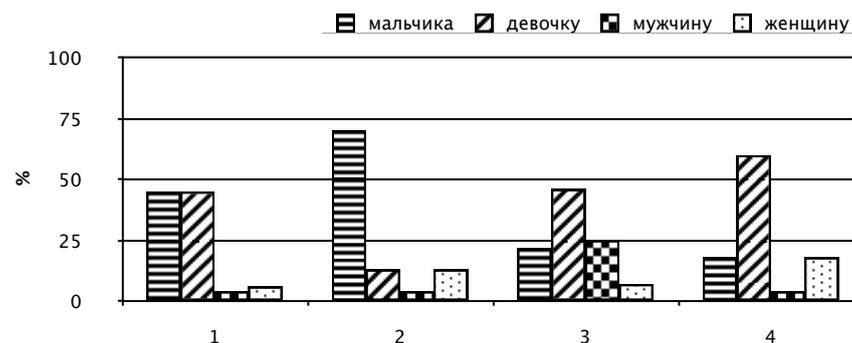


Рис. 10. Выбор умного человека школьниками младшей группы в 1994 и 2004 гг.

Выбирают: 1 – мальчики в 1994 г., 2 – мальчики в 2004 г.; 3 – девочки в 1994 г., 4 – девочки в 2004 г.

от данных 1994 г. (рисунок 10). Так, в 1994 г. в младшей группе школьников среди своих сверстников интеллектуальную личность выбрал 90% мальчиков, 45% мальчиков решили, что умный человек – это девочка того же возраста, что и они, и 45% – что это мальчик. Однако, в 2004 г. достоверно чаще мальчики стали выбирать в качестве умного человека именно мальчика (точный критерий Фишера,  $p < 0,05$ ). Среди девочек той же возрастной группы в 1994 г. 68% выбирало сверстников, из них 46% выбрали девочку и 22% – мальчика. Взрослых на роль умного человека выбрали 32% девочек, из них 25% выбрало мужчину и 7% женщину.

На рисунке 10 видно, что в 2004 г. в качестве умного человека, наоборот, чаще выбирались женщины, чем мужчины. Это различие между выборками достоверно (точный критерий Фишера,  $p < 0,05$ ).

В старшей группе школьников (рисунок 11) в нашем исследовании 2004 г. 84% мальчиков выбирают в качестве умного человека своего сверстника, причем преимущественно своего пола: 67% мальчиков выбирают мальчика и 17% – девочку. У девочек имеется та же тенденция: 70% девочек выбирают умным человеком своего сверстника, 56% считают, что это девочка, 14% – что это мальчик. Взрослого мальчика выбрали в 16% случаев; 13% считают, что это мужчина, 3% – что это женщина. Девочки также считают умным человеком взрослого, принадлежащего тому же полу, что и они сами: из 30% выбираемых ими взрослых 20% – женщины и 10% – мужчины.

В 1994 г. в старшей группе школьников 71% мальчиков назвали умным человеком мужчину, причем 37% – взрослого и 34% своего сверстника. 21% мальчиков назвали умными людьми девочек, а 8% мальчиков – взрослую женщину. Девочки при выборе умного человека отдавали свое предпочтение взрослому (61%), причем 40% выбирали мужчину и 22% – женщину. Среди сверстников девочки выбирали девочек в 31% случаев и мальчиков только в 7% случаев. Видно, что число выборов в качестве умного человека взрослого у детей старшего школьного возраста достоверно (точный критерий Фишера,  $p < 0,001$ ) снизилось по сравнению с 1990-ми годами (см. рисунок 11).

На наш взгляд, эти различия могут быть связаны с процессом формирования личности, посредством механизма идентификации. Анализ субъективных отчетов и специальных исследований показывает, что принятие личностного эталона имеет важную психологическую функцию. Оно облегчает вхождение подростка в новую социальную позицию, усвоение новых отношений, образование



Рис. 11. Выбор умного человека подростками в 1994 и 2004 гг.

Выбирают: 1 – мальчики в 1994 г., 2 – мальчики в 2004 г.; 3 – девочки в 1994 г., 4 – девочки в 2004 г.

новых личностных структур. Дети со слабо развитым механизмом идентификации хуже адаптируются к социальным условиям (Гиппенрейтер, 1999). В определенном возрасте, чаще в подростковый период, круг лиц, из которых выбирается образец – объект идентификации – расширяется (Мухина, 2004). Таким образом, в подростковом возрасте объекты идентификации становятся все более и более разнообразны.

Ранее, в 1990-е годы, в 15 лет у подростков наблюдалось увеличение частоты выборов на роль умного человека взрослого. В данном же исследовании было показано, что современные подростки реже выбирают на роль умного человека взрослого, как и школьники младшего возраста. Возможно, это свидетельствует о задержке развития механизма идентификации. Это может также свидетельствовать о некоторой инфантилизации современных старшеклассников. В работе В. Фёдоровой, проведенной в 2006 г., обнаружено, что, характеризуя взрослых, подростки в основном видят их в роли отягощенных работой, решением проблем выживания, перегруженных чувством ответственности. В связи с этим неудивительно, что дети не хотят становиться взрослыми и выбирать их в качестве объектов идентификации.

Кроме того, обнаруживается, что выбор на роль умного человека мальчика и мужчины у девочек в настоящее время происходит реже, чем в 90-е годы (группа младших школьников – точный критерий Фишера;  $p = 0,054$ ; в группе старшего возраста –  $p < 0,01$ ). В соответствии с этим в 1990-е годы не обнаружено достоверных различий по этому критерию между взрослыми женщинами и девочками обеих групп, тогда как в выборке 2004 г. для младшей и старшей

групп получены достоверные различия в частоте указанного выбора: у девочек он осуществляется реже, чем у женщин ( $p < 0,05$  и  $p < 0,02$  соответственно). Можно предположить, что эта динамика также связана с изменением объектов идентификации.

Поскольку представления об умном человеке у школьников не соответствуют по некоторым параметрам представлениям взрослых респондентов, как это было в исследовании 1990-х годов, факторному анализу подвергли только результаты, полученные от взрослых респондентов. Таким образом, выборка, на которой распределялись по факторам оценки дескрипторов интеллектуальной личности, составила 114 человек. Факторный анализ осуществлялся так же, как и в 90-е годы – применялся метод главных компонент,

**Таблица 11**  
Результаты факторного анализа дескрипторов  
интеллектуальной личности (2004)

Название фактора и входящие в него дескрипторы интеллектуальной личности	Нагрузка
1. Фактор культуры мышления (24,6%)	
– эрудированный	.75
– хорошо образован	.68
– интеллектуальный	.65
– логичный	.64
– хорошее математическое мышление	.64
– быстро мыслит	.61
– мастер своего дела	.61
– знает себя	.60
– хорошая память	.60
– умеет пользоваться своими знаниями	.55
– умеет вести дискуссию	.55
– много читает	.54
2. Социально-этический фактор (8,0%)	
– добрый	.72
– доброжелательный	.68
– скромный	.68
– помогает другим	.67
– честный	.65
– признает ценность других людей	.65
– тактичный	.63
– справедливый	.61
– искренний	.60
– порядочный	.58
– терпимый	.55

Название фактора и входящие в него дескрипторы интеллектуальной личности	Нагрузка
3. Фактор социальной компетентности (5,9%)	
– красивый	.65
– умеет понравиться	.64
– быстро принимает решения	.62
– хорошо говорит	.59
– с чувством юмора	.59
– хорошо действует в сложной ситуации	.59
– общительный	.56
– интересный собеседник	.56
– уверенный в себе	.55
– многое умеет	.52
– восприимчив к новому	.50
4. Фактор уравновешенности (4,8%)	
– не зависит от эмоций	.67
– спокойный	.60
– не повторяет собственных ошибок	.52
– умеет предвидеть	.51
5. Фактор целеустремленности (4,4%)	
– стремится к поставленной цели	.74
– хочет многого достичь	.72
– имеет цель в жизни	.58
– активный	.42

проводилось варимакс-вращение. Было выделено 5 факторов. Результаты представлены в таблице 11.

Можно видеть, что, в отличие от данных исследования 1990-х годов, где на первом месте в факторной структуре был социально-этический фактор, в данном исследовании на первое место выходит фактор культуры мышления. Дескрипторы интеллектуальной личности, попавшие в этот фактор (эрудированный, хорошо образован, интеллектуальный, логичный, хорошее математическое мышление, быстро мыслит, мастер своего дела, знает себя, хорошая память, умеет пользоваться своими знаниями, умеет вести дискуссию, много читает) относятся к когнитивному компоненту интеллекта. Социально-этический фактор перемещается на второе место. На третьем месте оказывается фактор социальной компетентности, который в предыдущем исследовании был на 4-м месте. Таким образом, в исследовании 2004 г. было зафиксировано изменение структуры представлений об интеллектуальности в сторону усиления когнитивного компонента.

Как видно из таблицы 11, в состав факторов культуры мышления, социально-этический и социальной компетентности вошли те же дескрипторы, что и в исследовании 1990-х годов. Факторы опытности и самоорганизации не выделились как отдельные, дескрипторы, входящие в них, распределились по всем выделившимся пяти факторам. Фактор 4 был назван фактором уравновешенности, в него вошли такие дескрипторы, как «не зависит от эмоций», «спокойный», «не повторяет собственных ошибок», «умеет предвидеть». Фактор 5 был назван фактором целеустремленности, в него вошли такие дескрипторы, как «стремится к поставленной цели», «хочет многого достичь», «имеет цель в жизни», «активный». Дескрипторы, входящие в эти факторы, описывают личностные качества умного человека и относятся, скорее, к его социальным качествам, чем к когнитивным. Первый фактор объясняет 24,6% общей дисперсии, что больше суммы процента общей дисперсии остальных четырех факторов (23,1%), относящихся к социальному компоненту интеллекта. Это говорит о более высокой значимости когнитивного компонента интеллекта по сравнению с социальным.

В данном исследовании была также определена факторная структура представлений об интеллектуальной личности у школьников 14–16 лет, учащихся 8–10-х классов. И в факторной структуре представлений об умном человеке школьников на первое место выходит когнитивный компонент интеллекта. Факторы по значимости распределены так же, как и у взрослых: на первом месте фактор культуры мышления, на втором – социально-этический фактор и на третьем – фактор социальной компетентности. В выделившиеся три фактора входят в основном те же дескрипторы, что и в первые три фактора, выделившиеся в результате статистического анализа данных, полученных от взрослых респондентов.

*«Вестернизация» социальных представлений об интеллектуальной личности.* Таким образом, имплицитные концепции интеллектуальности претерпевают явную «вестернизацию»: сдвиг от социального в сторону когнитивного фактора, который занимает первое место; социальный уходит на второе место. Вместе с тем на основании результатов нашего исследования динамики имплицитных концепций интеллекта можно говорить об устойчивости двух основных факторов – когнитивного и социального. Оба эти фактора были выделены и в исследовании 1990-х годов, и в 2004 г., но их соотношение инвертировалось. Несмотря на отмеченную «вестернизацию», и в исследовании 2004 г. продолжает выявляться

*социально-этический фактор, который не обнаруживается в американской выборке (Sternberg, 1981).* И к сегодняшним дням может быть отнесено высказывание К. Д. Кавелина, относящееся к XIX веку: «Мы оевропеились, оставаясь русскими по-прежнему» (1989, с. 64).

Эмпирически обоснованный вывод о «вестернизации» находится в соответствии с феноменом, обнаруживаемым при рассмотрении взаимодействия русской и западной культур (в настоящее время в особенности американской): русская («культура-акцептор») подвержена влиянию западной («культуры-донора») в большей мере, чем западная влиянию русской. Подчеркивается, что эта направленность влияния особенно выражена в периоды политической и экономической нестабильности. Данная направленность рассматривается как «количественная асимметрия», которая проявляется в том, что стороны в различной степени заинтересованы в получении информации друг о друге. Интересно отметить в связи с разбираемой проблемой понимания интеллектуальности, что, подвергаясь такому влиянию, русские считают американцев недостаточно душевными и слишком деловитыми, а американцы считают, что русские ведут себя нелогично и иррационально (Леонтович, 2005).

*Можно было бы полагать, что наш вывод согласуется и с предположением, высказанным Д. М. Буланиным (2005) о том, что носители интеллектуальности в России утрачивают в настоящее время ту характеристику, обладание которой отличало нашу интеллигенцию (моральность, этичность знания).* Однако имеются соображения, которые позволяют предполагать, что эта характеристика есть особенность культуры в целом и утрачена она быть не может.

*Устойчивые и изменчивые характеристики обыденных концепций интеллектуальности: сопоставление с концепцией «ядра» и «периферии» социальных представлений.* Действительно, полученные данные показывают, что изменения, происходящие в российском обществе и в российском менталитете, отражаются в модификации обыденных концепций интеллектуальности. Однако в то же время последние имеют и устойчивые характеристики. Изменчивые и устойчивые характеристики, по-видимому, могут быть связаны с наличием у социальных представлений, наряду с подверженной модификациям «периферии», постоянного «ядра». Такая структура социальных представлений была установлена в работах ряда авторов с помощью разнообразных процедур, включающих как количественный, так и качественный анализ (Abric, 1984, 1993; Vergès, 1992; Flament, 1994; Guimelli, 1993; Lahlou, 1995, 1996; Moliner, 1995; и др.).

«Центральная система» или «ядро» представлений, как считают авторы, определяется историческими, социологическими и идеологическими условиями. Ядро представлений стабильно, когерентно, согласовано и связано с коллективной памятью и системой ценностей. В работах J. C. Abric особо подчеркивается роль ценностей в образовании центрального ядра представлений. Периферия, напротив, более сензитивна и определяется ближайшим контекстом. Она является «посредником» между «реальностью» и ядром.

Следует подчеркнуть, что в факторы культуры мышления, социально-этический и социальной компетентности в исследованиях 1990-х годов и 2004 г. как у взрослых респондентов, так и у школьников входят одни и те же дескрипторы интеллектуальной личности. Такое постоянство дескрипторов, выделяющихся в составе этих факторов, позволяет предположить, что факторы культуры мышления, социально-этический и социальной компетентности образуют устойчивые характеристики социальных представлений об интеллектуальной личности, которые могут быть сопоставлены с «ядром» представлений, определяемым в работах цитированных выше авторов. Тогда другие, менее устойчивые факторы могут быть сопоставлены с «периферийным» слоем представления: если в 1990-х годах выделялись факторы самоорганизации и опытности, то в 2004 г. выделяются факторы уравновешенности и целеустремленности. Таким образом, результаты наших исследований выявили динамику в социальных представлениях об интеллектуальности, которая касается не только периферии, что очевидно, но и ядерного слоя. В ядерном слое социальных представлений об интеллектуальности меняется значимость разных факторов, хотя дескрипторы этих факторов постоянны.

Были получены данные (Marková et al., 1998), свидетельствующие в пользу существования периферии и ядра в социальных представлениях о личности. Авторы исследования выясняли, как повлияли долгие годы пребывания в социалистическом блоке на эти представления в посткоммунистических центральноевропейских странах: Чехии, Словакии и Венгрии. Сравнение полученных результатов с теми, которые были обнаружены при анализе социальных представлений о личности в Шотландии, Англии и Франции, позволило предположить, что, несмотря на 40-летний период «тоталитарного коллективизма», ядро индивидуалистских представлений (которое описывалось в терминах «права человека», «свобода», «демократия», «законность», «права меньшинств») не изменилось

и соответствует таковому в западноевропейских странах. Периферия же претерпела определенные изменения. Авторы, однако, полагают, что ядро также может быть подвержено изменениям, хотя и значительно более медленным и выраженным, чем периферия. Это предположение согласуется и с нашими данными, если принять предлагаемое здесь сопоставление. Устойчивость ядра может объясняться тем, что динамика структур как субъективного опыта, так и культуры имеет своей основой наслоение новых элементов на ранее сформированные, а не замену старых новыми. Согласно с этим объяснением, С. Voelklein и С. Howarth (2005) отмечают, что «новые» социальные представления, которые кажутся несовместимыми с «традиционными», в действительности не замещают последние, а сосуществуют с ними.

Наличие устойчивого ядра и изменчивой периферии обнаруживается, по-видимому, и при анализе динамики ценностных ориентаций личности в связи с социально-экономическими изменениями. Отмечается, что одни ценности фактически не подвергались трансформации на протяжении периода исследования (1994–2001), а ряд других являлись чрезвычайно динамичными (Журавлева, 2006, с. 99).

Выше мы отмечали, что старые элементы культуры, сохраняясь, могут претерпевать модификации при их повторной актуализации. Подобная модификация может быть сопоставлена с реконсолидационными изменениями элементов субъективного опыта, т. е. с модификациями, которые претерпевает ранее сформированная и упроченная (консолидированная) память после ее актуализации (см., например: Sara, 2000; Nader et al., 2000). На психологическом уровне реконсолидация может иметь определенное отношение к следующему свойству эпизодической памяти: «Любой акт сознательного припоминания... образует новую «запись» в эпизодической памяти» (Величковский, 2006, с. 400).

Особой формой модификации «старых» элементов культуры может быть та, которая обусловлена появлением и «наслоением» новых элементов, включением их в существующую структуру культуры. Эта форма может быть сопоставлена с тем уже упоминавшимся выше видом реконсолидации, которая наблюдается при научении, формировании новых элементов опыта и вписывании их в имеющуюся структуру опыта, которую мы назвали аккомодационной (приспособительной) реконсолидацией (Александров, 2005а). *Изменение устойчивой части социальных представлений (вероятно,*

сопоставимого с «ядром» у *Abric, Vergès* и др.) может быть рассмотрено как вариант «аккомодационной реконсолидации элементов», входящих в структуры субъективного опыта и культуры.

Идея о постоянных и изменчивых компонентах социальных представлений не нова. Так, в конце XIX в. ее в четкой форме высказывал Г. Лебон: «Изучая верования и мнения какого-нибудь народа, мы наталкиваемся в глубине на очень стойкое основание, на которое наслаиваются мнения, столь же подвижные, как и песок, покрывающий какую-нибудь скалу» (1998, с. 209–210).

R. E. Nisbett с соавт. (2001) на основе обзора значительного эмпирического материала, полученного при сравнении специфики когнитивных процессов у индивидов, принадлежащих к восточной (азиатской) и западной культурам, приходит к заключению, что утверждение об универсальности этих процессов неверно (см. также: Леонтович, 2005).

В первой из культур *континуальность* рассматривается как принципиальное свойство мира, во второй – он представляется *дискретным*, состоящим из обособленных объектов. В первой относительно мало используется формальная логика, но применяется *холистический подход* и «*диалектическая*» аргументация. Во второй – *аналитическое мышление*, большее внимание к *отдельному объекту*, чем к целостности. Если в первой важен принцип изменения, в соответствии с которым реальность – процесс, т. е. она не статична, а изменчива и, следовательно, вещь может быть не идентична себе самой из-за текучей природы реальности, то во второй действует закон, в соответствии с которым  $A = A$ , т. е. вещь идентична самой себе. Поскольку изменения постоянны, постоянны и противоречия; старое и новое существуют в одном и том же объекте и явлении и зависят друг от друга; ничто в природе не изолировано и все взаимосвязано, поэтому изоляция элементов и целого может вести лишь к заблуждениям, считается в восточной культуре. В западной принято считать, что  $A \neq \text{не-}A$ . Утверждение не может быть одновременно справедливым и ложным.

Для нашего обсуждения принципиально подчеркнуть, что эти различия обнаруживаются при сопоставлении древнего Китая с Древней Грецией (VIII–III вв. до нашей эры) и продолжают сохраняться до сих пор, характеризуя особенности современного Китая и других азиатских стран по сравнению с Северной Америкой и Европой, а также со странами, находящимися под европейским влиянием.

Авторы связывают эту устойчивость с тем, что на протяжении истории оставались различными «социальные системы» сравнимых культур: восточная на протяжении многих столетий оставалась коллективистской, западная – индивидуалистской. Авторы подчеркивают, что социальная и когнитивная практики поддерживают друг друга. Это заключение находится в соответствии и с полученным нами эмпирическим материалом. Интерпретируя отмеченную взаимозависимость, можно сказать, что культура определяет формирующиеся в ней специализации нейронов, последние – формирование соответствующей им культуры.

Сходные идеи высказывались ранее К. Левиным (2000). Обсуждая пути и возможности послевоенной перестройки и демократизации нацистской Германии, он подчеркивал, что как бы ни закончилась предполагаемая модификация, культура страны останется специфически немецкой. В ней будет фиксирован путь формирования страны, в том числе «экстремальный опыт войны и нацизма». И так будет в любом случае, даже при полном успехе демократизации. Послевоенная история Германии в полной мере подтвердила правоту К. Левина.

И Н. А. Бердяев (1991а, б) отмечал, что Россия, являясь христианским Востоком и подвергаясь сильному влиянию Запада, усваивала западные идеи, но лишь в «своем верхнем культурном слое» (см. также аналогию 3 между системными структурами субъективного опыта и культуры). Значительно позже человек, который хорошо знал и Запад, и Россию – А. А. Зиновьев, настаивал на том, что «как бы русские... ни подражали всему западному... Россия никогда не станет частью Запада» (1995, с. 16). В России действовали и действуют факторы «ментального ограничения вестернизации» (Алексеев, Симагин, 1996), которые и в настоящее время обуславливают реализацию народом архаических (традиционных) моделей поведения в условиях господства на официальном уровне западных культурных символов, идеологических и правовых представлений (Бочаров, 2000).

*Специфика русской культуры.* В пользу нашего предположения об устойчивости исследуемых представлений свидетельствуют не только общие соображения о структуре и динамике культуры, но и представления об основах специфичности русской культуры.

Для начальных этапов исследования и описания «русского характера и русской души» был характерен акцент на отрицательных качествах русского характера. Прежде всего этот негативизм

относился к русскому мышлению, которое характеризовалось как нелогичное, несистематическое, утопичное. Так, А. П. Шапов утверждал, что для русских характерно отсутствие самостоятельного мышления, они внушаемы и легко поддаются чужому мнению (см.: Марцинковская, 1994). Не исчерпана была эта тенденция и в следующем веке. Негативную оценку русскому уму дал И. П. Павлов в апреле – мае 1918 г. в лекциях об уме, в частности об уме русском (1999). (Заметим, из текста лекций с очевидностью следует, что И. П. Павлов давал эту оценку, будучи чрезвычайно угнетен происходящими тогда в России событиями.) Автор отмечал, что русские не склонны к сосредоточенности, обстоятельности, *детальности* мысли, предпочитая им действия с налета, быстроту и натиск. Русский ум не следует фактам, но вместе с тем – свобода мысли не является его качеством. Отсутствует *беспристрастность*, стремление к *простоте* (вместо нее – туманность). Нет достаточно внимания к возражениям оппонентов. (Как нам представляется, некоторые приведенные характеристики выглядят так, как если бы они появились в ходе гипотетической оценки методов и стиля «неправильного» азиатского мышления с позиций западного; см. выше сопоставление этих типов мышления: R. E. Nisbett с соавт., 2001). К. Д. Кавелин (1989) считал, что русские сильны скорее инстинктом, неясными стремлениями, непосредственным чувством, чем разумом. О слабости рационального мышления и сильной интуиции писал Н. А. Бердяев, когда сравнивал «необъятность и бесконечность русской земли и русской души»: «В душе русского народа есть такая же необъятность, безгранность, устремленность в бесконечность, как и в русской равнине. Поэтому русскому народу трудно овладеть этими огромными пространствами и оформить их. У русского народа была огромная сила стихии и сравнительная слабость формы. Русский народ не был народом культуры по преимуществу, как народы Западной Европы, он был более народом откровений и вдохновений, он не знал меры и легко впадал в крайности. У народов Западной Европы все гораздо более детерминировано и оформлено, все разделено на категории и конечно. Не так у русского народа как менее детерминированного, как более обращенного к бесконечности и не желающего знать распределения по категориям» (1990а, с. 78).

В качестве одной из особенностей русского менталитета рассматривается целостный характер русского мышления. «Русское мышление гораздо более тоталитарно и целостно, чем мышление

западное, более дифференцированное, разделенное на категории» (Бердяев, 1990а, с. 98). Наиболее отчетливо эту идею выражали славянофилы и, в частности, Ив. Киреевский, который сформулировал типичные черты различия России и Европы: «Три элемента на Западе: Римская церковь, древне-римская образованность и возникшая из насилий завоевания государственность, были совершенно чужды Руси... Богословие на Западе приняло характер рассудочной отвлеченности, – в православии оно сохранило внутреннюю целостность духа; там развитие сил разума, – здесь стремление к внутреннему, живому... Раздвоение и целостность, рассудочность и разумность, будет последним выражением Западной Европы и древне-русской образованности» (цит. по: Бердяев, 1990а, с. 98).

Размышляя об особенностях русской «душевной жизни», Н. А. Бердяев писал: «Западная душа гораздо более рационализована, упорядочена, организована разумом цивилизации, чем русская душа, в которой всегда остается иррациональный, неорганизованный и неупорядоченный элемент. Поэтому русская душевная жизнь более выражена и выражена в своих крайних элементах, чем душевная жизнь западного человека, более закрытая и подавленная нормами цивилизации... Русские гораздо более социабельны... более склонны и более способны к общению, чем люди западной цивилизации» (1991б, с. 253).

В основе «русской души» лежат два противоположных начала: природная, языческая дионисическая стихия и аскетически-монашеское православие. «Можно открыть противоположные свойства в русском народе: деспотизм, гипертрофия государства и анархизм, вольность; жестокость, склонность к насилию и доброта, человечность, мягкость; обрядоверие и искание правды; индивидуализм, обостренное сознание личности и безличный коллективизм; эсхатологически-мессианская религиозность и внешнее благочестие; искание Бога и воинствующее безбожие; смирение и наглость; рабство и бунт» (Бердяев, 1990а, с. 78).

Причину существования двух начал в субъективном мире русского человека Н. А. Бердяев, как уже было отмечено выше, видел во взаимодействии в России двух потоков – восточного и западного. «Противоречивость и сложность русской души может быть связана с тем, что в России сталкиваются и приходят во взаимодействие два потока мировой истории – Восток и Запад. Русский народ есть не чисто европейский и не чисто азиатский народ. Россия есть целая часть света, огромный Востоко-Запад, она соединяет два мира.

И всегда в русской душе боролись два начала, восточное и западное» (1990б, с. 78; см. рисунок 8).

Ю. М. Лотман и Б. А. Успенский (1977), говоря о динамике русской культуры, подчеркивали, что на каждом следующем этапе ее развития в изменившийся исторической обстановке одни и те же понятия могут наполняться новым содержанием. И в постоянстве и цикличности подобных изменений авторы видели свидетельство единства русской культуры на разных этапах ее истории. Именно в изменениях, подчеркивали авторы, обнаруживается в ней неизменное.

При этом уже не раз происходившая «европеизация» не имела ничего общего с реальным сближением с западным укладом. Если она и оказывала определенное влияние, то не на народные массы, и это влияние увеличивало и без того имеющуюся «пропасть... между народом и образованными классами» (Трубецкой, 1992, с. 339). В чем же предположительно может состоять эта особенность русской культуры, которая согласуется с указанными ее свойствами и одновременно объясняет специфику социальных представлений об интеллектуальной личности, отличающихся от западных?

Выраженная «бинарность», «полярность» «исключительно характерна» для русской культуры (начиная с Древней Руси – Успенский, 1994, с. 320), в том числе для России конца XVIII в. (Лотман, Успенский, 1977) и для современной России (Юрков, 2003). Любой культурный феномен относится либо к сакральному, либо к кощунственному. Нейтральность почти отсутствует. Что касается западной культуры, в ней, напротив, существует «широкая полоса нейтрального поведения», не являющегося ни «святым», ни «грешным», ни «плохим», ни «хорошим». Нейтральная зона стала нормой, а отклонение от нее – редкой аномалией (Лотман, Успенский, 1977). С полярностью связано, по всей видимости, и то свойство русского человека, которое описывается как отвращение к любым компромиссам и неумение их достигать (Астафьев, 1996).

Подчеркнем, что в соответствии с нашими представлениями во всех культурах любое поведение формируется индивидом в связи с одним из доменов: «хорошо» или «плохо». Принадлежность к «нейтральной» зоне с этих позиций означает, что акты, внешне одинаковые, могут принадлежать к разным доменам (см. перекрытие доменов на правом фрагменте рисунка 2).

Описанная характеристика русской культуры находит отражение в языке. Частота употребления таких слов, как «дурак»,

«глупый», «идиот», «абсолютно», «совершенно», «ужасно» и т. п. во много раз превосходит частотность соответствующих английских слов. Например, слово «абсолютно» – 166, а «absolutely» – 0 и 12 (по разным источникам); «совершенно» – 365, а «utterly» – 27 и 4 (Вежицкая, 1999).

Жесткая дихотомия приводит к необходимости (Юрков, 2003) для субъекта в части случаев реализовывать «антиповедение», т. е. «поведение наоборот», представляющее собой замену регламентированных норм на их противоположность и занимающее большое место в русском культурном обиходе (Успенский, 1994, с. 320). Так, в определенных ситуациях в русской культуре «в неправедных ситуациях» «праведное» поведение не считается должным. Более того, правильное поведение в неправильном месте – кощунственно. В то же время запретное «антиповедение» в других ситуациях не только не запрещается, но даже предписывается. «Интуиция «нормального человека» ... основывается на «непоколебимой уверенности в том, что *только среди своих (в мире добра) надо говорить правду и нехорошо лгать, а среди врагов (в мире зла), наоборот, надо обманывать и нельзя говорить правду*» (Лобовиков, 2003, с. 65).

В связи с только что сказанным отметим следующую принципиальную характеристику, выявляемую многими исследователями при анализе культур, находящихся на границе между западными и восточными традициями: «поляризация» и постоянное колебание между «полярными тенденциями», такими, например, как открытость и закрытость, космополитизм и охранительность. Предполагается, что подобные культуры обладают большей сложностью, чем западные и восточные «в чистом виде» (см.: Кондаков, 1998).

Поскольку характер противопоставления норм их противоположности заранее не определен (Успенский, 1994), а понимание ситуативных детерминант (в том числе соответствующее время, место) может серьезно варьировать, «в жизни часто бывает нелегко понять, какой поступок в данной... ситуации будет хорошим или плохим» (Знаков, 2005в, с. 14).

В частности, оказывается важно не только, а возможно, и не столько «содержание» знания, как от кого, где, когда оно получено. Как подчеркивают Ю. М. Лотман и Б. А. Успенский (1977), центр внимания в оценке информации переносится на вопрос, от кого можно получить истинную информацию, в правильном ли месте она получена. В русской культуре распространено убеждение в том, что ложь – «вполне допустимый в межличностных отношениях

способ достижения справедливости», вранье – специальный коммуникативный прием, а не дезинформация (Знаков, 2005а, с. 416, 370).

Видимо, эмпирические данные, полученные В. В. Знаковым не находятся в согласии с утверждением Л. И. Шестова о том, что «мы разрешаем себе величайшую роскошь... – правдивость... мы думаем, что можем говорить одну только правду, что всякая ложь, скрывающая нашу истинную сущность, есть преступление... Расскажите это европейцу – оно покажется ему забавнейшим анекдотом... Европейец все силы своего ума и таланта... направляет к тому, чтобы сделать себя и все окружающее возможно менее обнаженным» (1991, с. 176). Зато эти данные хорошо согласуются с результатами наблюдений И. Киреевского: «Русскому человеку легко солгать. Он почитает ложь грехом общепринятым, неизбежным, почти не стыдным, каким-то внешним грехом, происходящим из необходимости внешних отношений, на которые он смотрит, как на какую-то неразумную силу. Поэтому он, не задумавшись, готов отдать жизнь за свое убеждение... и в то же время лжет за копейку барыша, лжет за стакан вина, лжет из боязни, лжет из выгоды, лжет без выгоды...» (см.: Кожин, 2002, с. 122).

Несчастьем русской интеллигенции называет Н. А. Бердяев (1990а) представление интеллигенции о том, что справедливость важнее истины, о том, что важнее не истинность или ложность теория, а то, насколько она соответствует прогрессивной идее (Бердяев, 1991а). Главным критерием для русского интеллигента, сожалеет С. Л. Франк (1991), является моральный: разграничение поступков на хорошие и дурные, добрые и злые, а «научная истина, строгое и чистое знание ради знания» ему не нужно. В научных системах он ищет не истину, а пользу для жизни, поскольку символ его веры – благо народа.

Имея в виду особую роль русской интеллигенции, можно предположить, что эта ее позиция оказывает существенное влияние на социальные представления, формирующиеся в русской культуре. Интересно, что иностранцы отмечали данную особенность русских. Немцы специально подчеркивали в памятке для воинских частей «10 заповедей обращения с русскими», составленной, вероятно, в 1943 г., что нет ничего в такой же степени ненавистного русским, как несправедливость (Из фондов..., 1943).

Наличие в русской культуре строгой, выраженной и регламентированной полярности, с одной стороны, и необходимости принимать зачастую непростые, но совершенно необходимые решения

о ценностной характеристике любого или почти любого поступка, явления (отнесение его к домену «хорошо» или «плохо»; рисунок 2), – с другой, обусловило, по-видимому, неизбежность морального отношения ко всем этим поступкам и явлениям (в том числе к уму и знанию). Подобные представления согласуются с выводом, к которому приходит К. А. Абульханова (2002) на основании синтеза результатов, полученных в многочисленных исследованиях российского менталитета: морально-этическая характеристика присуща всем социальным представлениям. К сходному выводу о «фундаментальной укорененности этики в системе мировоззрения» приводит также философский анализ русской этики (История этических учений, 2003, с. 772). Западник П. Я. Чаадаев обладал (хотя встречаются и противоположные утверждения) именно русской ментальностью: «Чтобы размышлять, чтобы судить о вещах, необходимо иметь понятие о зле и добре. Отнимите у человека это понятие... он не будет существом разумным. И эта-то несовершенная идея... вложенная в нашу душу, составляет всю сущность разумного человека» (1991, с. 365).

Можно говорить о существовании в языке «культуроспецифичных слов», которые «представляют собой понятийные орудия, отражающие прошлый опыт общества касательно действий и размышлений о различных вещах определенными способами; и они способствуют увековечению этих способов» (Вежбицкая, 1999, с. 269). Об одном из таких слов, о слове «интеллигенция» применительно к выявлению особенностей русской культуры уже было сказано выше.

Ценностная характеристика любого или почти любого поступка в русской культуре, о которой говорилось только что, связана, по всей видимости, с наличием в ней специальной группы «культуроспецифических» слов. К ним относится слово «пошлость», «истина», «мерзавец», «подлец». Эти и другие подобные русские слова и выражения отражают тенденцию оценивать (осуждать), высказывать моральные оценки, делать акцент на абсолютных и высших ценностях (Вежбицкая, 1999).

Узость «нейтральной» зоны при сравнении с западной культурой и связанная с ней постоянная необходимость ценностной оценки поступков и явлений в культуре русской, возможно, обуславливают существенные различия в субъективных оценках качества жизни у людей, живущих в этих культурах. Исследования воспроизводимо демонстрируют, что в России люди ощущают себя менее счастливыми (Diener, Oishi, 2004; Zavisca, Hout, 2005).

Оказывается, что «уровень счастья» в стране высоко (0,6–0,7) коррелирует с национальным доходом. Однако внутри каждой страны не удается обнаружить устойчивой связи уровня дохода индивидов с ощущением счастья. Предлагается, следующее объяснение этого кажущегося несоответствия. Высокий уровень жизни страны не является причиной того, что ее граждане ощущают себя счастливыми. Высокий уровень и счастье являются двумя разными характеристиками одного культурного свойства – индивидуализма\*. В то же время более низкие уровни национального дохода и счастья связаны порознь с коллективизмом, присущим и России.

Индивидуализм, в частности, означает: люди считают непреложной истиной то, что их личное счастье важнее всего остального. Обобщение целого ряда исследований показывает, что в индивидуалистских странах человек принимает решения, ориентируясь на собственные цели, ставя их над целями общественными (Стефаненко, 2004; Лебедева, 1999). «Стремление к счастью» рассматривается в качестве эксплицитно выраженного (в США) фундаментального права человека. При реализации этого права человек может без колебаний пренебречь своими обязательствами перед обществом и даже не учитывать их вовсе (Ahuvia, 2002). Здесь «индивиды не зависят друг от друга» (Oyserman, 2002, p. 4). На Западе при работе на себя все другие люди могут рассматриваться как среда и средство (Зиновьев, 1995).

Центральное же положение коллективизма состоит в том, что «группы связывают индивидов взаимными обязательствами» (Oyserman, 2002, p. 5). Более того, коллективизм предполагает приоритет интересов и целей сообщества над личными интересами (Стефаненко, 2004) вплоть до того, что люди, преследующие индивидуалистские цели, могут подвергаться остракизму (Лебедева, 1999).

Американцы оценивают достижение счастья как более желательную, важную и достижимую цель, чем русские (Oyserman, 2002). В коллективистских же странах, в том числе в России, стремление к личному счастью часто ведет к противоречию между стремлением

\* Интересно, что термин «индивидуализм», появившийся во время французской революции, имел выраженную отрицательную коннотацию. В конце XVIII в. полагали, что рост индивидуализма, неблагоприятно сказываясь на благосостоянии общества, приводит к разрыву связей между людьми, превращению общества «в порошок индивидуальности» и его гибели (см.: Oyserman et al., 2002).

к нему и необходимостью ценностной оценки любого поступка на соответствие общественным требованиям и нормам.

«У русских... осознание себя интеллигентом или дворянином у лучших было осознанием своей вины и своего долга народу»; они не хотели «благ для себя, для одного из тысячи, если братья... страдают» (Бердяев, 1990а, с. 104, 122). В том же смысле высказывался и А. Ф. Лосев (1988). Говоря о том, что обычно интеллигентность связывается такими качествами, как доброта, вежливость, начитанность, ум, надежность, бескорытность, духовное благородство и т. п., он отмечает, что главная особенность интеллигентного человека в том, что он блюдет интересы общечеловеческого благоденствия. Причем, подчеркивает автор, эта направленность, как правило, не осознается человеком, и поэтому оказывается, что интеллигентность в определенном смысле «бессознательна». Те, кого А. И. Солженицын (2005б) называл «образованщина» «отчислялись» от интеллигенции именно по моральным основаниям (см.: Штурман, 1988).

В качестве показателя нравственной зрелости личности в коллективистском обществе рассматривается способность действовать на благо общества, человека, человечества не по внешнему велению, а по велению совести (Мансуров, 1992). Служение народу предполагает жертвенный альтруизм и убежденность в том, что аморально пользоваться благами, пока они не стали общедоступны (Франк, 1991). Неудивительно, что выраженность чувства стыда негативно коррелирует с индивидуализмом и позитивно – с коллективизмом (Oyserman, 2002).

Лексические исследования приводят к заключению, что для русских «характерно осмысление себя в первую очередь не через осознание своей индивидуальности, а через свою компанию, через друзей» (Мельникова, 2003, с. 201). Эмпирические исследования социальных представлений о счастье в России показывают, что оно тесно связано с нравственностью. При анализе этих представлений обнаруживается, что ведущим является фактор, связанный с порядочностью, спокойной совестью (Джидарьян, 2001).

Известно, что при наличии в популяции множества мирных «голубей» выигрышной оказывается поведение агрессивного «ястреба», и наоборот (см., например: Доукинз, 1993). Можно было бы думать, что в коллективистской культуре полезно оказаться счастливым, никому ничего не должным индивидуалистом. Но оказывается, что, находясь в коллективистской культуре, неэффективно вести себя

как в индивидуалистской, пренебрегая своими общественными обязательствами: в коллективистских странах индивидуализм отрицательно коррелирует со счастьем (Ahuvia, 2002).

Указанная особенность русской культуры связана также и с существованием специальных групп людей (интеллигенции), которые создавали эталоны ценностной оценки и подвергали остракизму\* за совершение несоответствующего эталону поведения. Отвечая на вопрос о значении интеллигенции, И. А. Ильин подчеркивал, что задача интеллигенции – воспитывать в себе мировоззрение и учить ему других (см.: Киселев, 2006). Отмечалось даже, что в тяжелые переходные моменты исторического развития России, например, от монархии к республике, «если и можно было на что надеяться, так только на здоровый инстинкт народа, да... на разумное руководство им со стороны интеллигенции» (Покровский, 1992, с. 257).

Ценностные эталоны создавала также журналистика и литература, с ее характерной для России «учительской» ролью (Бердяев, 1990а, б). Литераторы и интеллигенция – не одно и то же: многие влиятельные русские писатели «не носили интеллигентского лика» (Струве, 1991). Но все же для многих представлялось и представляется очевидным общее соответствие направленности их влияния: «Наличие несколько расплывчатого, но высокого гуманизма и народолюбия, которые характерны для русской интеллигенции и русской литературы 1890–1910 годов» (Медведева-Томашевская, 1996, с. 12).

*Особое отношение к литературе, ее ореол в России были связаны не в последнюю очередь со строгой цензурой, существовавшей как до, так и после 1917 г. (например: Большая цензура..., 2005; Буковский, 1996; Процесс цепной реакции, 1971; Твардовский, 2002; Чуковская, 1997; см. также в главе 4; там же см. об отношении к «официальной» литературе и литераторам).*

В этих условиях «возникла литература письменная, ускользающая от цензуры и неведомая правительству», и особенно привлекательная для антиправительственно настроенной читающей публики. Нельзя были ни царскому, ни Советскому правительствам сделать больше, чем они делали для того, чтобы привлечь наибольшее внимание к оппозиционной точке зрения и тем самым подточить основы своего существования. «Цензурные постановления так

\* Некоторыми подобный контроль воспринимался как беспрецедентно деспотичный (Гершензон, 1991). Н. А. Бердяев также отмечал, что защитников безусловного, независимого знания обвиняют в реакционности (1991).

строги, что нельзя написать ничего, имеющего человеческий смысл. Всякая мысль преследуется как контрабанда...» (Голоса из России, 1976, с. 101). «Статьи всякого содержания ходят из рук в руки переписываются в значительном количестве экземпляров, перевозятся и пересылаются из столиц в провинции и из провинций в столицы; и все это делается само собою, без всякого заранее обдуманного плана, без всякой организации... Заговорщиков здесь нет; заговорщики все принимающие какое-нибудь участие в делах отечества; а это большинство образованного класса в России... Каждый желает... узнать что-нибудь о состоянии России, о положении дел; каждый старается уяснить себе и обсудить хорошие и дурные стороны законодательства и управления, а для всего этого материалы доставляет одна только рукописная литература» (Голоса из России, 1974, с. 38, 39, 51; курсив наш. – Ю. А., Н. А.).

Не была цензура непреодолимым барьером и для пишущих, о чем предупреждал власть еще А. С. Пушкин. Будучи «убежден в необходимости цензуры в образованном нравственно и христианском обществе», он писал: «Если запретительною системою будете вы мешать словесности в ее торговой промышленности, то она предастся в глухую рукописную оппозицию, всегда заманчивую, и успехами тщеславия легко утешится о денежных убытках... Было время (слава Богу, оно уже прошло и, вероятно уже не возвратится), что наши писатели были преданы на произвол цензуры самой бессмысленной...», – оптимистично, но опрометчиво, а может быть, пытаясь влиять на власть, добавлял он (1989, с. 228–230).

В советское время цензуре подлежало все, включая спичечные этикетки и публикации в научных журналах, читаемых узким кругом профессионалов. Так, например, в № 3 журнала «Невропатология и психиатрия» за 1931 г. была опубликована статья «Случай комбинации симптоматической эпилепсии и шизофренического процесса», в которой воспроизводилась запись «брета сумасшедшей о т. Семашко и других наркомках». За цензурное упущение приказом по Главлиту политредактору Главлита при Медгизе был объявлен строгий выговор, он был снят с работы и вопрос о нем поставлен в партийной организации. Культпропу ЦК было поручено утвердить новый состав редакции журнала (Большая цензура..., 2005, с. 236–237).

По словам А. Даниэля, существовало всего два способа размножения текстов, не прошедших цензуру (как полагает автор, по недосмотру): депонирование рукописи в ВИНТИ (Всесоюзный

институт научно-технической информации) и Мосгорсправка. Неподцензурная и поэтому наиболее интригующая для многих информация черпалась из самиздата и тамиздата.

Под самиздатом (термин, не явление, вошел в употребление в середине сороковых годов прошлого века) понимается «специфический способ бытования общественно значимых неподцензурных текстов, состоящий в том, что их тиражирование происходит вне авторского контроля, в процессе их распространения в читательской среде. <...> „Тамиздат“ (термин пародийно повторяющий слово „самиздат“, которое.. в свою очередь пародировало официальное „Госиздат“) – это ... тексты, опубликованные в зарубежных издательствах и нелегально ввезенные в СССР» (Даниэль, Антология самиздата..., 2005, Т. 1, кн. 1, сс. 17, 18, 28, 33). За издание самиздата карались даже те, кто как православный националист В. Осипов настаивали на своей лояльности советской власти. За издание и распространение журнала «Вече» он получил 8 лет лагерей (Антология самиздата..., 2005, Т. 2, с. 437).

Одним из вариантов «тамиздата» были анонимные или «псевдонимные» публикации за границей. Такой путь публикации был избран, например, А. Синявским (использовал псевдоним Абрам Терц) и Ю. Даниэлем (использовал псевдоним Николай Аржак). Осуждение Даниэля и Синявского (на 5 и 7 лет исправительно-трудовой колонии строгого режима, соответственно) стало знаковым событием, «самой высокой точкой в развитии гражданского самосознания» (Белая, 1990, с. 11). В. Т. Шаламов писал, что «Синявский и Даниэль принимают бой после чуть ли не пятидесятилетнего молчания. Их пример велик, их героизм бесспорен» (Цена метафоры..., 1990, с. 13). Процесс вызвал волну возмущения и протестов как в СССР, так и за рубежом, наряду с потоком инспирированных статей и писем, клеймящих «гносных клеветников», «аморальных типов» и «отщепенцев», подписанных журналистами, писателями, руководством Союза писателей СССР, сотрудниками филологического факультета МГУ, «простыми» гражданами, которые знали о творчестве осужденных в лучшем случае из статей в газетах, посвященных бичеванию, а не анализу произведений подследственных. Интересно, что многие известные зарубежные писатели отправляли телеграммы не только в адрес официальных инстанций, но и лауреату Нобелевской премии М. А. Шолохову с просьбой приложить усилия для освобождения Синявского и Даниэля. Эти просьбы были, по меньшей мере, неэффективны.

Выступая на XXIII съезде КПСС, Шолохов сказал о Синявском и Даниэле: «Они аморальны. Мне стыдно за тех, кто пытался брать их под защиту... Попадись эти молодчики с черной совестью в памятные двадцатые годы, когда судили, не опираясь на строго разграниченные статьи Уголовного Кодекса, а „руководствуясь революционным правосознанием“ (аплодисменты), ох, не ту меру наказания получили бы эти оборотни! (Аплодисменты). А тут, видите ли, еще рассуждают о „суровости“ приговора» (см. Цена метафоры..., 1990, с. 501, 502).

Нельзя не упомянуть в связи с этим выступлением известное открытое письмо Л. К. Чуковской М. А. Шолохову. Она отмечает, что М. А. Шолохов нарушил одну из главных традиций русской литературы: традицию заступничества, что он поднялся на трибуну как представитель литературы, но держал речь «как отступник ее. Ваша позорная речь не будет забыта историей. А литература сама Вам отомстит за себя, как мстит она всем, кто отступает от налагаемого ею трудного долга. Она приговорит Вас к высшей мере наказания, существующей для художника, – к творческому бесплодию. И никакие почести, деньги, отечественные и международные премии не отвратят это приговор от Вашей головы» (Чуковская, 1990, с. 505).

Под своим именем публиковались за границей, избегая цензуру (и подвергаясь преследованиям в той или иной форме), В. Максимов, А. Солженицын, Б. Окуджава, Л. Чуковская, Л. Копелев, В. Шаламов, Е. Гинзбург, А. и Б. Стругацкие, Ф. Искандер, Г. Владимов, В. Войнович, Ф. Светов, А. Галич, Ю. Домбровский и др. Развитие тамиздата вызывало отрицательное отношение со стороны некоторых диссидентов. Не присоединяясь к этому отношению, но лишь для того, чтобы взгляд на данный аспект неофициальной общественной жизни того времени был более полным, мы приводим позицию Л. И. Бородина, создавшего Демократическую партию в 1964 г. и вступившего затем во Всероссийский Социал-Христианский Союз Освобождения Народа: «Доступность публикаций на Западе понизила интерес к самиздату и выявила у нас целое сословие работающих исключительно на Запад, причем у этой группы наших пишущих диссидентов произошла известная переориентация на западного читателя, в иных случаях даже поставившая под сомнение бескорыстность творчества, так выгодно отличавшую самиздат от официальной прессы», – писал он во второй половине 70-х годов XX века (2005, с. 174).

По-видимому, работа «исключительно на Запад» могла определяться многими факторами, среди которых, например, представления об эффективности модификации положения внутри страны через влияние на общественное мнение за рубежом или через тамиздат. Для А. И. Солженцина, например, наиболее критичным при выборе страны для эмигрантского пребывания было понять, откуда его влияние на СССР может быть максимальным. Вообще, вопрос о том, какова «иерархия мотиваций», определявших действия диссидентов, трудно выяснить даже им самим, пользуясь методами интроспекции. А уж тем более – со стороны, располагая лишь результатами «внешнего наблюдения».

Приведем все-таки один из результатов интроспекции, затрагивающий обсуждаемую проблему. Это слова А. А. Зиновьева (которого Президиум Верховного Совета СССР лишил гражданства СССР за «действия, порочащие звание гражданина СССР»). Слова касаются его книги, опубликованной за рубежом (правда, в результате хитроумной операции, проведенной автором, его «совершенно немарксистская книга» была опубликована и в СССР): «Я игнорировал все советские законы, касающиеся издания советских книг за рубежом. В дальнейшем мне удалось опубликовать еще ряд книг, тоже зачастую обходя законы и жертвуя гонораром» (2005, с. 306–307; курсив наш. – Ю. А., Н. А.). (Хотя, единичный случай лишь иллюстрирует, не доказывая, но ведь и сопоставляем его мы с мнением, а не с результатами исследования, демонстрирующими статистически достоверную динамику «уровня бескорыстности». Результатов подобных измерений нет и у нас.)

В качестве отдельной формы самиздата, называемой «магнитиздатом», существовала бесцензурная песня, записанная на магнитную ленту (Б. Окуджава, В. Высоцкий, А. Галич, Ю. Ким и др.) (Книга для учителя..., 2002).

Характерен анекдот того времени, приводимый Ю. Кимом:

– Бабушка, ты зачем «Войну и мир» на машинке перепечатаешь?

– Для внука стараюсь. Он ничего, кроме самиздата, не читает (Антология самиздата..., 2005, т. 1, кн. 2, с. 4).

Власть признавала опасность для себя самиздатского способа распространения неподконтрольной информации, занималась этой проблемой на самом высоком уровне, боролась с самиздатом. Председатель КГБ СССР Ю. В. Андропов писал в ЦК КПСС в 1969 г.: «В последние годы среди интеллигенции и молодежи

распространяются идеологически вредные материалы в виде сочинений по политическим, экономическим и философским вопросам, литературных произведений, коллективных писем в партийные и правительственные инстанции, в органы суда и прокуратуры, воспоминаний «жертв культа личности», именуемых их авторами и распространителями «внецензурной литературой» или «самиздатом» ... «Самиздат», как правило, распространяется путем передачи из рук в руки рукописных, отпечатанных на пишущих машинках, размноженных фотоспособом или на ротаторных аппаратах документов. К распространению произведений «внецензурной литературы» примазываются и спекулятивные элементы, которые сбывают их за деньги и извлекают из этого материальную выгоду. Для пропаганды «самиздата» иногда используются всякого рода полуофициальные диспуты, конкурсы песен, концерты, устраиваемые самодеятельными клубами, литературными объединениями, чему способствует пребывание в ряде случаев во главе таких коллективов беспринципных в политическом отношении руководителей. Факты изготовления и распространения «самиздата» отмечались чаще всего в Москве. Появление «самиздатовских» произведений и документов фиксировалось также в Ленинграде, Киеве, Одессе, Новосибирске, Горьком, Риге, Минске, Харькове, Свердловске, Караганде, Южно-Сахалинске, Обнинске и некоторых других городах и районах страны... Учитывая, что распространение политически вредной литературы наносит серьезный ущерб воспитанию советских граждан, особенно интеллигенции и молодежи, органы госбезопасности принимают меры, направленные на пресечение деятельности авторов и распространителей «самиздата» и на локализацию отрицательного влияния «внецензурных» произведений на советских людей. В 1969 г. значительное число причастных к деятельности «самиздата» лиц профилактировано с помощью общественности. Несколько злостных авторов и распространителей документов, порочащих советский государственный и общественный строй, привлечены к уголовной ответственности...» (Архив общества «Мемориал»..., л. 72–75).

Чрезвычайно распространенным способом избегания цензуры было использование понятных читающей публике аллюзий, т. е. стилистических фигур, содержащих отчетливый намек на некий литературный, исторический, политический факт. Так, часто критически описывались порядки в капиталистической стране, но было ясно – речь о нас (или и о нас). Одним из примеров

является басня Демьяна Бедного «Борись или Умирай», написанная от лица мифического персонажа – Конрада Роткемпфера, которую автор принес в газету «Правда» в 1937 г.

*...Родина моя, ты у распутья.  
Твое величие превращено в лоскутья.  
Ты перестала быть культурною страной.  
Я прохожу среди фашистского эдема,  
Где радость, солнце и цветы.  
...  
Где благоденствуют и люди, и скоты,  
И птицы.  
Чем не эдем?  
Настало житье божественно-благое.  
Газеты пишут так. Меж тем,  
В народной глубине – там слышится другое...  
А речи тайные послушать у народа –  
Все получается как раз наоборот:  
Фашистский, дескать, ад давно пора похерить.*

Письма во власть, которые мы приводим ниже, демонстрируют, какие расхождения между «тайными речами» и официальной прессой можно было видеть в СССР. Басня Д. Бедного – яркий пример. По поводу этой басни Мехлис (отв. редактор «Правды», зав. отд. печати и издательств ЦК) послал письмо Сталину, Молотову и Ежову, демонстрируя, что он, конечно, прекрасно уловил аллюзию. Уловил ее и Сталин, который писал по поводу басни: «Как критика советского строя (не шутите!), она глупа, хотя и прозрачна» (Большая цензура..., 2005, с. 476–477).

Легко улавливала аллюзии и читающая публика. Так, А. В. Белинков – автор известной литературоведческой книги «Юрий Тынянов» (1960), полной аллюзий и имевшей, как и ее автор, трудную судьбу, в письме, направленном в Союз писателей в 1968 г., писал: «В своих работах, напечатанных в советских издательствах, я, когда уже не было никакой иной возможности, называл злодейство Иваном Грозным или Павлом I... Из сотен писем я узнал, что мои читатели хорошо понимают, кто – Иван Грозный. Но Павел I и Иван IV – это не только аллегории... и аллюзии. Они – ваш источник и корень, ваше происхождение, ваше прошлое... (2005, с. 90–91). Это пример интересен тем, что автор сам документально подтверждает использование аллюзий.

В самиздате попадали тексты, относящиеся к очень далеким историческим эпохам и формально, казалось бы, не могущие иметь никакого отношения к существующей власти. Так в 1960-е годы в самиздате распространялся текст, относящийся к X в. н.э. (из «Книги времен»), повествующий об упадке Ханьской династии: «Основателями нового государства были бескорыстные фанатики и просвещенные мыслители. Они были властолюбивы и честолюбивы... Незримая цель представлялась им осязаемо близкой и казалась им такой прекрасной и великой, что превосходила все законы, божественные и человеческие, оправдывала и кровавые жертвы, и насилия, и даже злодеяния, которые они полагали нужными, чтобы осилить злодеев, препятствующих их добрым намерениям... Но попирая законы и творя зло, они выпестовали палачей, которые уже не признавали ничего, кроме своего ремесла, бездумно убивали своих недавних наставников и повелителей и, громогласно славя все те же великие благие цели государства, истребили больше его друзей и подданных, чем все враги. И тогда новыми правителями стали своекорыстные лицемеры и скудоумные невежды. Они тоже были властолюбивы, но для них власть была уже не средством, а единственной целью, ибо означала благополучие... Все же они чувствовали, а иные и понимали, что их речи и письма противоположны их делам, что слава мертвых святых лишь усугубляет бесславие их жизни. Поэтому они лгали. Всегда и всем. Лгали торжественно, жречески и буднично, казенно... И они надеялись, что слова лжи, повторяемые миллионы раз оглушительно громко, могут убить правду, приглушенную до шепота, обреченную на безмолвие. Но тщетно...» (Архив общества «Мемориал»..., л. 154–156). У читателей не могло быть сомнений в том, сходство с каким периодом и какой страной имеют в виду люди, распространяющие этот текст: с послереволюционной Россией.

Естественно, что данный прием широко использовался и в до-революционной России, цензурные ограничения в которой были строги. Например, К. С. Станиславский (1982), выступая в московском литературно-художественном кружке, отмечает, что цензура существует во всех областях искусства и литературы, но театр страдает особенно. Он просто «задыхается» от цензуры. Докладчик подробно описывает одиннадцать инстанций, которые должны пройти драматические произведения, перед тем как «увидят свет рампы».

Лозунг «Долой самодержавие!» в подцензурной литературе того времени заменялся критикой «бюрократии», под которой

подразумевалась, и все это понимали, власть монарха и его назначенцев. Читались стихи о «грозе» (революции) и на вечерах собирались жертвоприношения на «нее» (революцию) (Смирнов, 1998).

Исследования демонстрируют, что для русской ментальности характерно *противопоставление закона и совести* (Воловикова и др., 1996; Астафьев, 1996). Авторы подчеркивают наличие постоянного *антагонизма между правящей элитой* (в определенном смысле закон представляющей) *и народом* (Успенский, 1994, 2002; Книга для учителя..., 2002). Н. Н. Алексеев (1998) считал что такого, как в России, разрыва между духовной жизнью народных масс, с одной стороны, и высших классов, с другой, нельзя увидеть ни в одной стране Западной Европы.

Можно привести отрывки из писем обычных людей, ярко демонстрирующие упомянутый антагонизм. «Страшно становится, когда видишь все усиливающуюся деморализацию, проникающую во все классы населения. Причина ее коренится в лицемерии и неправде, составляющих основу деятельности нашего правительства, и в эгоизме привилегированных классов. Благодаря этому пропасть, отделяющая государственную власть от страны, все расширяется, и в населении воспитывается чувство злобы и ненависти, которые заглушают в нем веру и любовь» (Из отчета о перлюстрации..., 1908, с. 144–145). «Что... можно ожидать от такого солдата, который привык ненавидеть каждого начальника как злейшего своего врага, которому он воздаст сторицею при первом удобном случае. 1905 г. все-таки рано или поздно придет обратно, и тогда русский народ сметет как пыль всю сволочь, которая живет его потом и кровью, надругается над ним, считая его своим рабом, которого сотворил Бог для их потребностей. При первой войне, при первом возмущении внутри государства русский нижний чин докажет, что и он имеет человеческие права и чувства, и тогда горе всей сволочи, обирающей и терзающей русского мужика» (Политические партии..., 1999, с. 182).

Наличие антагонизма, по-видимому, осознавалось властью, но мало что делалось для его преодоления. После падения Порт-Артура во время аудиенции у царя П. Д. Святополк-Мирский, спрошенный царем о программе его возможных действий по исправлению ситуации в России, сказал, что *главное – покончить с противопоставлением «мы» и «они», т. е. власти и общества*. Царь согласился с ним.

Эти слова были охарактеризованы в газете «Новое время» как шаг вперед впервые за 100 лет (Смирнов, 1998).

В связи с наличием отмеченного антагонизма *важной характеристикой интеллигенции была невключенность ее в правящую бюрократию*. Интеллигент всегда оппозиционен государству (Киселев, 2006; Кожинов, 2002), даже враждебен ему (Струве, 1991), он противопоставляет духовные ценности государственной системе. Из представления А. Ф. Лосева (1988) о стремлении к обеспечению «общечеловеческого благоденствия» как основной характеристике интеллигентности следует, что нельзя представить себе интеллигента, равнодушного к несовершенству жизни. Интеллигент испытывает к несовершенствам инстинктивное отвращение. Отсюда следует, что интеллигентным может быть назван только критически мыслящий человек, – заключает Лосев.

Указанное противопоставление выражено весьма жестко в письме П. А. Вяземского к А. И. Тургеневу: «Неужели можно честному русскому быть русским в России? Разумеется нельзя. Русский патриотизм может заключаться в ненависти к России – такой как она нам представляется» (см.: Чаадаев, 1991, с. 463).

Хотя противостояние было перманентной характеристикой отношений между властью и обществом, но характер его мог меняться на разных этапах развития. А. И. Солженицын, сравнивая ситуацию в предреволюционной России, отраженную в «Вехах», с таковой в СССР, писал: «Принципиальная напряженная противопоставленность государству. (Сейчас – только в тайных чувствах и в узком кругу отделение своих интересов от государственных, радость от всякой государственной неудачи, пассивное сочувствие всякому сопротивлению, своя же на деле – верная государственная служба.)» (2005б, с. 255). Но и государство противопоставляло себя обществу иначе: в царской России «лагерей – вообще не было, и понятия даже такого. Отсидочных тюрем – очень мало, и поэтому политические (кроме крайних террористов) <...> посылались в благополучную и сытую ссылку..., где никто не принуждал их к труду... Всякое следствие велось в строгой законности по устоявшимся законам, всякий суд – открыт и с участием адвокатуры. Секретная полиция в сумме по всей стране имела штатов меньше, чем сегодня гозбезопасность одной Рязанской области» (Солженицын, 1981, с. 312).

В условиях секуляризации интеллигенция приняла на себя функции, принадлежавшие до того духовенству. Что же происходило с церковью в России? Жестким, но справедливым называет

А. Б. Зубов (2006) вывод Р. Пайпса (Pipes, 1974) о том, что ни одна из ветвей христианства не демонстрировала такого вопиющего равнодушия к общественной справедливости, как Русская Православная Церковь в синодальный период, т. е. с 1700 до 1917 гг. В этот период церковь включается в систему государственного управления, государство берет на себя заботу о духовном состоянии народа и лишь привлекает церковь в качестве исполнителя. Контроль за деятельностью Синода осуществляет «око государево» – обер-прокурор (Успенский, 1974). Петр I утверждает закон, обязывающий священников доносить об открытых на исповеди политических преступлениях (Карацуба и др., 2006). Однако церковь попала в зависимость от государства, стала частью бюрократического аппарата и освящала своим авторитетом действия властей существенно раньше. После того как митрополит Афанасий в 1596 г. сложил с себя сан в знак протеста против опричнины, Грозный предложил игумену Соловецкого монастыря Филиппу занять место Афанасия. Однако и Филипп требует отмены опричнины. Его заточили в монастырь, где через год он был задушен Малютой Скуратовым. С устранением Филиппа, подчеркивают И. В. Карацуба и др., наступил конец традиции, в соответствии с которой церковные иерархи могли и должны были указывать власти на «неправедность» ее действий. «С этого времени церковная организация на Руси стала приобретать характер служилого сословия, жестко контролировавшегося верховной властью» (2006, с. 121).

В. С. Соловьев также подчеркивал, что «русская Церковь не обладает духовной свободой, она порабощена светской властью, являясь лишь «казенным православием», что российское государство сделало из церкви «атрибут национальности и послушное орудие мирской власти» (1988, с. 17). Данное обстоятельство находило свое отражение в общественном сознании. А. С. Пушкин, отдавая должное благотворным сторонам влияния духовенства в России, писал, что лишение духовенства «независимого состояния» привело к тому, что «происходит в нашем народе презрение к попам и равнодушие к отечественной религии; ибо напрасно почитают русских суеверными: может быть, нигде более, как между нашим простым народом, не слышно насмешек насчет всего церковного. Жаль!» (1989, с. 86, 87). Н. В. Гоголь (1990) отмечал, что в обществе имеется идея о том, что «духовенство у нас... связано в своих действиях правительством» (1990, с. 104). Автор не принимал эту идею, но аргументов против не привел.

В то же время аргументы в пользу справедливости этой идеи можно легко найти не только в официальных документах, но и в «неофициальных» текстах, отражающих мнения людей. Так М. В. Ломоносов, выступая против использования холодной воды в обряде крещения, пишет: «Невеждам-попам физику толковать нет нужды, довольно *принудить властью*, чтобы всегда крестили водою, летней в рассуждении теплоты равною...» (1986, с. 136; курсив наш. – Ю. А., Н. А.). Эта цитата, с одной стороны, отражает отношение к священнослужителям, а с другой, показывает, что для М. В. Ломоносова представлялось нормальным и оправданным прямое вмешательство власти в регламентацию религиозных ритуалов для целей, которые ему представлялись благими.

По-видимому, в связи с существованием подобного мнения отношение к государству, о котором говорилось выше, переносится на его «часть» – церковь. «Пропасть между Церковью и миром» все увеличивается, а духовенство в глазах образованного общества дискредитируется (Большакова, 1996, с. 217).

Если признать такую позицию хотя бы отчасти обоснованной, можно полагать, что упомянутое выше равнодушие к общественной справедливости было одним из факторов, обусловивших отмеченный переход функции. Переход, возможно, облегчался антирелигиозностью интеллигенции (см.: Вехи, 1991), а раньше и других оппозиционно по отношению к государству настроенных групп, например, декабристов:

*О, разобьем алтарь, которого он не заслужил,  
Он благ, но не всемогущ, или всемогущ, но не благ.  
Вникните в природу, спросите историю –  
И вы поймете, наконец, что во имя его собственной славы,  
Видя столько зла, покрывающего весь мир, –  
Если бы бог даже существовал, – надо его отвергнуть.*  
(Барятинский, 1953, с. 306, пер. с фр.)

Итак, интеллигенция, отчасти заменяя духовенство, морализирует, учит дифференциации добра и зла, правды и неправды. «Мужик, который убил жену, потому что она <...> слаба, не работяща, ленива <...> согласно лесной\* морали был прав <...> и не чувствовал себя виноватым; но в чем же виновата убитая, что она слаба...», – писал

\* Он был прав не только согласно «лесной» морали, но и согласно идеологии Ф. Ницше.

Г. И. Успенский. «Вот эту, не зоологическую, не лесную, а божескую правду и вносила в народную среду народная интеллигенция», – подчеркивал он (1977, с. 216; курсив наш. – Ю. А., Н. А.). Эта оценка автора, прекрасно знающего именно народную жизнь, тем более ценна, что он явно «не идеализировал интеллигенцию» (Ланщиков, 1977, с. 20), не испытывал к ней безоглядной любви. Цитированная нами статья «Народная интеллигенция» была опубликована в «Отечественных записках» в 1882 г., а шестью годами раньше в письме к Н. К. Михайловскому Г. И. Успенский возмущался ситуацией в управлении железными дорогами, которая заставила его уйти со службы, в материальном отношении его вполне устраивающей: «Подлые концессионеры глотают миллионы во имя разных шарлатанских проектов, – а во сколько же раз подлее интеллигенция, которая не за миллионы, а за два двугривенных осуществляет эти разбойничьи проекты на деле» (см.: Ланщиков, 1977, с. 20).

Интеллигентность предполагает отказ отделять нравственность от знания и наличие нравственной нормы. Это этическая характеристика (Буланин, 2005; Бердяев, 1991а). Та же специфическая функция в России принадлежит, как уже отмечалось, литературе (Успенский, 2002) и философии (Бердяев, 1991а), но не государству.

В своем открытом письме, датированным январем 1968 г., И. Габай, Ю. Ким и П. Якир, обращаясь к деятелям науки, культуры и искусства, пишут: «В этих условиях мы обращаемся к вам, людям творческого труда, людям, которым наш народ бесконечно верит: поднимите свой голос против надвигающейся опасности новых сталиных и новых ежовых. На вашей совести – судьба будущих Вавиловых и Мандельштамов. Вы – наследники великих гуманистических традиций русской интеллигенции» (Собрание документов «самиздата», 1972; цит. по История политических репрессий..., 2002, с. 355; курсив наш. – Ю. А., Н. А.). Подчеркнем, что это письмо диссидентов, а не парадная передовица в официальной прессе.

Заметим, что гуманистические традиции, передаваемые в России через литературу состояли не в последнюю очередь в том, чтобы принять следующее положение: в России «спокойная жизнь, богатство, высокое положение означает принятие деспотизма»; положение дано в формулировке, принадлежащей критику и переводчику Э. Гюнею и основанной на результатах анализа произведений Тургенева, Достоевского и Толстого (Паламарчук, 2003, с. 19).

Что же касается мнения о том, что государственной власти в России не принадлежит функция морализаторства и «учительства»,

мы уже говорили о традициях отношения к ней в России и о том, что эффект от вербализации морали существенно зависит от отношения к источнику морализации.

Примером негативного отношения может служить высказывание Максима Грека, характеризующее ситуацию XV–XVI вв.: «Власти наши... неистовством ненасытного сребролюбия разжигаемы, обидят, лихоимствуют, хитят имения и стяжания вдовиц и сирот, всякие вины замышляющие на неповинных» (Алексеев, 1998). XIX век: «Правительству не следовало бы по крайней мере говорить об общественной нравственности. Может ли оно требовать ее от народа, когда оно само не имеет об ней ни малейшего понятия... Подлость – лишь краугольный камень всего общественного здания России; она проникает... во все меры правительства...» (Голоса из России, 1974, с. 119).

Сходные мнения о правящем слое высказывались и в следующем столетии. В марте 1918 г. собрание уполномоченных фабрик и заводов Петрограда приняло декларацию, в которой, в частности, говорилось: «Нам обещали свободу. А что мы видим на деле? Где свобода слова, собраний, союзов, печати, мирных манифестаций? Все растоптано полицейскими каблуками, все раздавлено вооруженной рукой. В годовщину революции, оплаченной нашей кровью, мы снова видим на себе железные оковы бесправия, казалось, вдребезги разбитые в славные дни 1917 г. Мы дошли до позора бессудных расстрелов, до кровавого ужаса смертных казней, совершаемых людьми, которые являются одновременно и доносчиками, и провокаторами, и следователями, и обвинителями, и судьями, и палачами» (Питерские рабочие..., 2000, с. 2).

Примерно через 10 лет (в 1929 г.) аноним пишет А. В. Луначарскому: «Народ стонет, в особенности крестьяне и даже рабочие наши... Вся Ваша политика – втирание очков дуракам-рабочим в своей однобокой газете. Так называемая „Правда“ – свобода печати?... Не забывайте, что не все дураки... А сколько невинных людей выгнаны в Северные губернии и Сибирь, совершенно невинных людей только потому, чтобы царствовать кучке узурпаторов, убийц, грабителей... Ну а свобода веры, закрытие церковью, ломка храмов? Где же вы воспитывались, где ваша мораль и т. д. и т. п. Эх вы, узурпаторы, дикари, варвары, мерзавцы». Из письма Н. Симанского в Наркомпрос, написано в 1929 г.: «Позор партии ВКП, вступившей на путь доносов, шпионажа и наглого вмешательства в жизнь каждого „гражданина“!... Вам нужна власть и только

власть, цель оправдывает все ваши средства». Из письма красноармейца П. П. Тричева М. И. Калинину, написанного в 1930 г.: «Очень многие говорят: «Хоть бы скоро война, и так, и так пропадать, раз Советская власть задумала нас так мучить»... масса готова пойти войною против Советской власти...» Из письма анонимных авторов И. В. Сталину и А. И. Рыкову, написанного в 1930 г.: «Вы производите всевозможные эксперименты с населением России: вы гноите его голодом, холодом, бесправием, вы держите его в условиях террора и издевательства... знаете ли вы чувства масс к вам? А чувства эти к вам полны озлоблением, ненавистью отвращением... И сколько бы вы ни тратили народных денег на содержание своей клоачной прессы, прославляющей ваши мерзкие имена, никогда вы не введете в обман тех, над которыми вы теперь царствуете» (Письма во власть, 2002, с. 66–67, 106, 125, 138; на многих из подобных писем пометки о направлении в ОГПУ для выявления авторов и «принятия соответствующих мер»). Письмо «неизвестной Анны» А. Я. Вышинскому (1940): «О кошмарах, происходивших и отчасти происходящих теперь, говорят все. Правда, потихоньку, между своими... Избиения, жуткие пытки, о них знаю все... Женщин в советской тюрьме хватили за волосы и били лицом по полу, выбивали зубы, обезображивали лицо, выворачивали руки... Про газеты говорят – читать нечего!... над потоком „приветствий“ смеются, словесная трескотня надоела» (Советская повседневность..., 2003, с. 337, 338).

Эти пытки не были вымыслом и слухами. Например, М. П. Якубович, находившийся в ГУЛАГе с 1931 по 1953 г. писал о том, каким образом «вразумляли» известных ему людей «избивали (били по лицу, по голове, по половым органам, валили на пол и топтали ногами, душили за горло и т. п.), держали без сна на конвейере, сажали в карцер (полуодетыми и босиком на морозе или в нестерпимо жаркий без окон)» (2005, с. 122).

Дополнительный аспект отношения к власти – презрение. Оно было обусловлено, в частности, интеллектуальным уровнем последней. В 1941 г. В. И. Вернадский (2006) писал в дневнике, что моральный и интеллектуальный уровень коммунистов «ниже среднего уровня беспартийных», рассматривая это в качестве основной причины неудач власти. По прошествии примерно четверти века А. А. Зиновьев подчеркивал несоответствие «интеллектуального уровня руководства обществом и интеллектуального уровня руководимого им населения. <...> Пренебрежительное и даже презрительное отношение массы

советских людей к своим руководителям стало важным элементом идеологического состояния советского общества, – писал он. – Это отношение охватило все слои общества снизу доверху» (2005, с. 395–396). Правящая группа, власть платила народу той же монетой.

Жданов, выступая на XVIII съезде КП(б), под смех аудитории рассказывал, что некоторые простые граждане просят в медучреждении справку о том, что «Товарищ X, в силу умственных способностей, не может быть использован классовыми врагами в своих целях» (Отчет об изменениях в Уставе..., 1939, с. 522). Сталин отмечал на заседании Политбюро ЦК РКП(б), посвященном вопросу о хлебозаготовках, что намечены ряд мероприятий, которые «могут заставить мужика выбросить хлеб на рынок. Надо [придвинуть водку к мужику, чтобы он побольше денег истратил, чтобы вез хлеб на рынок, чтобы получить денег на водку...]» (Стенограммы заседаний политбюро..., 2007, т. 1, с. 340; в квадратные скобки взят фрагмент, удаленный автором выступления из текста стенограммы, для того чтобы сделать текст «более выдержанным с политической точки зрения» – Вталин, Грегори, 2007, с. 42). Можно предположить, что у Сталина были и дополнительные аргументы в пользу данного предложения, если он имел представления о влиянии потребления водки крестьянами на экономику, сходные с теми, что обосновывал А. Ф. Керенский. Последний считал одной из важнейших причин потрясений в экономической жизни России ограничения на торговлю водкой, введенные с первого дня мировой войны. Крестьяне не могли больше покупать водку и стали, во-первых, потреблять продукты, которые раньше везли на рынок, – писал он. Во-вторых, они приобретали теперь больше хозяйственных товаров и предметов роскоши, которых скоро стало недостаточно для удовлетворения возросшего спроса трезвого сельского населения. Количество указанных товаров отвечало потребностям пьянствующей бедноты. «Трезвость и финансовое благополучие крестьян полностью разрушило финансовую жизнь страны» (2005, с. 83).

Отношение людей к власти эмоционально выражалось и в неподцензурной поэзии:

*Пока мы лгать не перестанем  
и не отучимся бояться, – не умер Сталин.  
Пока во лжи неукротимы  
сидят холеные, как ханы,  
антисемитские кретины и государственные хамы...  
не умер Сталин.*

– писал Б. А. Чичибабин (Антология самиздата..., 2005, т. 1, кн. 2, с. 69).

Надо сказать, что подобная характеристика власти находила отклик и поддержку у ряда читателей, видевших по ряду косвенных признаков, что характеристика верна. См., например, о «мещанско-зоологическом антисемитизме» партийно-государственного руководства у А. Д. Сахарова (1990), а также об «официальном антисемитизме» у А. И. Солженицына (2002), который замечает, что на Западе официальный антисемитизм назывался «самым острым вопросом» в СССР, но считает, что были другие – острее. В западных источниках приведены многочисленные аргументы в пользу существования «антисемитизма в официальных кругах *аппаратчиков*» (Weinryb, 1970, p. 300; см. также, Korey, 1973). По косвенным потону, что антисемитские и сталинистские убеждения в формально интернационалистском государстве, осудившем культ личности Сталина и сталинские репрессии (см.: Доклад Первого секретаря ЦК КПСС Н. С. Хрущева XX съезду партии о культе личности и его последствиях – Н. С. Хрущев, 1956), не могли выражаться прямо и официально. Вместо этого «применялся метод подстрекательных «закрытых лекций» и инструктажей», это вполне в советском стиле», – отмечает А. И. Солженицын (2002, с. 425). «Никогда не было и нет антисемитизма в СССР», – подчеркивал премьер-министр А. Н. Косыгин во время пресс-конференции в Нью-Йорке – опубликовано в «New York Times» 27 июля 1967 г., а затем в Оттаве и Копенгагене в 1971 г. (Korey, 1973, p. 3, 328). «В СССР строжайше преследуется законом антисемитизм, как явление, глубоко враждебное Советскому строю. Активные антисемиты караются по законам СССР смертной казнью», – утверждал И. В. Сталин (1936) в ответ на запрос Еврейского телеграфного агентства Америки.

И общественность не ошибалась. Е. П. Бажанов – в течение ряда лет ответственный сотрудник Международного отдела ЦК КПСС, таким образом характеризует этот высший эшелон власти «изнутри»: «В США или Японии претендентов даже на самую скромную должность проверяют на соответствие ей по квалификации. В ЦК КПСС существовали другие критерии. И получалось, что чем послушнее, *серее* был человек, тем быстрее возносился он по служебной лестнице... Идеологический „сдвиг“... не был самой распространенной в аппарате болезнью. По-настоящему верили в замечательную социальную базу нашего общества лишь немногие. Преобладали иные „сдвиги“. Один из них на *Сталине*...

*Стабильность и динамика социальных представлений в обществе*

Еще один „сдвиг“ немалой части аппаратчиков – *антисемитизм*. Некоторые были „заиклены“ исключительно на евреях, другие являли собой сплав *антисемита-сталиниста*» (2007, с. 171, 173; курсив наш. – Ю. А., Н. А.).

Свидетельством «изнутри» можно считать и книгу дочери Сталина, в которой даются сходные в этом аспекте характеристики, относящиеся к партийной верхушке на более раннем этапе (Allilueva, 1969). В «советском аппарате», по сообщениям ОГПУ, антисемитизм, во всяком случае «на низовом уровне», существовал с первых этапов развития СССР: с 20-х годов (Неизвестная Россия..., 1993). Именно в это время (1926) наличие «низового» антисемитизма отмечают Троцкий и Сталин во время заседания Политбюро ЦК ВКП(б) (Стенограммы заседаний политбюро..., 2007, т. 1, с. 690).

Неудивительно, что интеллигентский поиск морали и правды (понимаемых весьма разнообразно), стремление к общественному благоденствию (Лосев, 1988) в подобной ситуации обуславливали то, что, как подчеркивает В. В. Кожин (2002), практически все российские интеллигенты независимо от их профессии вовлекаются в политику, пусть даже путем ее демонстративного отвержения.

Неудивительно также, что власть, отмечавшая не только постоянную оппозиционность интеллигенции (Кожин, 2002), но и ее роль в «заражении» оппозиционностью народных масс, демонстрировала к конкуренту негативное отношение. Так, Николай II, имея в виду интеллигенцию, говорил: «Мне противно это слово» (Смирнов, 1998, с. 30). Не изменилась ситуация и после 1917 г.: хорошо известно, насколько резко (и грубо) выражал В. И. Ленин свое отношение к интеллигенции. Неудивительно также, что подобное отношение власти находило понимание в некоторых группах населения, например сочувствующих власти, и что слово «интеллигенция», как отмечал А. И. Солженицын (1990), приобретало и в этих группах значение бранного слова. А. И. Солженицын имел в виду послереволюционный период, но и до революции ситуация была сходной. Во время Русско-японской войны и на фоне развернувшегося вслед за ней революционного движения большинство офицеров, поддерживающих самодержавие, «видели причину всех российских бед в студентах и интеллигенции», а также в бунтовщиках из крестьян и рабочих (Керенский, 2005, с. 145).

В русской культуре в качестве источника добра традиционно рассматривалась община, а в качестве источника зла, с общиной конфликтующего, – государство (Лурье, 1994; Мельникова, 2003).

Для полноты картины следует привести и другое отношение к общине, датируемое 1855 г.: «мы, Русские, любим его (мужика. – Ю. А., Н. А.) как основу нашей национальности... Но... что нашли вы в русской общине, в этом полудиком зародыше общественного быта, где земля принадлежит государству, предмету нашей ненависти, а крестьянин – крепостной или немногим лучше крепостного? Вы видите в ней нечто в роде коммунизма и радуетесь этому явлению, которое как будто подтверждает ваши теории. Но такой коммунизм устроить весьма легко; нужно только, чтобы существовали землевладельцы и рабы» (Голоса из России, 1974, с. 23).

М. Бакунин спрашивал: «Почему эта община... в продолжении 10 веков прошедшего существования не произвела из себя ничего, кроме самого печального и гнусного рабства?» П. А. Столыпин также довольно негативно оценивал влияние общины на деревенскую жизнь: «Дикая, полуголодная деревня, не привыкшая уважать ни свою, ни чужую собственность, не боящаяся, действуя миром, никакой ответственности» (Карацуба и др., 2006, с. 349).

В то же время утверждения о том, что община изжила себя, по-видимому, не соответствовали мнению *большинства* людей, имеющих дело с проблемой общин на местах даже и значительно позже указанной выше даты (1855) – в начале XX в. Лишь 52 из 600 губернских комитетов высказались в это время за отмену общины в законодательном порядке. Причем среди противников общины не было представителей великорусских губерний (Московской, Тверской, Владимирской и т. д.) (Смирнов, 1998).

Община оказывала сопротивление извне навязываемым либеральным столыпинским реформам: крестьяне, подавшие заявление о выходе из общины, забирали их обратно, а те, кто вышел из общины, продолжали участвовать в мирских сходках, где решались вопросы местной жизни (Карацуба и др., 2006). Предполагается даже, что к существенным факторам, обусловившим Октябрьскую революцию 1917 г., относится чуждость формирующихся социально-экономических отношений капитализма общинным, патриархальным позициям России (Юревич, 2007).

Что касается государственной власти, то описанное выше отношение граждан к ней в досоветский и советский периоды было одним из следствий ее конфликта с обществом\*. Подобное отторжение

\* Социологические опросы и в постсоветской России демонстрируют, что «государство, власть воспринимаются массовым сознанием прежде

народа от власти вело к вынужденному, а не осознанному подчинению последнего, а поэтому часто и к ненависти. А также к противопоставлению закона и совести, к характерному «русскому антилегализму», «русскому правовому нигилизму» (см.: Вежбицкая, 1999). А. И. Солженицын обращает внимание на заключение В. Даля, согласно которому в России не сложилось «ни одной пословицы в похвалу судам» (1990, с. 280).

В отличие от представителя «латинско-романской культуры» при возникновении конфликта «русский человек... гораздо легче поступится именно юридическим началом... чем моральностью» (Астафьев, 1996, с. 97). И сегодня чуть ли не антагонистические отношения между моралью и законом рассматриваются как характерные для нашей страны (Юревич, 2009). Эмпирические исследования показывают, что в России гораздо больше людей, чем в США считают, что, нарушив закон, можно быть правым, и лишь 10–15% полагают, что закон нельзя нарушать ни в какой ситуации (Воловикова, 2004). Как могут относиться к подобному «юридическому пуризму» граждане России, находящиеся в большинстве, видно на примере выдержки из работы Н. А. Добролюбова, оказавшего серьезное влияние на позицию мыслящей части общественности России XIX в. Он писал: «наши либералы и реформаторы отправляются в своих проектах от юридических тонкостей, а не от стога и вопля несчастных братьев» (1956, с. 49). Не «тонкостями» должно руководствоваться, а голосом чувства справедливости.

В кросс-культурных исследованиях «альтруистического наказания» (см. выше) показано, что слабость правовой системы в стране (измеряемая, в частности, по показателям доверия суду, полиции) коррелирует с повышенным уровнем применения «альтруистического наказания» (Herrmann et al., 2008). Можно было бы ожидать тогда, что упомянутый уровень сравнительно высок в нашей стране. Действительно, это так. Он выше, чем в западных странах (за исключением Греции), но ниже, чем в Омане и Саудовской Аравии. Закономерно, что в русском языке понятия справедливости и правосудия обозначаются разными словами, а в европейских языках (английский, французский, немецкий, итальянский, испанский) их можно обозначить одним словом.

всего как инстанции контроля, источник негативных санкций за потенциальное или реальное нарушение индивидом любой нормы» (Дубин, 2007, с. 351).

В то же время община на протяжении столетий российской государственности обеспечивала поддержку и солидарность в решении множества жизненных проблем (Киселев, 2006). Община задавала нравственные критерии и оценивала поведение своих членов по этим критериям. Причем оценка, данная «миром», и составляла чрезвычайно важную для крестьянина репутацию (Воловикова, 2005). На сходке общины решались чуть ли не все вопросы: земельные, касающиеся раздела пахотных полей (учитывались особенности каждой семьи), распределение повинностей, прием новых членов общины, выбор должностных лиц, выработка правил пользования лесными угодьями, общественные строительные работы, сдача в аренду рыболовных угодий, мельниц и т. д., пополнение запасов, разрешение на отлучку из общины, починка дорог, штрафы за проступки и нарушения общинных правил, сбор денег на общие расходы, помощь нуждающимся и мн. др. Хотя в деятельности общин не было стереотипии, но общим был нравственный подход к решению всех проблем, несмотря на их многообразие (Громыко, Буганов, 2000, с. 247, 250, 253, 254). Ориентация на нравственность, контролируруемую общиной, приветствовалась, как и нарушение закона, диктуемого государством, если он казался «неправильным» в данной ситуации.

*Отторжение от власти и ориентация на «неофициальные» критерии нравственной оценки приводит к высокой ценности близких дружеских отношений.* Именно от друзей в русской культуре ожидается оценка того, что «хорошо» и что «плохо». С важностью дружбы связано большее число слов, имеющих отношение к этому аспекту межличностных отношений, в русском, чем, например, в английском языке, и, по существу, отсутствие в последнем аналога слова «друг» (Вежбицкая, 1999).

Культ дружбы существовал в царской России и даже в большей мере – в СССР. Авторы связывают усиление значимости дружбы с усилением политического давления на граждан (Shlapentoh, 1984; цит. по Вежбицкая, 1999). В определенной степени, возможно, сыграло роль также и то, что была разрушена община. Хотя введение колхозов и рассматривается применительно к общине как пример архаизации, но эта замена не была, мягко говоря, полностью компенсирующей. Вообще, как отмечалось выше, прежние типы культуры воспроизводятся в форме отличной от прежней, что обусловлено свойствами ее структуры. В противоположность ситуации с насильственным разрушением общины, при котором вышедшие из общины крестьяне в нее возвращались, крестьяне, вступившие

в колхозы, создаваемые насильственным путем, после статьи Сталина о «перегибах» в коллективизации стали в массовом порядке из них выходить (например, на Средней Волге вышло из колхозов 280 тыс. хозяйств, в Грузии – 132 тыс. хозяйств, в Нижегородском крае за три недели – 118 тыс. и т. д.). За время коллективизации численность крестьянских хозяйств уменьшилась на 5,7 млн. Было «раскулачено» около 5–6 млн человек (миллион хозяйств). Более трети раскулаченных (2 млн 140 тыс. человек) было депортировано. Крестьянин «был отчужден от орудий и средств производства, лишен права распоряжаться результатами своего труда... Крестьянин из мелкого или среднего собственника-производителя фактически превратился в крепостного работника советского государства» (Ивницкий, 1994, с. 90, 256–258). Только в 1930 г. было 13755 массовых выступлений в деревне. Всего в антиправительственных восстаниях в том году приняло участие около 3 млн человек.

Общественную атмосферу того времени хорошо передают стихи Б. Корнилова о кулаках:

<i>И заросший, косой, как заяц, твой неприятный летает глаз: Пропадает мое хозяйство. Будь ты проклят, рабочий класс! Только выйдем – и мы противу – бить под душу и под ребро, не достанется коллективу нажитое мое добро.</i>	<i>Чтобы видел поганый ворог, что копейка моя дорога, чтобы мозга протухший творог вылезал из башки врага... И лица голубая опухоль опадает и мякнет вмиг, и кулак тяжелее обуха бьет без промаха напрямик.</i>
---	---

(Книга для учителя ..., 2002, с. 264).

И все же анализ приводит А. А. Зиновьева, антисталиниста, хорошо знавшего о методах внедрения коллективизации, к следующему заключению: «Каким бы жестоким и трагическим ни был сталинский путь коллективизации, он с социологической точки зрения гораздо больше соответствовал исторической тенденции эволюции народа, чем всякие попытки удержать его в положении трудолюбивого производителя дешевой картошки и капусты для городских прожектеров» (2005, с. 304).

С. Московичи подчеркивал, что в сообществе индивидуальные вариации ограничены, поскольку индивид приобретает сумму знаний, сравнимую со знаниями других (1995б, с. 7). Поэтому, хотя у слов имеется меняющееся от индивида к индивиду «дальнейшее

значение» (т. е. в одно и то же слово людьми вкладывается неидентичное знание), но между ними возможно взаимопонимание за счет неизменного, связанного с общностью знаний «ближайшего значения» слова (Потебня, 1958). Более того, как отмечал Ф. А. Хайек (2003), картина мира в известном смысле одна и та же у всех, кого мы считаем разумными существами, и это имеет огромное значение. Хайек связывает общность картины с одинаковостью у людей когнитивных процессов. Хотя мы уже говорили, что данные процессы обладают культуроспецифичностью, в известной мере Ф. А. Хайек прав, констатируя существенную общность картины мира у «разумных существ» живущих в разных культурах. Эта общность картины может быть связана с культурными (и когнитивными, и генетическими) универсалиями, обуславливающими процесс ген-культурной коэволюции и формируемыми в нем.

По-видимому, в древности люди в разных пракультурах имели более различающиеся, чем теперь картины мира и, соответственно, различные небольшие, даже живущие по соседству сообщества, характеризовались значительной языковой пестротой (Журавлев, 1982). Глобализация, очевидно, кроме всего прочего, ведет к ускоренной их унификации.

Однако, унифицируясь, картины мира не могут стать идентичными, поскольку, как мы неоднократно подчеркивали выше, новые элементы культуры, включаясь в ее структуру, не вытесняют ранее сформированные, но, наслаиваясь на них, согласуются с ними. Устойчивые компоненты социальных представлений (ср. «ядро»), сформированных в данной культуре, сохраняется. Это – один из важнейших факторов неустранимого разнообразия культур\*.

*Данный фактор, полученный нами эмпирический материал и результаты его обсуждения представляются нам аргументом в пользу того предположения, которое мы выдвинули, обсуждая утверждение о том, что интеллигенция в России утрачивает свои специфические, стержневые характеристики, которые отличали ее и культуру*

\* Вероятно, в значительной степени различаются «картины мира» также и у разных животных одного вида, не объединенных в сообщества, или у индивидов, принадлежащих к территориально разделенным сообществам животных. Во всяком случае наборы передаваемых от поколения к поколению поведенческих навыков и коммуникационных сигналов различны в стаях обезьян данного вида, живущих в одной местности, но на расстоянии, исключаящем контакты между стаями (Lieberman, 1998; Mesoudi et al., 2006; van Schaik et al., 2003).

*России в целом. Во всяком случае в том, что касается культуры в целом, утрачены они быть не могут.* Если это предположение верно, из него следует, что «показатели» социальных представлений, на основании которых делается вывод о существовании соответствующих специфических характеристик, могут на определенном этапе социального развития претерпевать «обратную динамику» по сравнению с теми значениями «показателей», по которым делался вывод об утрате этих характеристик.

В пользу наличия подобной динамики свидетельствуют данные, полученные Н. А. Журавлевой (2006). Она связывает *уменьшение* значимости этических ценностей у граждан России, выявленное ею в 1990-х годах прошлого века, с серьезными экономическими проблемами и отмечает *возрастание* значимости этих ценностей при анализе результатов, полученных на срезе 2003 г. Данная логика не требует с обязательностью, но позволяет предположить, что подобная «обратная динамика» может быть обнаружена и для исследованных нами показателей представлений об интеллектуальной личности. Однако, поскольку структура культуры «необратима» и повтор в ней осуществляется, как было уже сказано, без повторения, следует ожидать, что даже если такое случится, то паттерн представлений об интеллектуальной личности будет отличен от обнаруженного нами в 1990-х годах, т. е. представления будут претерпевать своеобразное развитие. Интересно заметить, что в литературе имеются представления о постоянных колебаниях между противоположными тенденциями как факторе развития пограничных (Запад-Восток) культур (см.: Кондаков, 1998).

Персистенция указанных характеристик обусловлена *особенностями культуры России, фиксированными в ее динамичной и одновременно стабильной структуре.* А вот в представлениях и действиях каких именно социальных групп максимально манифестированы характеристики и какие именно характеристики, может, видимо, меняться от эпохи к эпохе.

Наши соображения *по этому пункту* сходны с выводом, к которому пришел В. В. Кожин. Он опроверг представление об «отмирании» интеллигенции тем, что оно было бы возможно, если бы случилось невероятное: в России установилась западная система отношений, в том числе политических. Обосновывая свой вывод, он цитирует П. Я. Чаадаева, мысль которого, если признать ее верной, может рассматриваться в зависимости от точки зрения как оптимистичный, или как пессимистичный прогноз: «Никакая сила в мире

не заставит нас выйти из того круга идей, на котором построена вся наша история» (см.: Кожин, 2002, с. 69).

Согласуется упомянутый вывод и с заключением, сделанным Б. Дубиним на основании анализа большого материала социологических опросов: «В определенном смысле сознание, структура личности советского человека оказались более устойчивыми постройками, чем лагерные бараки, колючая проволока и сторожевые вышки. Пережив последние, они все еще продолжают – и в немалой степени – оставаться значимым фактом и фактором современной ситуации в России» (2007, с. 311).

Ю. П. Афанасьев пишет: «И на самом пепелище 1917 года, и даже после всего, что за ним последовало в виде разрушения социальности, тощий гумус традиционности оказался выжженным и истребленным не до самых его оснований. Только так, на мой взгляд, можно понять и объяснить тот вроде бы совсем не поддающийся никакому пониманию и объяснению факт, почему этот искусственно и странно с точки зрения и науки, и здравого смысла создаваемый социум оказывается поразительно несокрушимым» (2007, с. 13).

Проведенный нами анализ позволяет полагать, что указанная «устойчивость», «поразительная несокрушимость» обусловлены тем, что советская и постсоветская, как и досоветская, личность формировалась (и продолжает формироваться) в культуре, структура которой образуется не за счет вытеснения, а за счет наслоения, и поэтому имеет в своем составе на всех этих этапах много общих элементов.

Говоря об арахаизации в период событий 1917 г., мы упоминали о позиции историка и философа права Н. Н. Алексеева (1998), согласно которой ход этих событий определялся существованием в русской культуре на протяжении столетий идей вольницы, диктатуры и социального устройства, близкого к коммунизму. Русская интеллигенция, писал Алексеев, собиралась построить нечто, похожее на европейскую демократию, но в культуре и сознании народа превалировали указанные «примитивы». Именно в связи с определенным соответствием этим «примитивам», соответствием «старой правде», ощущаемой народом в большевизме, получил распространение западный марксизм.

Глядя в будущее, Н. Н. Алексеев предупреждал о том, что коммунистическая партия, несомненно, потеряет власть в России рано или поздно и тем, кто соберется затем строить новое российское государство, следует обязательно считаться с существованием этих «примитивов».

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С позиций системного подхода, формирование новой системы, направленной на достижение полезного приспособительного результата, т. е. системогенез, рассматривается как формирование нового элемента субъективного опыта в процессе научения. В основе формирования новых элементов при научении лежит процесс специализации нейронов относительно вновь формируемой системы, отобранных из группы преспециализированных клеток. Системная специализация нейронов постоянна и означает их неизменное вовлечение в реализацию соответствующих функциональных систем.

Вновь сформированные, все более дифференцированные системы не заменяют ранее сформированных, а «наслаиваются» на них. Таким образом, субъективный опыт индивида представляет собой структуру, образованную системами разного «возраста». Минимально необходимый набор систем разного возраста, актуализация которых обеспечивает достижение результата отдельного поведенческого акта, может быть рассмотрен как единица субъективного опыта.

Научение или формирование субъективного опыта в процессе системогенеза, которое происходит в культуре как культуро-, так и генетически детерминировано. Культурозависимыми является не только формирование у индивидов сложных концепций, но и опыт, опосредующий «простое» поведение, обычно рассматриваемое как «врожденное», «генетически фиксированное». Неучет этой зависимости ведет к «когнитивному солипсизму», выражающемуся в рассмотрении когнитивных процессов в связи с мозгом, но в отрыве от культуры.

Индивиды зависят друг от друга. Достижение результатов поведения индивидами имеет значение для других членов сообщества. Оценка результатов индивидуального поведения зависит от их оценки другими. Оценивая результаты своих поведенческих актов, человек, даже находясь наедине с собой, смотрит на себя «глазами общества» и «отчитывается» ему. Специальный видоспецифический

инструмент отчета (самоотчета) – язык. «Независимой от общества» оценки индивидом совершенного им целостного поведенческого акта не может быть. Эта оценка неизбежно производится с использованием социальных представлений и языка, одним из центральных назначений которых, можно считать именно соотнесение, согласование индивидуальных и коллективных результатов.

Отчет о результатах действия с использованием языка становится содержанием наиболее высоких уровней сознания, которое связывается с осуществлением совместной деятельности, достижением «коллективных» результатов. На довербальном этапе развития самоотчет о достигнутом результате также социален.

Культура – не набор «стимулов-инструкций», а среда обучения, предоставляющая возможности формирования субъективного опыта, специфичного для данной культуры. Культуру данного сообщества можно рассматривать как структуру, представленную набором элементов (систем) и единиц, которые символизируют пути достижения коллективных результатов в данном сообществе на данном этапе его развития.

Отчет об «одном и том же» внешнем поведении различен в разных культурах потому, что в них различны социальные представления, которые обуславливают характер взаимодействия людей в достижении ими коллективных результатов.

«Культурная специализация» индивидов в рамках этой логики предстает как формирование такой структуры субъективного опыта в данной культуре, которая комплементарна структурам опыта других индивидов. При этом обучение в культуре означает, что индивиды научаются выполнять определенную часть общей работы в достижении коллективных результатов.

Биологическая и культурная эволюция могут быть рассмотрены в качестве аспектов единого процесса «ген-культурной коэволюции», в процессе которого в обществе складывается «культурная комплементарность» индивидуальных геномов. Культурная комплементарность означает, что генетические predispositions и связанные с ними «культурные специализации» межиндивидуально согласованы и взаимодополнительны внутри данного сообщества.

Сопоставление структуры культуры и структуры субъективного опыта приводит к заключению, что формирование обеих структур основано на принципе селекции; их развитие осуществляется как переход от менее дифференцированных к более дифференцированным формам. При этом вновь образовавшиеся элементы этих

структур не отменяют ранее образованных, но наслаиваются на них. Реализация поведения осуществляется посредством одновременной актуализации множества элементов опыта – систем разного возраста; в культуре процесс актуализации также затрагивает множество систем: наряду с новыми и древние ее элементы.

Имплицитные представления об умном человеке относятся к социальным представлениям, составляющим обыденное знание. Кросс-культурное сопоставление имплицитных представлений, в частности представлений об интеллектуальной личности, и анализ их модификаций в связи с изменениями общественного устройства имеет значение не только для развития собственно науки (психологии, социологии, культурологи), заинтересованной в понимании состава, вариативности, культурной специфичности и динамики обыденного знания, но и опосредованно для формирования самого этого знания. Подобное сопоставление может способствовать также эмпирическому анализу проблемы специфики русской ментальности, которая, как правило, решается внеучным либо сугубо теоретическим путем.

Имплицитные теории интеллектуальности включают два компонента: когнитивный и социальный. В исследованиях на американской выборке показано, что когнитивный компонент является ведущим в представлениях об интеллектуальной личности. В исследовании же японцев, а также тайваньцев китайского происхождения на первый план выступает социальный фактор. В нашем исследовании начала 1990-х годов была выявлена ведущая роль социального фактора, что совпало с данными, полученными на японской и китайской выборках, и разошлось с данными американского исследования. Причем основным содержанием данного фактора в нашем исследовании стали социально-этические характеристики. Когнитивный фактор в нашем исследовании занял второе место. Анализ литературы позволяет обосновать утверждение о том, что особенности культуры России, в частности представление о «моральности» знания, соотносимы с выявленной спецификой имплицитных представлений об интеллектуальной личности в России. По-видимому, по своим традициям и стилю мышления, во всяком случае, в том их аспекте, который определяет изученные характеристики прототипов, наша выборка являлась в большей степени восточной, азиатской, чем западной.

Выяснение того, как соотносятся понятия когнитивного, интеллектуального и морального позволило заключить, что рассмотрение

когнитивных и эмоциональных характеристик поведения индивида как отдельных функций и процессов и связанное с этим рассмотрением раздельное изучение сознания и эмоций неадекватно. Если понимать cognition как процесс активного взаимодействия со средой, порождающего знания в качестве средств достижения целей, то оказывается, что понятие когнитивного более широкое, чем сознание и эмоции, и что последние могут рассматриваться как определенные стороны когнитивного процесса. При этом сознание может быть сопоставлено с оценкой субъектом этапных и конечного результатов своего поведения, осуществляемой, соответственно, в процессе реализации поведения (как «внешнего», так и «внутреннего») и при его завершении; эта оценка определяется содержанием субъективного опыта и ведет к его реорганизации. Сличение реальных параметров этапных результатов с ожидаемыми во время реализации поведенческого акта соответствует первому уровню сознания. Сличение реальных параметров конечного результата поведенческого акта с ожидаемыми (с целью) во время переходных процессов (от одного акта к другому) соответствует второму (высшему) уровню сознания. Каждый из двух уровней сознания объединяет группы различающихся уровней.

Сознание и эмоции являются характеристиками разных, одновременно актуализируемых уровней системной организации поведения, представляющих собой трансформированные этапы развития и соответствующих различным уровням системной дифференциации. Сознание и эмоции – характеристики, присущие наиболее и наименее дифференцированным уровням соответственно. Эмоции связаны с оценкой результатов систем, обеспечивающих соотношение индивида и среды на низком уровне дифференциации. Все системы направлены на достижение положительных адаптивных результатов поведения. Они не могут быть описаны как специальные «механизмы», «системы» или «подсистемы» «генерации» сознания и эмоций.

Сопоставление направленности дифференциации структур субъективного опыта и культуры позволило заключить, что системная дифференциация опыта может быть рассмотрена как движение от эмоций к сознанию, а культуры – от морали к закону. Во всех рассмотренных нами вариантах индивидуального развития наблюдается общий принцип: от старых низкодифференцированных систем к более новым, более дифференцированным системам, т. е., упрощенно говоря, «от эмоций к сознанию». В этом смысле можно

сказать, что онтогенез повторяет филогенез, научение повторяет онтогенез, а развертывание поведенческого акта повторяет научение.

Возможен и обратный процесс: обратимого понижения дифференцированности, например, при остром приеме алкоголя, блокирующем активность нейронов, принадлежащих к наиболее дифференцированным системам. Чем выше пропорция активных в реализующемся поведении элементов, принадлежащих низкодифференцированным системам, тем выше интенсивность эмоций. Регрессия и эмоциональность – два разных описания сдвига системной организации поведения в сторону более рано сформированных низкодифференцированных систем. Культура также может в определенных сложных условиях временно «дифференцироваться», сдвигаться в сторону ранее сформированных форм. Регрессия общественной жизни – архаизация – известный феномен.

Наличие у живого целей неразрывно связано с субъективностью отражения мира, свойственной живому в отличие от неживого, которое реагирует на стимулы, а не ведет себя целенаправленно. Субъективность, в частности, выражается в делении объектов и событий на «плохие» – препятствующие достижению цели и «хорошие» – способствующие достижению. С этого деления начинается жизнь. Мораль связана с формированием сотрудничества в достижении коллективных результатов. Наличие «коллективной цели» достижения коллективного результата обуславливает деление явлений и действий индивидов на «хорошие», разрешенные – способствующие достижению этой цели и «плохие», запрещенные – препятствующие ее достижению. Именно с этого деления начинается формирование сообщества и структурных элементов культуры этого сообщества. Мораль может быть сопоставлена с характеристиками наиболее древних и минимально дифференцированных базовых элементов культуры. Эти элементы, находящиеся в основании доменов «хорошего» («правильного») поведения и «плохого» («неправильного»), явились основой для дальнейшей эволюции и дифференциации культуры. Механизмы, ответственные за способность совершать моральный выбор, начали формироваться в филогенезе задолго до появления человека.

Таким образом, при сравнении генеза системных структур субъективного опыта и культуры обнаруживается сходство между эмоцией и моралью. И эмоция, и мораль являются характеристиками древних, наименее дифференцированных элементов этих структур. Эмоция в структурном плане «указывает» на принадлежность

единиц субъективного опыта к «положительному» или «отрицательному» домену опыта. Мораль также «указывает», к какому домену культуры («положительному» или «отрицательному») принадлежат данные единицы.

Если мораль связывается в литературе с описанием структур общественного сознания, то нравственность – с психологической структурой личности. Нравственность характеризует отношения между элементами субъективного опыта, актуализация которых обеспечивает реализацию разных действий индивида. Эта характеристика соотносима с моральной оценкой событий и действий и обобщает множества единиц опыта по критерию этой оценки: приемлемы они или нет. Нами аргументировано феноменологическое соответствие данной характеристики семантической и таксонной памяти.

Тогда как мораль соотносима с наиболее древними, рано сформированными элементами, закон связан с более дифференцированными системами. Из такого представления логически следует, что низкодифференцированные системы общи для разных людей, эпох и ситуаций: масса самых разнообразных единиц на протяжении всего развития культуры имеет основанием ограниченное число общих низкодифференцированных систем (моральные универсалии), в то время как разнообразие высокодифференцированных систем значительно.

Субъективный опыт формируется в культуре, каждая единица которой имеет в своем основании низкодифференцированные системы, и чему бы мы ни учились, окажется, что эти системы «отражены» в сформированном нами опыте. Поэтому существование морально индифферентных действий – сомнительно. В то же время люди, как правило, не обучаются специальному «моральному поведению». Не потому, что оно изначально в наших генах, а потому что нравственность появляется как следствие формирования структуры субъективного опыта, представляющей многообразные акты «внешнего» и «внутреннего» поведения.

Из сказанного следует, что любое знание субъекта о мире, формирующееся в культуре, соотносимо с моральными нормами. Можно полагать, что связывание моральной оценки со множеством действий, в том числе, конечно, и интеллектуальных, свойственное азиатским культурам, не является неким наивным искажением реальности в обыденном знании. Наоборот, оно хорошо соответствует как структурным особенностям культуры, так и связи между

этими особенностями и структурой формирующегося в культуре субъективного опыта.

Культура может быть представлена как «поток», «динамическая среда»; ее содержание постоянно модифицируется. Оценка динамики представлений об умном человеке в России путем сравнения результатов, полученных в начале 1990-х годов и примерно через 10 лет (2004), показала, что они изменились. Обнаружено, что имплицитные концепции интеллектуальности претерпевают «вестернизацию»: сдвиг от социального в сторону когнитивного фактора, который занимает теперь первое место. Однако, несмотря на «вестернизацию», связанную, по-видимому, с мощными социально-экономическими изменениями в обществе, в исследовании 2004 г. продолжает выявляться социально-этический фактор, который не обнаруживается в американской выборке. Предполагается, что наличие этого фактора обусловлено такими характеристиками культуры России, которые утрачены быть не могут.

Коллективизм, особая «учительская» роль интеллигенции и литературы, противостояние общественности и власти, а также народа и элиты, значимость дружбы, противопоставление закона совести, жесткая дихотомия «хорошо–плохо», отсутствие «нейтральности» и склонности к компромиссам, «моральность знания» были и остаются существенными и связанными друг с другом характеристиками динамичной и в то же время стабильной культуры России.

## ЛИТЕРАТУРА

- Абелев Г. И. Очерки научной жизни. М.: Научный мир, 2006.
- Абульханова-Славская К. А. Деятельность и психология личности. М.: Наука, 1980.
- Абульханова-Славская К. А. Социальное мышление личности: проблемы и стратегии исследования // Психологический журнал. 1994. Т. 14. № 4. С. 39–55.
- Абульханова К. А. Российский менталитет: кросс-культурный и типологический подходы // Российский менталитет: вопросы психологической теории и практики. М.: Изд-во ИП РАН, 1997. С. 7–37.
- Абульханова К. А. Социальное мышление личности // Современная психология: состояние и перспективы исследований. М.: Изд-во ИП РАН, 2002. Ч. 3. С. 88–103.
- Абульханова К. А., Александров Ю. И., Брушлинский А. В. Комплексное изучение человека // Вестник РГНФ. 1996. № 3. С. 11–19.
- Абульханова К. А., Воловикова М. И. Исследование личностных особенностей и детерминант социальных представлений // Современная психология: состояние и перспективы исследований. М.: Изд-во ИП РАН, 2002. Ч. 2. С. 71–84.
- Акимова М. К. Психофизиологический подход к анализу интеллекта // Психофизиологические вопросы становления профессионала. М.: Наука, 1976. Вып. 2. С. 69–85.
- Александров И. О. Формирование структуры индивидуального знания. М.: Изд-во ИП РАН, 2006.
- Александров И. О., Максимов Н. Е. О виртуальности компонентов индивидуального знания на ранних стадиях их формирования // Виртуальная реальность. М.: Российская академия искусственного интеллекта, 1998. С. 61–82.
- Александров Ю. И. Психофизиологическое значение активности центральных и периферических нейронов в поведении. М.: Наука, 1989.
- Александров Ю. И. Сознание и эмоции // Теория деятельности и социальная практика. 3-й международный конгресс. М.: Изд-во «Физкультура, образование, наука», 1995а. С. 5–6.
- Александров Ю. И. Макроструктура деятельности и иерархия функциональных систем // Психологический журнал. 1995б. Т. 16. № 1. С. 26–30.
- Александров Ю. И. Введение в системную психофизиологию // Психология XXI века / Под ред. В. Н. Дружинина. М.: ПЕР СЭ, 2004а. С. 39–85.
- Александров Ю. И. Научение и память: системная перспектива // Вторые симоновские чтения. М.: Изд-во РАН, 2004б. С. 3–51.
- Александров Ю. И. Системная психофизиология // Психофизиология / Под ред. Ю. И. Александрова. СПб.: Питер, 2004в. С. 253–325.
- Александров Ю. И. Предисловие // Психофизиология / Под ред. Ю. И. Александрова. СПб.: Питер, 2004 г. С. 7–10.
- Александров Ю. И. Научение и память: традиционный и системный подходы // Журнал высшей нервной деятельности. 2005а. Т. 55. Вып. 6. С. 842–860.
- Александров Ю. И. О «затухающих» парадигмах, телеологии, «каузализме» и особенностях отечественной науки // Вопросы психологии. 2005б. Т. 5. № 5. С. 155–158.
- Александров Ю. И. Опережая время. Предисловие // В. Б. Швырков. Введение в объективную психологию. Нейрональные основы психики / Под ред. Ю. И. Александрова М.: Изд-во ИП РАН, 2006а. С. 5–28.
- Александров Ю. И. От эмоций к сознанию // Психология творчества: Школа Я. А. Пономарева / Под ред. Д. В. Ушакова. М.: Изд-во ИП РАН, 2006б. С. 293–328.
- Александров Ю. И., Брушлинский А. В., Судаков К. В., Умрюхин Е. А. Системные аспекты психической деятельности. М.: Эдиториал УРСС, 1999.
- Александров Ю. И., Дружинин В. Н. Теория функциональных систем в психологии // Психологический журнал. 1998. Т. 19. № 6. С. 4–19.
- Александров Ю. И., Крылов А. К. Системная методология в психофизиологии: от нейронов до сознания // Идея системности в современной психологии / Под ред. В. А. Барабанщикова. М.: Изд-во ИП РАН, 2005. С. 119–157.
- Александров Ю. И., Сварник О. Е. Рецензия на книгу М. С. Егоровой, Н. М. Зыряновой, О. В. Паршиковой, С. Д. Пьянковой, Чертковой Ю. Д. «Генотип. Среда. Развитие» М.: ОГИ, 2004 // Психологический журнал. 2005. Т. 26. № 3. С. 138–140.
- Александрова Н. Л. ИмPLICITные концепции интеллекта в России: стабильность и динамика // Тенденции развития современной психологической науки. Ч. 1 / Под ред. А. Л. Журавлев, В. А. Кольцова. М.: Изд-во ИП РАН, 2007. С. 333–335.
- Алексеев Н. Н. Русский народ и государство. М.: Аграф, 1998.
- Алексеев А. И., Симагин Ю. А. Аграрный характер российского менталитета и реформы в сельской местности России // Российские регионы в новых экономических условиях. М.: Изд-во ИГ РАН, 1996. С. 120–126.
- Аллахвердян А. Г., Мошкова Г. Ю., Юревич А. В., Ярошевский М. Г. Психология науки. М.: Флинта, 1998.
- Анохин П. К. О решающей роли внешних факторов в историческом развитии нервной деятельности // Успехи современной биологии. 1949. Т. 28. Вып. 1 (4). С. 11–46.
- Анохин П. К. Очерки по физиологии функциональных систем. М.: Медицина, 1975.
- Анохин П. К. Философские аспекты теории функциональной системы. М.: Наука, 1978.
- Анохин П. К. Из тетрадей П. К. Анохина // Психологический журнал. 1980. Т. 1. № 4. С. 185–187.

- Анохин П. К. Идеи, ради которых я живу // Петр Кузьмич Анохин. Воспоминания современников, публицистика / Под ред. П. В. Симонова. М.: Наука, 1990а. С. 216–221.
- Анохин П. К. Изучение деятельности мозга и будущее человека // Петр Кузьмич Анохин. Воспоминания современников, публицистика / Под ред. П. В. Симонова. М.: Наука, 1990б. С. 248–251.
- Анохин К. В. Молекулярные сценарии консолидации долговременной памяти // Журнал высшей нервной деятельности. 1997. Т. 47. № 2. С. 261–280.
- Анохин К. В. «Ген языка» и «корсаковская мышь»: что мы можем узнать о когнитивных функциях от трансгенных животных? // Первая российская конференция по когнитивной науке. Тезисы докладов. Казань: Изд-во КГУ, 2004. С. 20.
- Анохин К. В. Психофизиология и молекулярная генетика мозга // Психофизиология / Под ред. Ю. И. Александрова. СПб.: Питер, 2006. С. 385–400.
- Анохин К. В. Дарвин против Дарвина // <http://www.mn.ru/print/issue/2007-45-53>.
- Антология самиздата. Неподцензурная литература в СССР. В 3 т. М.: Международный институт гуманитарно-политических исследований, 2005.
- Архив общества «Мемориал» (Москва, Ф. 102. Оп. 1. Д. 16. Л. 154–156; Ф. 172. Д. 1. Л. 72–75) // Книга для учителя. История политических репрессий и сопротивления несвободе в СССР / Под ред. В. В. Шелохаева. М.: Издательство объединения «Мосгорархив», 2002. С. 350–352, 357–358.
- Аристотель. Этика. М.: АСТ, 2006.
- Асмолов А. Г. Основные принципы психологической теории деятельности // А. Н. Леонтьев и современная психология / Под ред. А. В. Запорожца, В. П. Зинченко, О. В. Овчинниковой, О. К. Тихомирова. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1983. С. 118–128.
- Астафьев П. Е. Национальность и общечеловеческие задачи (к русской народной психологии) // Вопросы философии. 1996. № 12. С. 84–102.
- Афанасьев Ю. П. Какую Россию мы потеряли? Часть III работы «Трагедия победившего большинства» 2007. <http://www.yuri-afanasiev.ru>.
- Ахиезер А. С. Архаизация в российском обществе как методологическая проблема // Общественные науки и современность. 2001. № 2. С. 89–100.
- Бабушкин В. У. Философия духа (опыт интенционального анализа). М.: Русское рекламное изд-во, 1995.
- Бажанов Е. П. Вознесенные на Олимп // Знамя. 2007. № 4. С. 152–177.
- Барабанчиков В. А. Восприятие и событие. СПб.: Алетейя, 2002.
- Барабанчиков В. А., Носуленко В. Н. Системность. Восприятие. Общение. М.: Изд-во ИП РАН, 2004.
- Барятинский А. П. Атеистическое стихотворение. Материалы по истории восстания декабристов. Приложение к следственному делу А. П. Барятинского // Дела верховного уголовного суда и следственной комиссии / Под ред. М. В. Нечкиной. М.: Госполитиздат, 1953. Т. X. С. 301–306.
- Бахтин М. М. К философии поступка // Философия и социология науки и техники. Ежегодник 1984–1985. М.: Наука, 1986. С. 80–160.

- Безденежных Б. Н. Динамика взаимодействия функциональных систем в структуре деятельности. М.: Изд-во ИП РАН, 2004.
- Бекасов В. 150 лет «Колоколу» // Посев. 2007. № 7. С. 32–36.
- Белая Г. А. Да будет ведомо всем... // Цена метафоры или преступление и наказание Синяевского и Даниэля. М.: СП Юнона, 1990. С. 4–14.
- Белинков А. В. Письмо в СП СССР // Антология самиздата. Неподцензурная литература в СССР. 1950-е – 1980-е. Т. 2. До 1966–1973 года. М.: Международный институт гуманитарно-политических исследований, 2005. С. 87–94.
- Белкин В. И. Против Сталина при Сталине (заметки участника и очевидца) // Пока свободой горим... (О молодежном антисталинском движении конца 40-х – начала 50-х годов). М.: Независимое издательство ПИК, 2004. С. 14–37.
- Белый А. На рубеже двух столетий. М.: Художественная литература, 1989.
- Белый А. Символизм как миропонимание // Мыслители XX века. М.: Политиздат, 1994.
- Берг Л. С. Номогенез или эволюция на основе закономерностей. Пг.: Гос. изд-во, 1922.
- Бергельсон М. Б. Прагматическая и социокультурная мотивированность языковой формы. М.: Университетская книга, 2007.
- Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. М.: Наука, 1990а.
- Бердяев Н. А. Русская идея // Вопросы философии. 1990б. № 1. С. 77–144.
- Бердяев Н. А. Философская истина и интеллигентская правда // Вехи. Интеллигенция в России. Сборники статей 1909–1910. М.: Молодая гвардия, 1991а, С. 24–42.
- Бердяев Н. А. Самопознание. М.: Книга, 1991б.
- Бердяев Н. А. Философия свободного духа. М.: Республика, 1994.
- Беркович Е. Дело Ф. Бернштейна, или теория анти-относительности // Заметки по еврейской истории. 2008. № 12. [http://berkovich-zametki.com/2008/Zametki/Nomer12/Berkovich1.php#\\_ftn16](http://berkovich-zametki.com/2008/Zametki/Nomer12/Berkovich1.php#_ftn16).
- Бернштейн Н. А. Физиология движений и активность. М.: Наука, 1990.
- Бехтерев В. М. Объективная психология. М.: Наука, 1991.
- Бландэн Р. В., Линдли Р. А., Стил Э. Дж. Что, если Ламарк прав? Иммуногенетика и эволюция. М.: Мир, 2002.
- Бобнева М. И. Социальные нормы и регуляция поведения. М.: Наука, 1978.
- Бовина И. Б., Власова Е. В. Особенности представлений молодежи о СПИДе и раке // Мир психологии. 2002. № 3. С. 35–47.
- Богданов А. А. Всеобщая организационная наука (тектология). М.: Т-во Книгоиздательство писателей в Москве, 1913–1917. Т. 1–2.
- Бодунов М. В., Безденежных Б. Н., Александров Ю. И. Изменения шкальных оценок тестовых психодиагностических методик при воздействии алкоголя // Психологический журнал. 1997. Т. 18. № 5. С. 97–101.
- Большакова Н. Универсальность христианского благовестия и национализация церкви // Нужен ли Гитлер России. По материалам Международного форума «Фашизм в тоталитарном и пост тоталитарном обществе: идейные основы, социальная база, политическая активность». М.: Независимое издательство ПИК, 1996.

- Большая цензура. Писатели и журналисты в Стране Советов. 1917–1956 / Ред. А. Н. Яковлев; сост. Л. В. Максименков (серия Россия XX век. Документы). М.: МФД; Материк, 2005.
- Большой толковый словарь японского языка. ред. Курасима Маскаи. Изд-во: Сегакуан. 1976
- Бор Н. Атомная физика и человеческое познание. М.: Изд-во иностранной литературы, 1961.
- Борн М. Моя жизнь и взгляды. М.: УРСС, 2004.
- Бородин Л. И. Судьбы самиздатские // Антология самиздата. Неподцензурная литература в СССР 1950-е – 1980-е. М.: Международный институт гуманитарно-политических исследований, 2005. Т. 3. С. 174–177.
- Бочаров В. В. Антропологическая наука и общество // Журнал социологии и социальной антропологии. 2000. Т. 3. Вып. 1. С. 1–7.
- Братусь Б. С. К проблеме человека в психологии // Вопросы психологии. 1997. № 5. С. 3–19.
- Брушлинский А. В. Первые уточнения текстов Выготского Л. С. // Психологический журнал. 1996. Т. 17. № 3. С. 19–25.
- Брушлинский А. В. Психология субъекта / Под ред. В. В. Знакова. СПб: Алетейя, 2003.
- Брушлинский А. В., Сергиенко Е. А. Ментальная репрезентация как системная модель в когнитивной психологии // Ментальная репрезентация: динамика и структура. М.: Изд-во ИП РАН, 1998. С. 5–22.
- Буковский В. Московский процесс. М.: Изд-во МИК, 1996.
- Буланин Д. М. Эпилог к истории русской интеллигенции. СПб.: Дмитрий Буланин, 2005.
- Бунге М. Причинность. М.: Изд-во иностранной литературы, 1962.
- Бурдерон Р. Фашизм: идеология и практика. М.: Прогресс, 1983.
- Бэкон Ф. Новый органон. М.: Государственное социально-экономическое изд-во, 1938.
- Вайль П., Генис А. 60-е. Мир советского человека. М.: Новое литературное обозрение, 2001.
- Вайль П., Генис А. Русская кухня в изгнании: Эссе. М.: Изд-во Независимая газета, 2002.
- Ватлин А., Грегори П. Введение // Стенограммы заседаний Политбюро ЦК РКП (б) – ВКП (б) 1923–1938 гг. Т. 1. 1923–1926 гг. М.: РОССПЭН, 2007. С. 29–42.
- Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990.
- Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. М.: Русские словари, 1996.
- Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков. М.: Языки русской культуры, 1999.
- Величковский Б. М. Когнитивная наука. Основы психологии познания. В 2 т. М.: Смысл: Издательский центр «Академия», 2006. Т. 1.
- Веракса Н. Е. Предисловие // Выготский Л. С. Психология. М.: Апрель Пресс, Эксмо-Пресс, 2002. С. 5–12.
- Вернадский В. И. Живое вещество. М.: Наука, 1978.
- Вернадский В. И. Дневники 1935–1941. В 2 кн. М.: Наука, 2006.
- Воловикова М. И. О едва заметных различиях // Психология личности в условиях социальных изменений. М.: Изд-во ИП РАН, 1993. С. 56–62.
- Воловикова М. И. Нравственно-правовые представления в российском менталитете // Психологический журнал. 2004. Т. 25. № 5. С. 16–23.
- Воловикова М. И. Представления русских о нравственном идеале. М.: Изд-во ИП РАН, 2005.
- Воловикова М. И., Гренкова Л. Л. Современные представления о порядочном человеке // Российский менталитет: вопросы психологической теории и практики. М.: Изд-во ИП РАН, 1997. С. 313–322.
- Воловикова М. И., Соснина Л. М. Этнокультурное исследование представлений о справедливости (на примере молдаван и живущих в Молдове цыган) // Вопросы психологии. 2001. № 2. С. 85–93.
- Волохов А. А. Очерки по физиологии нервной системы. Л.: Медицина, 1968.
- Восприятие россиянами европейских ценностей. 15.02.2007. Левада-Центр. Аналитический центр Юрия Левады. <http://www.levada.ru/press/2007021501.html>.
- Войно-Ясенецкий В. Ф. Святитель Лука Симферопольский. Спешите идти за Христом! Проповеди в Симферополе (1946–1948 гг.). М.: Храм св. Космы и Дамиана на Маросейке, 2005.
- Выготский Л. С. Собр. соч. Т. 1. М.: Педагогика, 1982.
- Выготский Л. С. Проблемы развития психики. М. Педагогика. 1983. Т. 3.
- Выготский Л. С. Психология искусства. М.: Педагогика 1987.
- Выготский Л. С. Психология развития как феномен культуры. М.: Институт практической психологии; Воронеж: НПО Модэк, 1996.
- Выготский Л. С. Мышление и речь // Психология. М.: ЭКСМО-Пресс, 2002. С. 262–462
- Выготский Л. С. Педагогическая психология / Под. ред. В. В. Давыдова. М.: АСТ: Астрель: Люкс, 2005.
- Выготский Л. С., Лурия А. Р. Этюды по истории поведения: Обезьяна. Примитив. Ребенок. М.: Педагогика-Пресс, 1993.
- Гаврилов В. В. Сравнительная психофизиология // Психофизиология / Под ред. Ю. И. Александрова. СПб.: Питер, 2004, С. 373–384.
- Гальперин П. Я. Введение в психологию. М.: Изд-во Книжный дом Университет, 2006.
- Гачев Г. Д. Наука и национальные культуры (гуманитарный комментарий к естествознанию). Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского университета, 1992.
- Гейзенберг В. Часть и целое. Беседы вокруг атомной физике. М.: УРСС, 2004.
- Геродот. История. В 9 кн. М.: ООО Изд-во АСТ, Ладомир, 2002.
- Геттинг Г. Встречи с Альбертом Швейцером. М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1967.
- Гибсон Дж. Экологический подход к зрительному восприятию. М.: Прогресс, 1988.
- Гиндикин В. Я. Очерки истории пограничной советской психиатрии (в воспоминаниях психиатра). М.: Высшая школа психологии, 2007.
- Гинзбург В. Л. Вера в Бога несовместима с научным мышлением // Поиск. 1998. № 29–30. <http://viperson.ru/wind.php?ID=252140&soch=1>.

- Гинзбург В. Л. Разум и вера. Замечания в связи с энцикликой папы Иоанна Павла II «Вера и разум» // Вестник РАН. 1999. Т. 69. № 6. С. 546–552.
- Гитлер А. Моя борьба. М.: Изд.: Т-ОКО, 1992.
- Гоббс Т. Избр. произв. Т. 1. М.: Мысль, 1964.
- Гоголь Н. В. Авторская исповедь. Псков: Всероссийский фонд культуры, Псковское отделение, 1990.
- Голденсон Л. Нюрнбергские интервью. Екатеринбург: У-Фактория. 2008.
- Голоса из России. Сборники А. И. Герцена и Н. П. Огарева. Кн. I–III. 1856–1857. Лондон. Вып. первый. М.: Наука, 1974.
- Голоса из России. Сборники А. И. Герцена и Н. П. Огарева. Кн. V–VI. 1857–1859. Лондон. Вып. второй. М.: Наука, 1976.
- Голубева Э. А. Комплексное исследование способностей // Вопросы психологии. 1986. № 5. С. 23–37.
- Гордеева Н. Д., Зинченко В. П. Роль рефлексии в построении предметного действия // Человек. 2001. № 6. С. 26–41.
- Горкин А. Г., Шевченко Д. Г. Различия в активности нейронов лимбической коры при разных стратегиях обучения // Журнал высшей нервной деятельности. 1995. Т. 45. № 1. С. 90–100.
- Григоренко П. Г. В подполье можно встретить только крыс. М.: Звенья, 1997.
- Громыко М. М., Буганов А. В. О воззрениях русского народа. М.: Паломник, 2000.
- Грэхэм Л. Р. Естествознание, философия и науки о человеческом поведении в Советском Союзе. М.: Политическая литература, 1991.
- Гулевич О. А. Влияние обыденных представлений о справедливости на оценку партнера по общению // Вопросы психологии. 2007. № 5. С. 80–92.
- Гулевич О. А., Голыничек Е. О. Обыденные представления о справедливости правовых решений // Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2005. Т. 2. № 2. С. 119–125.
- Гумбольдт фон В. Язык и философия культуры / Под ред. А. В. Гулыги, Г. В. Рамишвили. М.: Прогресс, 1985.
- Гусельцева М. С. Категория культуры в психологии и гуманитарных науках // Вопросы психологии. 2006. № 4. С. 3–14.
- Давыдов В. В. Проблемы педагогической и детской психологии в трудах Л. С. Выготского // Выготский Л. С. Педагогическая психология / Под ред. В. В. Давыдова. М.: АСТ: Астрель: Люкс, 2005. С. 597–631.
- Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. М.: Русский язык, 1978.
- Д'Анджелло С. Дело Пастернака: воспоминания очевидца. М.: Новое литературное обозрение, 2007.
- Данилевский Н. Я. Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические отношения Славянского мира к Германско-Романскому. СПб.: Изд-во СПбГУ Глаголь, 1995.
- Дарвин Э. Храм природы. М.: Изд-во АН СССР, 1954.
- Джидарьян И. А. Представления о счастье в российском менталитете. СПб.: Аллитейя, 2001.
- Дилигенский Г. Г. «Запад» в российском общественном сознании // Общественные науки и современность. 2000. № 5. С. 5–19.

- Добжанский Ф. Мифы о генетическом предопределении и о tabula rasa // Человек. 2000. № 1. С. 10–24.
- Добролюбов Н. А. Когда же придет настоящий день? М.: ГИХЛ, 1956.
- Донцов А. И., Емельянова Т. П. Концепция социальных представлений в современной французской психологии. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1987.
- Достоевский Ф. М. Дневник писателя // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. В 30 т. Л.: Наука. 1983, 1984. Т. 25, 27.
- Доукинз Р. Эгоистичный ген. М.: Мир, 1993.
- Дробницкий О. Г. Моральная философия // Избранные труды / Сост. Р. Г. Апресян. М.: Гардарики, 2002.
- Дружинин В. Н., Самсонова Е. Ю. Психосемантическое исследование репрезентации общих умственных способностей // Развитие идей Б. Ф. Ломова в исследованиях по психологии труда и инженерной психологии: Материалы I научных ломовских чтений. М.: Изд-во ИПРАН, 1992. С. 100–118.
- Дубин Б. Жить в России на рубеже столетий. Социологические очерки и разработки. М.: Прогресс-Традиция, 2007.
- Дубинин Н. П. Биологическое и социальное в человеке // Биологическое и социальное в развитии человека / Под ред. Б. Ф. Ломова. М.: Наука, 1977. С. 81–93.
- Дубинин Н. П. Вечное движение. Воспоминания. М.: Политиздат, 1989.
- Дубровский Д. И. Психические явления и мозг. М.: Наука. 1971.
- Дубровский Д. И. Существует ли внесловесная мысль? // Вопросы философии. 1977. № 9. С. 97–104.
- Дубровский Д. И. Обман. Философско-психологический анализ. М.: Изд-во РЭИ, 1994.
- Дулуман Е. К. Туринская плащаница (Историческая правда вместо «чудес» вокруг да около). <http://www.skeptik.net/miracles/turin.htm>.
- Дюркгейм Э. О разделении общественного труда // Метод социологии. М.: Наука, 1991.
- Дьюи Дж. Демократия и образование. М.: Педагогика-Пресс, 2000.
- Дьяков Ю. Л., Бушуева Т. С. Фашистский меч ковался в СССР. Красная Армия и рейхсвер. Тайное сотрудничество. 1922–1933. Неизвестные документы. М.: Сов. Россия. 1992. С. 28, 342–344
- Жодле Д. Социальное представление: феномены, концепт и теория // Социальная психология / Под ред. С. Московичи. СПб.: Питер. 2007. С. 372–394.
- Журавлев А. Л. Социально-психологическая динамика в условиях экономических изменений в обществе // Труды Института психологии РАН / Под ред. А. В. Брушлинского и В. А. Бодрова. М.: Изд-во ИП РАН, 1997. Т. 2. С. 123–129.
- Журавлев А. Л. Особенности междисциплинарных исследований в психологической науке // Психология. Современные направления междисциплинарных исследований / Под ред. А. Л. Журавлева и Н. В. Тарабриной. М.: Изд-во ИП РАН, 2003. С. 7–20.

- Журавлев А. Л., Журавлева Н. А. Влияние субъективного экономического статуса на экономическое сознание личности // Социально-психологическая динамика в условиях экономических изменений / Под ред. А. Л. Журавлева и Е. В. Шороховой. М.: Изд-во ИП РАН, 1998. С. 221–258.
- Журавлев В. К. Внешние и внутренние факторы языковой эволюции. М.: Наука, 1982.
- Журавлева Н. А. Динамика ценностных ориентаций личности в российском обществе. М.: Изд-во ИП РАН, 2006.
- Запорожец А. В., Венгер Л. А., Зинченко В. П., Рузская А. Г. Восприятие и действие. М.: Просвещение, 1967.
- Зиновьев А. А. Запад. Феномен западнизма. М.: Центрполиграф, 1995.
- Зиновьев А. А. Исповедь отщепенца. М.: Вагриус, 2005.
- Зинченко В. П. Проблема внешнего и внутреннего и становление образа себя и мира как реализация сознания // Мир психологии. 1999. № 1. С. 97–104.
- Зинченко В. П. Мысль и слово Густава Шпета (возвращение из изгнания). М.: Изд-во УРАО, 2000.
- Зинченко В. П., Мамардашвили М. К. Проблема объективного метода в психологии // Вопросы философии. 1977. № 7. С. 109–125.
- Зинченко В. П., Моргунов Е. Б. Человек развивающийся. Очерки российской психологии. М.: Тривола, 1994.
- Знаков В. В. Понимание субъектом правды о моральном поступке другого человека: нормативная этика и психология нравственного сознания // Психологический журнал. 1991. Т. 12. № 1. С. 32–43.
- Знаков В. В. Неправда, ложь и обман как проблемы психологии понимания // Вопросы психологии. 1993. № 2. С. 9–16.
- Знаков В. В. Психология понимания. Проблемы и перспективы. М.: Изд-во ИП РАН, 2005а.
- Знаков В. В. Предисловие // Субъект, личность и психология человеческого бытия / Под ред. В. В. Знакова и З. И. Рябикина. М.: Изд-во ИП РАН, 2005б. С. 5–8.
- Знаков В. В. Психология субъекта и психология человеческого бытия // Субъект, личность и психология человеческого бытия / Под ред. В. В. Знакова и З. И. Рябикина. М.: Изд-во ИП РАН, 2005 в. С. 9–44.
- Знаков В. В. Понимание в мышлении, общении, человеческом бытии. М.: Изд-во ИП РАН, 2007.
- Зубов А. Б. Размышления над причинами революции в России // Новый мир. 2006. № 7. С. 122–160.
- Иваницкий А. М. Психофизиология сознания // Основы психофизиологии / Под ред. Ю. И. Александрова. М.: Инфра-М, 1997. С. 202–219.
- Иваницкий А. М. Главная загадка природы: как на основе работы мозга возникают субъективные переживания // Психологический журнал. 1999. Т. № 3. С. 93–104.
- Иваницкий Н. А. Коллективизация и раскулачивание (начало 30-х годов). М.: Интерпаркус, 1994.

- Иванченко Г. В. Принцип необходимого разнообразия в культуре и искусстве. Таганрог: ТРТУ, 1999.
- Из отчета о перлюстрации Департамента полиции за 1908 г. // Красный архив. 1928. № 2. С. 144–145.
- Из фондов витебского архива // 10 заповедей обращения с русскими. 1943.
- Ильин И. А. О русской идее // Русская идея. М.: Республика, 1992. С. 429–443.
- Йогансен В. Элементы точного изучения наследственности и изменчивости. М.–Л.: Сельхозгиз, 1933.
- История политических репрессий и сопротивления несвободе в СССР // Книга для учителя / Под ред. В. В. Шелохаева. М.: Издательство объединения Мосгорархив, 2002. С. 355.
- История этических учений. Под ред. Гусейнова А. А. М.: Гардарики, 2003.
- Йолова Х. Г. Соотношение самооценки и некоторых компонентов умственных способностей: Автореф. дис. ... канд. психол. наук. М., 1989.
- Кавелин К. Д. Наш умственный строй // Статьи по философии русской истории и культуры. М.: Правда. 1989.
- Казанов В. М. И. М. Сеченов // И. М. Сеченов. Избранные философские и психологические произведения. М.: Гос. изд-во политической литературы, 1947. С. 3–66.
- Камшилов М. М. Организация биосферы, возрастание воздействия человека на ее функционирование и развитие и проблема ноогенеза // Проблема взаимосвязи организации и эволюции в биологии. М.: Наука, 1978. С. 263–292.
- Камю А. Бунтующий человек. М.: Изд-во политической литературы, 1990.
- Кант И. Критика чистого разума / Пер. Н. О. Лосского. М. Наука, 1998.
- Канцельсон С. Д. Категории языка и мышления // Из научного наследия (Классики отечественной филологии). М.: Языки славянской культуры, 2001.
- Канцельсон С. Д. Содержание слова, значение и обозначение. М.: УРСС, 2004.
- Карамян А. И. Функциональная эволюция мозга позвоночных. Л.: Наука, 1970.
- Карацуба И. В., Курукин И. В., Соколов Н. П. Выбирая свою историю. «Развилки» на пути России: от Рюриковичей до олигархов. М.: КоЛибри, 2006.
- Карнейро Р. Л. Культурный процесс // Антология исследований культуры. Интерпретации культуры / Под ред. Л. А. Мостова. СПб.: Университетская книга, 1997. Т. 1. С. 421–438.
- Керенский А. Ф. Русская революция. 1917. М.: Центрполиграф, 2005.
- Кессиди Ф. Х. Этические сочинения Аристотеля // Аристотель Этика. М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2006. С. 5–37.
- Киселев А. Ф. Иван Ильин и его поющее сердце. М.: Логос, 2006.
- Книга для учителя. История политических репрессий и сопротивления несвободе в СССР / Под ред. В. В. Шелохаева. М.: Издательство объединения Мосгорархив, 2002.
- Ковалев С. А. Событием был он сам // Григоренко П. Г. В подполье можно встретить только крыс. М.: Звенья, 1997. С. 7–10.
- Когхилл Д. Э. Анатомия и проблема поведения. М., Л.: Биомедгиз, 1934.

- Кожин В. В. О русском национальном сознании. М.: Алгоритм, 2002.
- Колбенева М. Г., Петренко В. Ф., Безденежных Б. Н., Александров Ю. И. Связь между эмоциональностью и модальной отнесенностью прилагательных русского языка // Обработка текста и когнитивные технологии / Под ред. В. Соловьева, В. Голдберга, В. Полякова. Казань: КГУ, 2006. № 11. С. 378–387.
- Кондаков И. В. Запад и Восток // Культурология. XX век. Энциклопедия в двух томах. Главный ред. и составитель С. Я. Левит. СПб.: Университетская книга, 1998. Т. 1. С. 667–670.
- Коплстон Ф. От Фихте до Ницше. М.: Республика, 2004.
- Коул М. Культурно-историческая психология. Наука будущего. М.: Когито-Центр, 1997.
- Кропоткин П. А. Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса. СПб.-М.: Книгоизд-во Голос Труда, 1922.
- Крылов А. К., Александров Ю. И. Погружение в среду как альтернатива методике предъявления стимулов: модельное исследование // Психологический журнал. 2007. Т. 28. № 2. С. 106–113.
- Кун Т. Структура научных революций. М.: Прогресс, 1975.
- Кэмпбелл Д. Т. Социальные диспозиции индивида и их групповая функциональность: эволюционный аспект // Психологические механизмы регуляции социального поведения / Под ред. М. И. Бобневой, Е. В. Шороховой. М.: Наука, 1979. С. 76–102.
- Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. М.: Медиум. 1995.
- Ламарк Ж. Б. П. А. Философия зоологии. М.-Л.: Гос. Изд-во биологической и медицинской литературы, 1937. Т. 2.
- Ланщиков А. П. Г. И. Успенский // Успенский Г. И. Теперь и прежде. М.: Изд-во Советская Россия, 1977. С. 3–22.
- Лебедева Н. М. Введение в этническую и кросс-культурную психологию. М.: Ключ-С, 1999.
- Лебон Г. Психология толп // Лебон Г. Психология толп. Тард Г. Мнение и толпа. М.: Изд-во ИП РАН, Изд-во КСП+, 1998. С. 15–254.
- Левин К. Конфликт между аристотелевским и галилеевским способами мышления в современной психологии // Психологический журнал. 1990. Т. 11. № 5. С. 134–158.
- Левин К. Разрешение социальных конфликтов. СПб.: Речь, 2000.
- Лейтес Н. С. Неравномерность возрастного развития способностей // Умственные способности и возраст. М.: Просвещение, 1971. С. 29–220.
- Леонтович К. Ф. Стадии морального развития личности, стиль поведения и художественный вкус // Психологические механизмы регуляции социального поведения / Под ред. М. И. Бобневой, Е. В. Шороховой. М.: Наука, 1979. С. 204–218.
- Леонтович О. А. Русские и американцы: парадоксы межкультурного общения. М.: Гнозис, 2005.
- Леонтьев А. Н. Психологические вопросы сознательности учения // Известия АПН РСФСР. 1946. Вып. 7. С. 3–40.
- Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1972.
- Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Политиздат, 1975.
- Леонтьев А. Н. Вступительная статья // Выготский Л. С. Собр. соч. М.: Педагогика, 1982. Т. 1. С. 9–41.
- Лихачев Д. С. Культура как целостная динамическая среда // Вестник РАН. 1994. № 8. С. 721–725.
- Лобовиков В. О. Естественное право: Современная теория и ее приложение к экономике. Екатеринбург: УрО РАН, 2003.
- Ломов Б. Ф. Особенности познавательных процессов в условиях общения // Психологический журнал. 1980. Т. 1. № 5. С. 26–42.
- Ломов Б. Ф. Системность в психологии // Избранные психологические труды / Под ред. В. А. Барабанщикова, Д. Н. Завалишиной, В. А. Пономаренко. М.: Московский психосоциальный институт, Воронеж: НПО МОДЭК, 2003.
- Ломоносов М. В. О сохранении и размножении русского народа // Избр. произв. История, филология, поэзия. М.: Наука, 1986. Т. 2. С. 130–144.
- Лоренц К. По ту сторону зеркала. Исследование естественной истории человеческого познания // Эволюция. Язык. Познание / Под ред. И. П. Меркулова. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 42–69.
- Лосев А. Ф. Об интеллигентности // Лосев А. Ф. Дерзание духа. М.: Политиздат, 1988. С. 314–322.
- Лотман Ю. М. Семиосфера. СПб.: Искусство-СПБ., 2000.
- Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Роль дуальных моделей в динамике русской культуры (до конца XVIII века) // Труды по русской и славянской филологии. XXVIII: Литературоведение. К 50-летию профессора Бориса Фёдоровича Егорова. Тарту, 1977. С. 3–36.
- Лурия А. Р. Основы нейропсихологии. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1973.
- Лурия А. Р. Научные горизонты и философские тупики в современной лингвистике (Размышления психолога о книгах Н. Хомского) // Вопросы философии. 1975а. № 4. С. 142–149.
- Лурия А. Р. Эволюционное введение в психологию: материалы к курсу лекций по общей психологии. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1975б. Ч. 1.
- Лурия А. Р. О месте психологии в ряду социальных и биологических наук // Вопросы философии. 1977. № 9. С. 68–76.
- Лурия А. Р. Язык и сознание. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979.
- Лурия А. Р. Этапы пройденного пути. Научная автобиография / Под ред. Е. Д. Хомской. М.: Моск. ун-та, 1982.
- Лурия А. Р. Маленькая книжка о большой памяти // Романтические эссе. М.: Педагогика-Пресс, 1996.
- Лурье С. В. Метаморфозы традиционного сознания (Опыт разработки теоретических основ этнопсихологии и их применение к анализу исторического и этнографического материала). СПб.: Тип. им. Котлякова, 1994.
- Малиновский Б. Функциональный анализ. Антология исследований культуры // Интерпретации культуры / Под ред. Л. А. Мостова. СПб.: Университетская книга, 1997. Т. 1. С. 681–702.

- Марголис Д. Личность и сознание. Перспективы нередуктивного матриализма. М.: Прогресс, 1986.
- Маркс К. Введение (Из экономических рукописей 1857–1859) // Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. М.: Государственное издание политической литературы, 1961. Т. 12.
- Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. М.: Политиздат, 1956.
- Марцинковская Т. Д. Русская ментальность и ее отражение в науках о человеке. М.: Блиц, 1994.
- Матурана У. Р., Варела Ф. Х. Древо познания. Биологические корни человеческого понимания. М.: Прогресс-Традиция, 2001.
- Медведева-Томашевская Н. Н. Загадки и тайны «Тихого Дона» // Итоги независимых исследований текста романа. 1974–1994. Самара: Р. С. пресс, 1996. Т. 1.
- Медников Б. М. Организм. Геном. Язык // Избранные труды. М.: Т-во научных изданий КМК, 2005.
- Мельникова А. А. Язык и национальный характер. Взаимосвязь структуры языка и ментальности. СПб.: Речь, 2003.
- Меркулов И. П. Когнитивные типы мышления // Эволюция. Язык. Познание / Под ред. И. П. Меркулова. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 70–83.
- Мечников И. И. Этюды оптимизма. М.: Наука, 1988.
- Мироненко И. А. Отечественная психология и вызов современности // Теория и методология психологии: Постнеклассическая перспектива / Отв. ред. А. Л. Журавлев, А. В. Юревич. М.: Изд-во ИП РАН, 2007. С. 249–267.
- Михайлов А. В. Гёте и поэзия Востока // Восток-Запад. Исследования. Переводы. Публикации. М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1985. С. 83–128.
- Московичи С. Социальное представление: исторический взгляд // Психологический журнал. 1995а. Т. 16. № 1. С. 3–18.
- Московичи С. Социальное представление: исторический взгляд. Продолжение // Психологический журнал. 1995б. Т. 16. № 2. С. 3–14.
- Моссе Дж. Нацизм и культура. Идеология и культура национал-социализма. М.: Центрполиграф, 2003.
- Мюллер Н. Вермахт и оккупация. (1941–1944) // О роли вермахта и его руководящих органов в осуществлении оккупационного режима на советской территории. М.: Ордена Трудового Красного Знамени Военное издательство Министерства Обороны СССР, 1974.
- Нагель Т. Что все это значит? Очень краткое введение в философию. М.: Идея Пресс, 2001.
- Неизвестная Россия. XX век // Архивы. Письма. Мемуары. М.: Изд-во Историческое наследие, 1993.
- Никитина Н. Н. Философия культуры русского позитивизма начала века. М.: АО Аспект Пресс, 1994.
- Николаева О. П. Морально-правовые суждения и проблема развития морального сознания в разных культурах: Автореф. дис.... канд. психол. наук. М., 1992.
- Ницше Ф. Антихристианин // Сумерки богов. М.: Изд-во политической литературы, 1990а. С. 17–93.
- Ницше Ф. По ту сторону добра и зла // Ницше Ф. Собр. соч. В 2 т. М.: Мысль, 1990б. Т. 2.
- Ницше Ф. Генеалогия морали. СПб.: Издательский Дом Азбука-классика, 2006.
- Нуаре Л. Орудие труда. Киев.: Гос. изд-во Украины, 1925.
- Нюрнбергский процесс. Сборник материалов. М.: Гос. Изд-во юридической литературы, 1954. Т. 2.
- Овсянко-Куликовский Д. Н. Психология русской интеллигенции // Вехи; Интеллигенция в России: Сб. ст. 1909–1910. М.: Молодая гвардия, 1991. С. 382–405.
- Одинцова М. А. Социальные представления об интеллектуальности: сравнительное исследование на российской выборке: Дипломная работа под рук. Н. Л. Александровой. М.: Высшая школа психологии, 2005.
- Орбели Л. А. Эволюционный принцип в применении к физиологии центральной нервной системы // Успехи современной биологии. 1942. Вып. 2. С. 257–272.
- Отчет об изменениях в Уставе на XVIII съезде КП (б) СССР 18 марта 1939 г. // XVIII Съезд Коммунистической партии (б) СССР. Стенографический отчет. М.: ОГИЗ, Политиздат, 1939. Цит по: Д'Анджелло С. Дело Пастернака: воспоминания очевидца. М.: Новое Литературное Обозрение, 2007. С. 36.
- Павлов И. П. Об уме вообще, о русском уме в частности // Природа. 1999. № 8. С. 93–102.
- Паламарчук О. Т. Проблемы национального и общечеловеческого в контексте движущейся художественно-исторической мысли (актуальная ретроспекция): Автореф. дис. ... док. филол. наук. Краснодар: Кубанский гос. ун-т., 2003.
- Панов Е. Н. Знаки, символы, языки. Коммуникация в царстве животных и в мире людей. М.: КМК Scientific Press, 2005.
- Паскаль Б. Мысли. СПб.: Азбука, 1999.
- Петренко В. Ф. Экспериментальная психосемантика: исследования индивидуального сознания // Вопросы психологии. 1982. № 5. С. 23–35.
- Петренко В. Ф. Школа Леонтьева А. Н. в семантическом пространстве психологической мысли // Традиции и перспективы деятельностного подхода в психологии: школа Леонтьева А. Н. М.: Смысл, 1999. С. 11–37.
- Петренко В. Ф. Основы психосемантики. СПб.: Питер, 2005.
- Петренко В. Ф., Митина О. В. Психосемантический анализ динамики общественного сознания. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1997.
- Петруня О. Э. О философском проекте И. В. Киреевского // Вестник Международного Славянского Университета, 1998. Вып. 3. С. 84–89.
- Пиаже Ж. Моральное суждение у ребенка. М.: Академический проект, 2006.
- Пинкер С. Язык как инстинкт. М.: УРСС, 2004.
- Пикер Г. Застольные разговоры Гитлера. Смоленск: Русич, 1993.

- Письма во власть. 1928–1939 / Сост. А. Я. Лившин, И. Б. Орлов, О. В. Хлевнюк. М.: РОССПЭН, 2002.
- Питерские рабочие и диктатура пролетариата. Октябрь 1917–1929 // Экономические конфликты и политический протест: Сборник документов. СПб.: Блиц, 2000.
- Покровский И. А. Перуново заклатье // Пути Евразии. Русская интеллигенция и судьбы России. М.: Русская книга, 1992. С. 257–271.
- Полани М. Личностное знание. На пути к посткритической философии. Благовещенск: БГК им. И. А. Бодуэна де Куртенэ, 1998.
- Политические партии и общество в России 1914–1917 гг. // Сборник статей и документов / Отв. ред. Ю. И. Кирьянов. М.: ИНИОН, 1999.
- Пономарев Я. А. Психология творения // Избранные психологические труды. М.–Воронеж: Московский социально-психологический институт, 1999.
- Поповский М. Управляемая наука. London: Overseas Publications Interchange, 1978.
- Поппер К. Логика и рост научного знания. М.: Прогресс, 1983.
- Поппер К. Фримен и Сколимовский о пирсовских предвосхищениях Поппера. Ответы моим критикам // Эволюционная эпистемология и логика социальных наук. Карл Поппер и его критики / Ред. В. Н. Садовский. М.: Эдиториал УРСС, 2000. С. 282–289.
- Поршнев В. Ф. Социальная психология и история. М.: Наука, 1979.
- Послесловие. У истоков геронтологии // Мечников И. И. Этюды оптимизма. М.: Наука, 1988. С. 277–313.
- Потебня А. А. Из записок по русской грамматике. М.: Учпедгиз, 1958. Т. I, II.
- Пржиленская И. Б. Междисциплинарный подход в современной социальной теории // Современные социально-философские и психолого-педагогические проблемы. Вып. XVIII. Москва-Ставрополь: СевКавГТУ, 2005. С. 56–63.
- Прохазка Г. Трактат о функциях нервной системы. Л.: МЕДГИЗ, 1957.
- Процесс цепной реакции // Сборник документов по делу Ю. Т. Галанскова, А. И. Гинзбурга, А. А. Добровольского, В. И. Лашковой. Франкфурт-на-Майне: Посев, 1971.
- Психологические исследования творческой деятельности / Под ред. О. К. Тихомирова. М.: Наука, 1975.
- Пушкин А. С. Дневники // Автобиографическая проза. М.: Советская Россия, 1989.
- Разин А. В. Этика: история и теория. М.: Академический проект, 2002.
- Разумовский Ф. В. Матвей Казаков – архитектор «дворянской республики» // Наше наследие. 1991. № VI. С. 48–63.
- Рассел Б. Почему я не христианин. М.: Изд-во политической лит-ры, 1987.
- Рассел Б. История западной философии. Новосибирск: Сиб. Унив. Изд-во; Изд-во Новосиб. Ун-та, 2001.
- Ребер А. Большой толковый психологический словарь. М.: Вече. АСТ, 2003. Т. 1.
- Роуз С. Устройство памяти от молекул к сознанию. М.: Мир, 1995.
- Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии. М.: Педагогика, 1973.
- Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. М.: Педагогика, 1989а. Т. 1.
- Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. М.: Педагогика, 1989б. Т. 2.
- Руткевич А. М. Примечания // Сумерки богов. М.: Изд-во политической литературы, 1990. С. 345–393.
- Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. М.: Наука, 1981.
- Рыков А. С. Модели и методы системного анализа: принятие решений и оптимизация. М.: МИСИС, Издательский дом Руда и металлы, 2005.
- Садовский В. Н. Основания общей теории систем. М.: Наука, 1974.
- Самойленко Е. С., Галкина Т. В., Болон Ж., Вернье Ж. Субъективные представления о математике как сфере знания у французских и русских преподавателей // Психология, практика, образование: формы и способы интеграции. М.: Изд-во ИП РАН, 2007.
- Самойлов Е. В. Феномен архаизации культуры и его влияние на постсоветское экономическое развитие // Вестник Донского ГТУ. 2007. Т. 4. № 1. С. 110–114.
- Самсонова Е. Ю. Репрезентация общих умственных способностей в индивидуальном и групповом сознании: Автореф. дис. ... канд. психол. наук. М., 1994.
- Самуэлс Э. Юнг и постюнгианцы. М.: ЧеРо, 1997.
- Сахаров А. Д. Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе // Тревога и надежда. М.: Интер-Версо, 1990.
- Свасьян К. А. Фридрих Ницше: Мученик познания // Ницше Ф. Собр. соч. В 2 т. М.: Мысль, 1990. Т. 1. С. 5–46.
- Сергиенко Е. А. Восприятие и действие: взгляд на проблему с точки зрения отنوгенетических исследований // Психология. 2004. № 2. С. 16–37.
- Сергиенко Е. А. Раннее когнитивное развитие. Новый взгляд. М.: Изд-во ИП РАН, 2006.
- Сеченов И. М. Элементы мысли // Сборник избранных статей. М., Л.: Изд-во АН СССР, 1943.
- Сколимовский Г. Карл Поппер и объективность научного знания // Эволюционная эпистемология и логика социальных наук / Под ред. В. Н. Садовского. М.: Эдиториал УРСС, 2000. С. 242–267.
- Славская А. Н. Правовые представления российского общества // Российский менталитет: вопросы психологической теории и практики. М.: Изд-во ИП РАН, 1997. С. 75–92.
- Слобин Д. Психоллингвистика // Слобин Д. Психоллингвистика. Грин Д. Психоллингвистика. Хомский и психология. М.: УРСС, 2004. С. 26–215.
- Смелзер Н. Социология. М.: Феникс, 1994.
- Смирнов А. Ф. Государственная дума российской империи 1906–1917 гг.: Историко-правовой очерк. М.: Книга и бизнес, 1998.
- Смирнова (Александрова) Н. Л. Исследование имплицитных концепций интеллекта // Психология личности в условиях социальных изменений. М.: Изд-во ИП РАН, 1993. С. 97–103.
- Смирнова (Александрова) Н. Л. Социальные репрезентации интеллектуальности (на примере российской выборки) // Психологический журнал. 1994. Т. 15. № 6. С. 61–68.

- Смирнова (Александрова) Н. Л. Представления об интеллекте у подростков и педагогов // *Сознание личности в кризисном обществе*. М.: Изд-во ИП РАН, 1995а. С. 135–146
- Смирнова (Александрова) Н. Л. Образ интеллектуальной личности: исследование повседневных концепций интеллектуальности // *Современная психология: исторические, методологические и социокультурные аспекты развития* (Материалы Международной конференции «II Московские встречи»). М.: Изд-во ИП РАН, 1995б. С. 147–149.
- Смирнова (Александрова) Н. Л. Образ умного человека: российское исследование // *Российский менталитет: Вопросы психологической теории и практики*. М.: Изд-во ИП РАН, 1997. С. 112–130.
- Смирнова (Александрова) Н. Л. Типы социальных представлений об интеллектуальной личности // *Современная психология: состояние и перспективы исследования*. Ч. 3. Социальные представления и мышление личности. М.: Изд-во ИП РАН, 2002. С. 129–139.
- Советская повседневность и массовое сознание. 1939–1945 // Сост. А. Я. Лившин, И. Б. Орлов. М.: РОССПЭН, 2003.
- Сойфер В. Р. Туринская плащаница и современная наука // *Континент*. 2003, № 117, 118. <http://magazines.russ.ru/continent/2003/117/s22.html>.
- Сойфер В. Р. Загубленный талант // *Континент*. 2005. № 126. С. 295–308.
- Соколов А. Н. Внутренняя речь и мышление. М.: Просвещение, 1968.
- Соколов К. Б. Национальная идентичность в контексте системного подхода // *Системные исследования культуры*. 2008 / Под. ред. Г. В. Иванченко, В. С. Жидков. СПб.: Алетейя, 2009. С. 76–109.
- Солженицын А. И. Публицистика, статьи и речи. Париж: ИМКА-Пресс, 1981.
- Солженицын А. И. Архипелаг ГУЛАГ. 1918–1956. Опыт художественного исследования. Ч. I–II. М.: Книга. 1990.
- Солженицын А. И. Жить не по лжи // *Ленин в Цюрихе*. Рассказы. Крохотки. Публицистика. Екатеринбург: Изд-во У-Фактория, 1999. С. 569–574.
- Солженицын А. И. Двести лет вместе. М.: Русский путь, 2002. Ч. II.
- Солженицын А. И. Письмо вождям Советского Союза // *Антология самиздата*. Неподцензурная литература в СССР. М.: Международный институт гуманитарно-политических исследований, 2005а. Т. 2. С. 334–347.
- Солженицын А. И. Образованщина // *Антология самиздата*. Неподцензурная литература в СССР // *Солженицын А. И. Собр. соч.* В 3 т. М.: Международный институт гуманитарно-политических исследований. 2005б. Т. 3. С. 254–259.
- Соловьев В. С. Собр. соч. В 2 т. М.: Мысль, 1988. Т. 1.
- Сорокин П. А. Социальная и культурная динамика. М.: Астрель, 2006.
- Спиноза Б. Избр. произв. М.: Госполитиздат, 1957. Т. 1.
- Сталин И. В. Об антисемитизме // *Правда*. 1936. 30 нояб.
- Станиславский К. С. О цензуре // *Станиславский К. С. Об искусстве театра*. Избранное. М.: Всероссийское театральное общество, 1982. С. 29–38.
- Стенограммы заседаний Политбюро ЦК РКП(б)–ВКП(б) 1923–1938 гг. Т. 1. 1923–1926 гг. М.: РОССПЭН, 2007.
- Степин В. С. Научное познание и ценности техногенной цивилизации // *Вопросы философии*. 1989. № 10. С. 3–18.
- Степин В. С. Анализ исторического развития философии науки в СССР // *Грэхэм Л. Р. Естествознание, философия и науки о человеческом поведении в Советском Союзе*. М.: Изд-во Политической лит-ры, 1991. С. 424–440.
- Степин В. С., Кузнецова Л. Ф. Научная картина мира в культуре техногенной цивилизации. М.: Изд-во ИФ РАН, 1994.
- Стефаненко Т. Г. Этнопсихология. М.: Аспект Пресс, 2004.
- Струве П. Б. Интеллигенция и революция // *Вехи. Интеллигенция в России*. Сборники статей 1909–1910. М.: Молодая гвардия, 1991. С. 136–152.
- Суконник А. Ю. Пародия на экзистенциальный роман // *Новый мир*. 2007. № 2. С. 149–161.
- Твардовский А. Т. Рабочие тетради 60-х годов // *Знамя*. 2002. № 10. С. 141–191.
- Тимофеева О. В. Чья ложь лучше? (Рец. на кн.: Un «mensonge déconcertant»? : La Russie au XXe siècle. Paris, 2003) // *Независимый филологический журнал*. 2004. 68. С. 304–308.
- Токарев С. А. Послесловие // *Фрэзер Д. Д. Золотая ветвь*. Исследование магии и религии. М.: Изд-во полит. лит-ры, 1980. С. 794–804.
- Трубецкой Н. С. Верхи и низы русской культуры // *Пути Евразии*. Русская интеллигенция и судьбы России. М.: Русская книга, 1992. С. 330–346.
- Тулмин С. Человеческое понимание. М.: Прогресс, 1984.
- Туровский М. Б. Философские основания культурологии. М.: РОССПЭН, 1997.
- Уайт Л. Избранное: Эволюция культуры. М.: РОССПЭН, 2004.
- Уайтхед А. Н. Избранные работы по философии. М.: Прогресс, 1990.
- Уорф Б. Л. Отношение норм поведения и мышления у языку // *Новое в лингвистике*. М.: Иностранная литература, 1960. Вып. 1. С. 58–92.
- Успенский Б. А. Антиповедение в культуре древней Руси // *Успенский Б. А. Избранные труды*. Т. 1. Семиотика истории. Семиотика культуры. М.: Гнозис, 1994. С. 320–332.
- Успенский Б. А. Русская интеллигенция как специфический феномен русской культуры // *Этюды о русской истории*. СПб.: Азбука, 2002. С. 393–413.
- Успенский Г. И. Народная интеллигенция // *Теперь и прежде*. М.: Советская Россия, 1977. С. 213–217.
- Успенский Л. А. Пути искусства «живописного» направления в Синодальный период Русской Церкви // *Вестник Русского Западно-Европейского Патриаршего Эзархата*. 1974. № 085–088. С. 141–185.
- Ушаков Д. В. Мышление и интеллект // *Психология XXI века* / Под ред. В. Н. Дружинина. М.: ПЕР СЭ, 2004. С. 291–353.
- Ушакова Т. Н. Речь. Истоки и принципы развития. М.: ПЕР СЭ, 2004а.
- Ушакова Т. Н. Психология речи и языка. Психолингвистика // *Психология XXI века* / Под ред. В. Н. Дружинина. М.: ПЕР СЭ, 2004б. С. 353–395.
- Фантоли А. Галилей: в защиту учения Коперника и достоинства Святой Церкви. М.: МИК, 1999.
- Файнберг Л. А. У истоков социогенеза. От стада обезьян к общине древних людей. М.: Наука, 1980.

- Фёдорова В. С. Динамика социальных представлений о взрослости у подростков. Неопубликованные данные, 2007.
- Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М.: Прогресс, 1986. Философский словарь / Под ред. И. Т. Фролова. М.: Изд-во политической литературы, 1986.
- Флоренский П. А. Столп и утверждение истины. М.: Правда, 1990а. Т. 1 (I). Флоренский П. А. У водоразделов мысли. М.: Правда, 1990б. Т. 2. Флоренский П. А. Детям моим. Воспоминания прошлых дней. М.: Изд-во АСТ, 2004.
- Франк С. Л. Этика нигилизма (К характеристике нравственного мировоззрения русской интеллигенции) // Вехи. Интеллигенция в России. Сборники статей 1909–1910. М.: Молодая гвардия, 1991. С. 153–184.
- Франкл В. Человек в поисках смысла. М.: Прогресс, 1990.
- Франкл Д. Археология ума. М.: АСТ: Астрель, 2007.
- Фресс П., Пиаже Ж. Экспериментальная психология. М.: Прогресс, 1975. Вып. 5.
- Фрэзер Д. Д. Золотая ветвь. Исследование магии и религии. М.: Изд-во лит.-лит.-ры, 1980.
- Хайек фон Ф. А. Контрреволюция науки. Этюды о злоупотреблениях разумом. М.: ОГИ, 2003.
- Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса / Ред. В. А. Звегинцев. М.: Изд-во МГУ, 1972.
- Хомский Н. О природе и языке. М.: УРСС, 2005.
- Холодная М. А. Когнитивные стили как проявление своеобразия индивидуального интеллекта. Киев: УМК ВО, 1990.
- Холодная М. А. Когнитивные стили и интеллектуальные способности // Психологический журнал. 1992. Т. 13. №3. С. 84–94.
- Хорган Д. Конец науки. Взгляд на ограниченность знания на закате Века Науки. СПб.: Амфора, 2001.
- Хрущев Н. С. Отчетный доклад на XX съезде партии. М.: Госполитиздат, 1956. Цена метафоры или преступление и наказание Синявского и Даниэля. М.: СП Юнона, 1990.
- Цукерман Г. А. Виды общения в обучении. Томск: Пеленг, 1993.
- Чаадаев П. Я. Полн. собр. соч. и избранные письма. М.: Наука, 1991. Т. 1, 2. Черная книга / Под. ред. В. Гроссмана, И. Эренбурга. Киев: МИП Обериг, 1991.
- Чуковская Л. К. Открытое письмо Михаилу Шолохову, автору «Тихого Дона» // Цена метафоры или преступление и наказание Синявского и Даниэля. М.: СП Юнона, 1990. С. 502–505.
- Чуковская Л. К. Избранное. М.: Горизонт; Минск: Аурика, 1997.
- Чупина Г. А., Суровцева Е. В. Современное цивилизованное мышление и российский менталитет // Социально-политический журнал. 1994. №9–10. С. 21–30.
- Чуприкова Н. И. Психология умственного развития: принцип дифференциации. М.: Столетие, 1997.
- Чуприкова Н. И. Идеи общих законов развития в трудах русских мыслителей конца XIX– начала XX в. // Вопросы психологии. 2000. №1. С. 109–125.
- Шадриков В. Д. Поведение как фактор формирования совести // Психология. 2006. Т. 3. №4. С. 3–13.
- Шанже Ж.-П., Конн А. Материя и мышление. М.–Ижевск: Институт компьютерных исследований; НИЦ Регулярная и хаотическая динамика, 2004.
- Шафаревич И. Р. Русский народ на переломе тысячелетий. М.: Русская идея, 2000.
- Швейцер А. Письмо А. Швейцера Н. С. Хрущеву // Письма из Ламбарене. Л.: Наука, 1989. С. 376.
- Швырков В. Б. Психофизиология поведения и эмоции // Эмоции и поведение: системный подход. М., 1984. С. 317–319.
- Швырков В. Б. Введение в объективную психологию. Нейрональные основы психики / Под ред. Ю. И. Александрова. М.: Изд-во ИП РАН, 1995.
- Швырков В. Б. Введение в объективную психологию. Нейрональные основы психики // Избранные труды / Под ред. Ю. И. Александрова. М.: Изд-во ИП РАН. 2006.
- Шестов Л. Апофеоз беспочвенности. Л.: Изд-во Ленинградского ун-та. 1991.
- Шинкаренко В. Д. Нейротипология культуры. М.: КомКнига, 2005.
- Шишкин М. А. Индивидуальное развитие и естественный отбор // Онтогенез. 1984. Т. 15. №2. С. 115–136.
- Шишкин М. А. Индивидуальное развитие и уроки эволюционизма // Онтогенез. 2006. Т. 37. №3. С. 179–198.
- Шмальгаузен И. И. Организм как целое в индивидуальном и историческом развитии. М.: Наука, 1982.
- Шмелев А. Г., Похилько В. И., Козловская-Тельнова А. Ю. Практикум по экспериментальной психосемантике. Тезаурус личностных черт. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1988.
- Шопенгауэр А. Две основные проблемы этики. Афоризмы житейской мудрости. Минск: ООО Попурри, 1999.
- Шпет Г. Г. Сочинения. М.: Правда, 1989.
- Штурман Д. Городу и миру. О публицистике А. И. Солженицына. Париж-Нью-Йорк: Третья Волна. 1988.
- Шуклин В. В. Мифы русского народа. Екатеринбург: Банк культурной информации, 1995.
- Эльконин Д. Б., Драгунова Т. В. Возрастные и индивидуальные особенности младших подростков. М.: Просвещение, 1967.
- Эпштейн М. Н. Русский язык в свете творческой филологии // Знамя. 2006. №1. С. 192–207.
- Эфроимсон В. П. Родословная альтруизма // Новый мир. 1961. №10. С. 193–214.
- Эфроимсон В. П. Генетика этики и эстетики. СПб.: Талисман, 1995.
- Юнг К. Г. Психология бессознательного. М.: Канон, 1994.
- Юнг К. Г. Критика психоанализа. СПб.: Гуманитарное агентство Академический проект, 2000.
- Юревич А. В. Национальные особенности российской науки // Наукосведение. 2000. №2. С. 9–23.
- Юревич А. В. Социальная психология науки. С-Пб.: Русск. христианск. гуманитарн. ин-т, 2001.

- Юревич А. В. Психология революций // Препринт. гуманитарные исследования. М.: ГУ ВШЭ, 2007. С. 1–30.
- Юревич А. В. Нравственное состояние современного российского общества. Психологический журнал. 2009. Т. 30. № 3.
- Юркевич В. С. Саморегуляция как фактор общей одаренности // Проблемы дифференциальной психофизиологии. М.: Наука, 1972. С. 233–249.
- Юрков С. Е. Под знаком гротеска: антиповедение в русской культуре (XI – начало XX в.). СПб.: Летний сад, 2003.
- Ядов В. А. Современная теоретическая социология как концептуальная база исследования российских трансформаций. СПб., 2006.
- Яковлев А. А. Предисловие // Сумерки богов. М.: Изд-во политической литературы, 1990. С. 5–16.
- Якубович М. П. Письмо Генеральному прокурору СССР о процессе меньшевиков в 1931 г. // Антология самиздата. Неподцензурная литература в СССР. 1950–1980-е. Т. 2. до 1966–1973 года. М.: Международный институт гуманитарно-политических исследований, 2005. С. 120–126.
- Ярошевский М. Я. Л. С. Выготский: в поисках новой психологии. СПб.: Изд-во Международного фонда истории науки, 1993.
- Ярошевский М. Я. Наука о поведении: русский путь. М.: Воронеж: МОДЭК, 1996.
- Abric J.-C. A Theoretical and experimental approach to the study of social representations in a situation of interaction // *Social Representations* / Eds. R. M. Farr, S. Moscovici. Cambridge: Cambridge University Press, 1984. P. 169–184.
- Abric J.-C. Central system, peripheral system: their functions and roles in the dynamic of social representations // *Papers on Social Representations*. 1993. V. 2. C. 75–78.
- Adolphs R. The neurobiology of social cognition // *Current Opinion in Neurobiology*. 2001. V. 11. P. 231–239.
- Agnati L. F., Agnati A., Mora F., Fuxe K. Does the human brain have unique genetically determined networks coding logical and ethical principles and aesthetics? From Plato to novel mirror networks // *Brain Research Reviews*. 2007. V. 55. P. 68–77.
- Ahuvia A. C. Individualism/collectivism and cultures of happiness: a theoretical conjecture on the relationship between consumption, culture and subjective well-being at the national level // *Journal of Happiness Studies*. 2002. V. 3. P. 23–36.
- Alexandrov Y. I. Psychophysiological regularities of the dynamics of individual experience and the «stream of consciousness» // *Neuronal bases and psychological aspects of consciousness* / Eds. C. Teddei-Ferretti, C. Musio. Singapore, N. Y., London, Hong-Kong: World Scientific, 1999a. P. 201–219.
- Alexandrov Y. I. Comparative description of consciousness and emotions in the framework of systemic understanding of behavioral continuum and individual development // *Neuronal bases and psychological aspects of consciousness* / Eds. C. Teddei-Ferretti, C. Musio. Singapore, N. Y., London, Hong-Kong: World Scientific, 1999b. P. 220–235.
- Alexandrov Y. I. On the way towards neuroculturology: From the neuronal specializations through the structure of subjective world to the structure of culture and back again // *Proceeding of the International symposium «Perils and prospects of the new brain sciences»*. Stockholm, 2001. P. 36–38.
- Alexandrov Y. I. Neuronal specializations, emotion and consciousness within culture // *Toward a science of consciousness*. Tucson 2002. Research Abstracts, Arizona: University of Arizona, 2002. P. 157–158.
- Alexandrov L. I., Alexandrov Y. I. Changes of auditory-evoked potentials in response to behaviorally meaningful tones induced by acute ethanol intake in altricial nestlings at the stage of formation of natural behavior // *Alcohol*. 1993. V. 10. P. 213–217.
- Alexandrov Y. I., Grinchenko Y. V., Laukka S., Järvilehto T., Maz V. N., Svetlaev I. A. Acute effect of ethanol on the pattern of behavioral specialization of neurons in the limbic cortex of the freely moving rabbit // *Acta Physiol. Scand.* 1990. V. 140. P. 257–268.
- Alexandrov Y. I., Grinchenko Y. V., Laukka S., Järvilehto T., Maz V. N., Korpuseva A. V. Effect of ethanol on hippocampal neurons depends on their behavioral specialization // *Acta Physiol. Scand.* 1993. V. 149. P. 429–435.
- Alexandrov Y. I., Sams M., Lavikainen J., Naatanen R., Reinikainen K. Differential effects of alcohol on the cortical processing of foreign and native language // *International Journal of Psychophysiology*. 1998. V. 28. P. 1–10.
- Alexandrov Y. I., Grechenko T. N., Gavrilov V. V., Gorkin A. G., Shevchenko D. G., Grinchenko Y. V., Aleksandrov I. O., Maksimova N. E., Bezdenezhnych B. N., Bodunov M. V. Formation and realization of individual experience: a psychophysiological approach // *Conceptual advances in brain research*. Vol. 2. Conceptual advances in Russian neuroscience: Complex brain functions / Eds. R. Miller, A. M. Ivanitsky, P. V. Balaban. Amsterdam: Harwood Academic Publishers, 2000. P. 181–200.
- Alexandrov Y. I., Järvilehto T. Activity versus reactivity in psychology and neurophysiology // *Ecological Psychology*. 1993. V. 5. P. 85–103.
- Alexandrov Y. I., Sams M. E. Emotion and consciousness: Ends of a continuum // *Cognitive Brain Research*. 2005. V. 25. P. 387–405.
- Alexandrov Y. I., Klucharev V., Sams M. Effect of emotional context in auditory-cortex processing // *International Journal of Psychophysiology*. 2007. V. 65. P. 261–271.
- Allilueva S. Only one year. New York: Harper & Row, 1969.
- D'Andrade R. A cognitivist's view of the units debate in cultural anthropology // *Cross-Cultural Research*. 2001. V. 35. P. 242–257.
- Asch S. E., Zuckier H. Thinking about person // *Personality and Social Psychology*. 1984. V. 46. P. 1230–1240.
- Anokhin P. K. Biology and neurophysiology of conditioned reflex and its role in adaptive behavior. Oxford: Pergamon Press, 1973.
- Archavsky Y. I. When did Mozart become a Mozart? Neurophysiological insight into behavioral genetics // *Brain and Mind*. 2003a. V. 4. P. 327–339.
- Archavsky Y. I. Cellular and network properties in the functioning of the nervous system: from central pattern generators to cognition // *Brain Res. Reviews*. 2003b. V. 41. P. 229–267.

- Ashmore R., Tuvia M. Sex stereotypes and implicit personality theory: I. A. personality description approach to the assessment of sex stereotypes // *Sex Roles*. 1980. V. 6. P. 501–518.
- Averill J. R. On the paucity of positive emotions // *Advances in the study of communication and affect* / Eds. K. R. Blankstein, P. Pliner, J. Polivy. V. 6. Assessment and modification of emotional behavior. New York, London: Plenum Press, 1980. P. 7–14.
- Aviezer N. In the beginning... Biblical creation and science. USA: Ktav Publishing House, 1990.
- Azuma H., Kashiwagi K. Descriptors for an intelligent person: A Japanese study // *Japanese Psychological Research*. 1987. V. 29. P. 17–26.
- Balaban P. M., Maksimova O. A. Positive and negative brain zones in the snail // *European Journal of Neuroscience*. 1993. V. 5. P. 768–774.
- Baldwin J. M. The individual and society or psychology and sociology. Boston.: Richard G. Badger, 1911.
- Barensten K. B., Trettvik J. An activity theory approach to affordance // *ACM International Conference Proceeding Series; Proceedings of the second Nordic conference on Human-computer interaction Aarhus, Denmark, 2002*. V. 31. P. 51–60.
- Bargh J. A., Ferguson M. J. Beyond behaviorism: on the automaticity of higher mental processes // *Psychological Bulletin*. 2000. V. 126. P. 925–945.
- Barlow H. B. Single units and sensation: a neuron doctrine for perceptual psychology? // *Perception*. 1972. V. 1. P. 371–394.
- Barreiro L. B., Laval G., Quach H., Patin E., Quintana-Murci L. Natural selection has driven population differentiation in modern humans // *Nature Genetics*. 2008. V. 40. P. 340–345.
- Barrett L. F., Lindquist K. A., Gendron M. Language as context for the perception of emotion // *Trends in Cognitive Sciences*. 2007. V. 11. P. 327–332.
- Bates E., Thal D., Janowsky J. Early language development and its neural correlates // *Handbook of neuropsychology*. V. 7: Child neuropsychology / Eds. I. Rapin, S. Segalowitz. Amsterdam: Elsevier, 1992. P. 69–110.
- Bates E., Dale P. S., Thal D. Individual differences and their implications for theories of language development // *Handbook of Child Language*. Oxford: Basil Blackwell, 1995. P. 96–151.
- Bechara A., Damasio H., Tranel D., Damasio A. R. Deciding advantageously before knowing the advantageous strategy // *Science*. 1997. V. 275. P. 1293–1295.
- Belk S., Snell W. Beliefs about women: Components and correlates // *Personality and Social Psychology Bulletin*. 1986. V. 12. P. 403–413.
- Beller S., Bender A. The limits of counting: numerical cognition between evolution and culture // *Science*. 2008. V. 319. P. 213–215.
- Bereiter C., Scardamalia M. Rethinking learning // *The Handbook of education and human development: New models of learning, teaching and schooling* / Eds. D. R. Olson, N. Torrance. Cambridge, MA: Basil Blackwell, 1996. P. 483–513.
- Berntson G. G., Boysen S. T., Cacioppo J. H. Neurobehavioral organization and the cardinal principle of evaluative bivalence // *Annals of The New York Academy of Sciences*. 1993. V. 702. P. 75–102.

- Berry J. W. Toward a universal psychology of cognitive competence // *International Journal of Psychology*. 1984. V. 19. P. 335–361.
- Biema D. Van. God vs. Science. A spirited debate between atheist biologist Richard Dawkins and Christian geneticist Francis Collins // *Time*. 2006. November, 13.
- Blackmore S. Why we need memetics // *Behavioral and Brain Sciences*. 2006. V. 29. P. 349–350.
- Block N. On a confusion about a function of consciousness // *Behavioral and Brain Sciences*. 1995. V. 18. P. 227–287.
- Bloom H. Instant evolution. The influence of the city on human genes: a speculative case // *New Ideas in Psychology*. 2001. V. 19. P. 203–220.
- Bloom P., Jarudi I. The Chomsky of morality? // *Nature*. 2006. V. 443. P. 909–910.
- Boroditsky L. Does language shape thought? Mandarin and English speakers' conceptions of time // *Cognitive Psychology*. 2001. V. 43. P. 1–22.
- Boroditsky L. Plenary lecture // *The Third International Conference on Cognitive Science, Moscow, 20–25.06, 2008*.
- Borsboom D. Evolutionary theory and the riddle of the universe // *Behavioral and Brain Sciences*. 2006. V. 29. P. 351.
- Brenedict S., Kuhla J. Nurses' participation in the euthanasia programs of nazi Germany // *Western Journal of Nursing Research*. 1999. V. 21. P. 246–263.
- Broverman I., Vogel S., Broverman D., Clarkson F., Rosenkrants P. Sex-role stereotypes: a current appraisal // *Journal of Social Issues*. 1972. V. 28. P. 59–78.
- Buck R. Subjective, expressive, and peripheral bodily components of emotion // *Handbook of social psychophysiology* / Eds H. Wagner, A. Manstead. Manchester: John Wiley and Sons Ltd., 1989. P. 199–221.
- Cacioppo J. T., Gardner W. L. Emotion // *Annual Review of Psychology*. 1999. V. 50. P. 191–214.
- Cambridge international dictionary of English. Cambridge: Cambridge University Press. 1995.
- Campbell J. I. D., Xue Q. Cognitive arithmetic across cultures // *Journal of Experimental Psychology: General*. 2001. V. 130. P. 299–315.
- Candy L., Edmonds E. A. Introducing creativity to cognition: Proceedings // *Third creativity and cognition conference*. Loughborough University: ACM Press, 1999. P. 3–6.
- Cantlon J. F., Brannon E. M. Adding up the effects of cultural experience on the brain // *Trends in Cognitive Science*. 2007. V. 11. P. 1–4.
- Caro T. M., Hauser M. D. Is there teaching in nonhuman animals // *Quarterly Review of Biology*. 1992. V. 67. P. 151–174.
- Carroll M., Stutterheim C. von. Typology and information organisation: perspective taking and language-specific effects in the construal of events // *Typology and Second Language Acquisition* / Ed. A. Ramat. Berlin: de Gruyter, 2003. P. 365–402.
- Casebeer W. D. Moral cognition and its neural constituents // *Nature Review of Neuroscience*. 2003. V. 4. P. 841–851.
- Cattell R. B. Abilities: their structure, growth and action. Boston: Houghton Mifflin company, 1971.

- Chen J.-Y. Chinese and English speakers think about time differently? Failure of replicating Boroditsky (2001) // *Cognition*. 2007. V. 104. P. 427–436.
- Chomsky N. *Language and Mind*. NY: Harcourt Brace Jovanovich. Inc., 1968.
- Churchland P. S. *Neurophilosophy. Toward a unified science of the mind-brain*. London: A Bradford Book, 1986.
- Clark E. V. How language acquisition builds on cognitive development // *Trends in Cognitive Sciences*. 2004. V. 8. P. 472–478.
- Claeys W., Timmers L. Some instantiations of the informational negativity effect: positive – negative asymmetry in category breadth and in estimated meaning similarity of trait adjectives // *European Journal of Social Psychology*. 1993. V. 23. P. 111–129
- Clore G. L., Schwarz N., Conway M. Affective causes and consequences of social information processing // *Handbook of social cognition*. V. 1. Basic processes / Eds. S. W. Jr. Wyer, T. K. Srull. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates. Inc., Publishers, 1994. P. 323–417.
- Corina D. P., Vaid J., Bellugi U. The linguistic basis of left hemisphere specialization // *Science*. 1992. V. 255. P. 1258–1260.
- Crabbe J. C., Wahlsten D., Dudek B. C. Genetics of mouse behavior: interactions with laboratory environment // *Science*. 1999. V. 284. P. 1670–1672.
- Cranach M. von. The killing of psychiatric patients in Nazi Germany between 1939–1945 // *Isr. J. Psychiatry Relat. Sci*. 2003. V. 40. P. 8–18.
- Cummins D. D., Cummins R. Biological preparedness and evolutionary explanation // *Cognition*. 1999. V. 73. B37-B53.
- Cunningham W. A., Ryae C. L., Johnson M. K. Implicit and explicit evaluation: fMRI correlates of valence, emotional intensity, and control in the processing of attitudes // *Journal of Cognitive Neuroscience*. 2004. V. 16. P. 1717–1729.
- Csányi V. How genetics and learning make a fish an individual: a case study on the paradise fish // *Perspectives in Ethology*. Vol. 10. Behaviour and Evolution / Eds. P. P. G. Bateson, P. H. Klopfer, N. S. Thompson. New York: Plenum Press, 1993. P. 1–53.
- Csibra G. Teachers in the wild // *Trends in Cognitive Sciences*. 2007. V. 11. P. 95–96.
- Damasio A. R. *Descartes' error: emotion, reason, and the human brain*. New York: Grosset/Putnam Book, 1994.
- Damasio A. R. Emotion in the perspective of an integrated nervous system // *Brain Research Reviews*. 1998. V. 26. P. 83–86.
- Damasio A. R. *The feeling of what happens*. London: Vintage, 2000.
- Darwin C. *The Descent of Man*. London: Murray, 1874.
- Das J. P. Eastern views of intelligence // *Encyclopedia of human intelligence* / Ed. R. Sternberg. New York: Macmillan, 1994. P. 387–391.
- Dasen P. R., Dembele B., Ettien K., Kabran K., Kamagate D., Koffi K. A., N'Guessan A. N'glouele, l'intelligence chez les Baoule // *Archives de Psychologie*. 1985. V. 53. P. 293–324.
- Davidson R. J. Cognitive neuroscience needs affective neuroscience (and vice versa) // *Brain and Cognition*. 2000. V. 49. P. 89–92.

- Davidson R. J., Ekman P., Friesen W. V., Saron C. D., Senulis J. A. Approach-withdrawal and cerebral asymmetry: emotional expression and brain physiology // *Journal of Personality and Social Psychology*. 1990. V. 58. P. 330–341.
- Davies M. Thinking persons and cognitive science // *AI and Society*. 1990. V. 4. P. 39–50.
- Dawkins R. *The extended phenotype*. Oxford: Oxford University Press, 1982.
- Dawkins R. *The God delusion*. Berkshire: Black Swan, 2007.
- Day R. L., Laland K. N., Odling-Smee J. Rethinking adaptation. The niche-construction perspective // *Persp. Biol. Med*. 2003. V. 46. P. 80–95.
- Deaux K. From individual differences to social categories. Analysis of a decade's research on gender // *American Psychologist*. 1984. V. 39. P. 105–116.
- Dehaene-Lambertz G., Dehaene S., Hertz-Pannier L. Functional neuroimaging of speech perception in infants // *Science*. 2002. V. 298. P. 2013–215.
- Dehaene S., Naccache L. Towards a cognitive neuroscience of consciousness: basic evidence and a workspace framework // *Cognition*. 2001. V. 79. P. 1–37.
- Dehaene S., Izard V., Pica P., Spelke E. Core knowledge in an Amazonian indigene group // *Science*. 2006. V. 311. P. 381–384.
- Dejean A., Solano P. J., Ayrolest J., Corbara B., Orivel J. Arboreal ants build traps to capture prey // *Nature*. 2005. V. 434. P. 973.
- Delgado J. M. R. *Emotions*. Iowa: WM. C. Brown Company Publishers, 1966.
- Dennett D. C. *Consciousness explained*. Penguin Books: London, 1993.
- Desgranges B., Baron J.-C., de la Sayette V., Petit-Taboue M.-Ch., Benali K., Landeau B., Lechevalier B., Eustache F. The neural substrates of memory systems impairment in Alzheimer's disease. A PET study of resting brain glucose utilization // *Brain*. 1998. V. 121. P. 611–631.
- Sousa R. de. Emotion // *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Spring 2003 Edition) / Ed. E. N. Zalta. <http://plato.stanford.edu/archives/spr2003/entries/emotion>.
- Dennett D. C. *Consciousness explained*. Penguin Books: London, 1993.
- Dennett D. The evolution of culture // Charles Simonyi Lecture at Oxford University. February, 17. 1999. [www.feedmag.com/essay/es1951lofi.html](http://www.feedmag.com/essay/es1951lofi.html).
- Dennett D., McKay R. A continuum of mindfulness // *Behavioral and Brain Sciences*. 2006. V. 29. P. 353–354.
- Destructive emotions. How can we overcome them? A scientific dialogue with the Dalai Lama / Narrated by D. Goleman. New York: Bantam Bell, 2003.
- Diamond J. Unwritten knowledge // *Nature*. 2001. V. 410. P. 521.
- Diener E., Oishi S. Are Scandinavians happier than Asians? Issues in comparing nations on subjective well-being // *Asian economic and political issues: Vol. 10* / Ed. F. Columbus. NY: Nova Science, 2004. P. 1–25.
- Doise W. *Levels of explanation in social psychology*. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.
- Dolan R. J. Emotion, cognition, and behavior // *Science*. 2002. V. 298. P. 1191–1194.
- Donald M. Précis of Origins of the modern mind: Three stages in the evolution of culture and cognition // *Behavior and Brain Sciences*. 1993. V. 16. P. 737–791.

- Donald M. The central role of culture in cognitive evolution: a reflection on the myth of the «isolated mind» // Culture, thought, and development / Eds. L. P. Nucci, G. Saxe, E. Turiel. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., 2000. P. 19–38.
- Douglas-Hamilton I., Bhalla S., Wittemyer G., Vollrath F. Behavioural reactions of elephants towards a dying and deceased matriarch // Applied Animal Behaviour Science. 2006. V. 100. P. 87–102.
- Dugatkin L. A. Cooperation in animals: An evolutionary overview // Biology and Philosophy. 2002. V. 17. P. 459–476.
- Dupoux E., Jacob P. Universal moral grammar: a critical appraisal // Trends in Cognitive Sciences. 2007. V. 11. P. 373–377.
- Dwyer S., Hauser M. D. Dupoux and Jacob's moral instincts: throwing out the baby, the bathwater and the bathtub // Trends in Cognitive Sciences. 2008. V. 12. P. 1–2.
- Eccles J. C. The neurophysiological basis of mind. The principles of neurophysiology. Oxford: Oxford University Press, 1953.
- Eccles J. C. Evolution of consciousness // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 1992. V. 89. P. 7320–7324.
- Edelman G. M. Neural Darwinism: The theory of neuronal group selection. N. Y.: Basic, 1987.
- Edelman G. M. The remembered present. A biological theory of consciousness. N. Y.: Basic Books, 1989.
- Eder K. The social construction of Nature. London.: Sage, 1996.
- Eisenberg N. Emotion, regulation, and moral development // Annual Review of Psychology. 2000. V. 51. P. 665–697.
- Elbert T., Pantev C., Wienbruch C., Rockstroh B., Taub, E. Increased cortical representation of the fingers of the left hand in string players // Science. 1995. V. 270. P. 305–307.
- Ellis R. D., Newton N. The interdependence of consciousness and emotion // Consciousness and Emotion. 2000. V. 1. P. 1–10.
- Engel K. A., Fries P., Singer W. Dynamic predictions: oscillations and synchrony in top-down processing // Nature Review of Neuroscience. 2001. V. 2. P. 704–716.
- Erk S., Martin S., Walter H. Emotional context during encoding of neutral items modulates brain activation not only during encoding but also during recognition // NeuroImage. 2005. V. 26. P. 829–838.
- Fazio R. H. Multiple processes by which attitudes guide behavior. The MODE model as an integrative framework // Advances in experimental social psychology / Ed. M. P. Zanna. New York: Academic Press, 1990. V. 23. P. 75–109.
- Fehr E., Gächter S. Altruistic punishment in humans. Nature. 2002. V. 415. P. 137–140.
- Feingold A. Cognitive gender differences are disappearing // American Psychologist. 1988. V. 43. P. 95–103.
- Feldman H., Csizentmihalyi M., Gardner H. Changing the world: a framework for the study of creativity. Westport, CT: Praeger, 1994.
- Felson R., Trudeau L. Gender differences in mathematics performance // Social Psychology Quarterly. 1991. V. 54. P. 113–126.
- Ferguson M. J., Bargh J. A. How social perception can automatically influence behavior // Trends in Cognitive Sciences. 2004. V. 8. P. 33–39.
- Fisher S. E. Tangled webs: tracing the connections between genes and cognition // Cognition. 2006. V. 101. P. 270–297.
- Fitzgerald J., Mellor S. How do people think about intelligence? // Multivariate Behavioral Research. 1988. V. 23. P. 143–157.
- Fivush R., Gray J. T., Fromhoff F. A. Two-years-olds talk about the past // Cognitive Development. 1987. V. 2. P. 393–410.
- Flament C. Consensus, salience and necessity in social representations: Technical note // Papers on Social Representations. 1994. V. 3. P. 97–105.
- Flavell J. H., Draguns J. A microgenetic approach to perception and thought // Psychol. Bulletin. 1957. V. 54. P. 197–217.
- Fodor J. Against Darwinism // Proceedings of EuroCogSci07. The European Cognitive Science Conference 2007 / Eds. S. Vosniadou, D. Kayser, A. Protopapas. Lawrence Erlbaum Associates, 2007. P. 23–28.
- Forgas J. P. What is social about social cognition? // Social cognition: Perspectives on everyday understanding / Ed. J. P. Forgas. N. Y.: Acad. Press, 1981. P. 1–26.
- Fraisse P., Piaget J. Traité de psychologie expérimentale // Motivation, emotion et personnalité. Paris: Presses Universitaires de France, 1963.
- Freeman W. J. Three centuries of category errors in studies of the neural basis of consciousness and intentionality // Neural Network. 1997. V. 10. P. 1175–1183.
- Frijda N. H. Emotion, cognitive structure, and action tendency // Cognition and Emotion. 1987. V. 1. P. 115–143.
- Fry P. S. (ed.) Changing concepts of intelligence and intellectual functioning: current theory and research // International Journal of Psychology. 1984. V. 19. P. 407–434.
- Gabora L. The origin and evolution of culture and creativity // Journal of Memetics: Evolutionary models of information transmission. 1997. V. 1. P. 1–28.
- Gardella J. E. The cost-effectiveness of killing: an overview of Nazi «Euthanasia» // Medical Sentinel. 1999. V. 4. P. 132–135.
- Gauthier I., Skudlarski P., Gore J. C., Anderson A. W. Expertise for cars and birds recruits brain areas involved in face recognition // Nature Neuroscience. 2000. V. 3. P. 191–197.
- Gavin W. J., Blakeley T. J. Russia and America: a philosophical comparison. Development and change of outlook from the 19<sup>th</sup> to the 20<sup>th</sup> century. V. 38. Dordrecht-Holland, Boston-USA: D. Reidel Publishing. Comp., 1976.
- Gay P. Freud, Jews and other Germans. N. Y.: Oxford Univ. Press, 1978.
- Geertz C. The interpretation of cultures: Selected Essayas. N. Y.: Basic Books, 1973.
- Giles J. Born that way // New Scientist. 2008. V. 197. N. 2641. P. 28–31.
- Glazer C. S. Emotion and cognition: research that connects. 2000. <http://ccwf.cc.utexas.edu/~cglazer/ftheory.htm>.
- Glimcher P. W., Rustichini A. Neuroeconomics: the consilience of brain and decision // Science. 2004. V. 306. P. 447–452.
- Goldberg E. The executive brain. Frontal lobes and the civilized mind. Oxford Univ. Press, 2001.

- Goodnow J. J. The nature of intelligent behavior: Questions raised by cross-cultural studies // *The nature of intelligence* / Ed. L. Resnick. Hillsdale: Erlbaum, 1976.
- Goodnow J. J. On being judged 'intelligent' // *International Journal of Psychology*. 1984. V. 19. P. 391–406.
- Goodnow J. J. Using sociology to extend psychological accounts of cognitive development // *Human Development*. 1990. V. 33. P. 81–107.
- Gottlieb G. Ontogenesis of sensory function in birds and mammals // *The biopsychology of development* / Eds E. Tobach, L. A. Aronson, E. Shaw. New York, London: Academic Press, 1971. P. 67–128.
- Gould S. J. *The mismeasure of man*. New York: Norton, 1981.
- Graham L., Kantor J.-M. A comparison of two cultural approaches to mathematics. France and Russia, 1890–1930 // *ISIS. Journal of The History of Science Society*. 2006. V. 97. P. 56–74.
- Grant S. G. Systems biology in neuroscience: bridging genes to cognition // *Current Opinion in Neurobiology*. 2003. V. 13. P. 577–582.
- Gray J. A. The content of consciousness: A neuropsychological conjecture // *Behavior and Brain Sciences*. 1995. V. 18. P. 659–722.
- Greene J. From neural «is» to moral «ought»: what are the moral implications of neuroscientific moral psychology? // *Nature Review of Neuroscience*. 2003. V. 4. P. 847–850.
- Greene J. D., Sommerville R. B., Nystrom L. E., Darley J. M., Cohen J. D. An fMRI investigation of emotional engagement in moral judgement // *Science*. 2001. V. 293. P. 2105–2108.
- McGrew W. C. Culture in nonhuman primates? // *Annual Review of Anthropology*. 1998. V. 27. P. 301–328.
- Gross J. J., Carstensen L. L., Pasupathi M., Tsai J., Skorpen C. G., Hsu A. Y. C. Emotion and aging: experience, expression, and control // *Psychology and Aging*. 1997. V. 12. P. 590–599.
- Guilford J. P. Creativity // *American Psychologist*. 1950. V. 5. P. 444–454.
- Guilford J. P. *The nature of human intelligence*. New York: McGraw-Hill, 1967.
- Guimelli C. Concerning the structure of social representations // *Papers on Social Representations*. 1993. V. 2. P. 85–92.
- Haidt J. The emotional dog and its rational tail: a social intuitionist approach to moral judgment // *Psychol. Review*. 2001. V. 108. P. 814–834.
- Haidt J. The new synthesis in moral psychology // *Science*. 2007. V. 316. P. 998–1002.
- Hameroff S., Nip A., Porter M., Tuszynski J. Conduction pathways in microtubules, biological quantum computation, and consciousness // *Byosystems*. 2002. V. 64. P. 149–168.
- Haun D. B. M., Rapold C. J., Call J., Janzen G., Levinson S. Cognitive cladistics and cultural override in Hominid spatial cognition // *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*. 2006. V. 103. P. 17568–17573.
- Hauser M. D. *Moral minds. How nature designed our universal sense of right and wrong*. New York: Ecco (Harper Collins), 2006a.
- Hauser M. D. The liver and the moral organ // *SCAN (Social Cognitive and Affective Neuroscience Advance Access)*. 2006. V. 1. P. 214–220.
- Hauser M. D., Chomsky N., Fitch W. T. The faculty of language: what is it, who has it, and how did it evolve? // *Science*. 2002. V. 298. P. 1569–1579.
- Hegner R. E., Emlen S. T., Demong N. J. Spatial organization of the white-fronted bee-eater. *Nature*. 1982. V. 298. P. 264–266.
- Henrich J., McElreath R., Barr A., Ensminger J., Barrett C., Boiyantz A., Cardenas J. C., Gurven M., Gwako E., Henrich N., Lesorogol K., Marlowe F., Tracer D., Ziker J. Costly punishment across human societies // *Science*. 2006. V. 312. P. 1767–1770.
- Herrmann B., Thöni Ch., Gächter S. Antisocial punishment across societies // *Science*. 2008. V. 319. P. 1362–1367.
- Hohendorf G., Rotzoll M., Richter P., Eckart W., Mundt C. Victims of Nazi euthanasia, the so-called T4 action. First results of project at the German Federal Archives to disclose records of killed patients // *Nervenarzt*. 2002. V. 73. P. 1065–1074.
- Howarth C. Identity in whose eyes? The role of representations in identity construction // *Journal for the Theory of Social Behavior*. 2002. V. 32. P. 145–162.
- Howarth C., Foster J., Dorrer N. Exploring the potential of the theory of social representations in community-based health research – and vice versa // *Journal of Health Psychology*. 2004. V. 9. P. 229–243.
- Howe M. L., Courage M. L. The emergence and early development of autobiographical memory // *Psychological Review*. 1997. V. 104. P. 499–523.
- Howe M. L., Courage M. L., Shannon C. E. When autobiographical memory begins // *Developmental Review*. 2003. V. 23. P. 471–494.
- Hume D. *An enquiry concerning the principles of morals*. La Salle IL: Open Court, 1960.
- Huss A., Egger M., Hug K., Huwiler-Müntener K., Röösl M. Source of funding and results of studies of health effects of mobile phone use: systematic review of experimental studies // *Environmental Health Perspectives*. 2007. V. 115. P. 1–4.
- Hyde J. S., Fennema E., Lamon S. J. Gender differences in mathematics performance: a meta-analysis // *Psychological Review*. 1990. V. 107. P. 139–155.
- Illes J., Bird S. J. Neuroethics: a modern context for ethics in neuroscience // *Trends in Neuroscience*. 2006. V. 29. P. 511–517.
- Ingold T. *Evolving skills* // *Alas, poor Darwin* / Eds. H. Rose, S. Rose. N. Y.: Harmony Books, 2000. P. 270–297.
- Jablonka E., Lamb M. J. *Epigenetic inheritance and evolution: The Lamarckian dimension*. Oxford: Oxford University Press, 1995.
- Jablonka E., Lamb M. J. The extended evolutionary synthesis – a response to Godfrey-Smith, Haig, and West-Eberhard // *Biol. Philos.* 2007. V. 22. P. 453–472.
- Jackson J. H. *Selected writing of John Hughlings Jackson*. I. & II. N. Y.: Basic Books Inc., 1958.
- Jackson P. L., Meltzoff A. N., Decety J. How do we perceive the pain of others? A window into the neural processes involved in empathy // *NeuroImage*. 2005. V. 24. P. 771–779.

- January D., Kako E. Re-evaluating evidence for linguistic relativity: Replay to Boroditsky (2001) // *Cognition*. 2007. V. 104. P. 417–426.
- Jenkins E. School science: a questionable construct? // *Journal of Curriculum Studies*. 2007. V. 39. P. 265–282.
- John E. R., Easton P., Isenhardt R. Consciousness and cognition may be mediated by multiple independent coherent ensembles // *Consciousness and Cognition*. 1997. V. 6. P. 3–39.
- Karmiloff-Smith A., Plunkett K., Johnson M. H., Elman J. L., Bates E. What does it mean to claim that something is «innate»? Response to Clark, Harris, Lightfoot and Samuels // *Mind and Language*. 1988. V. 13. P. 588–597.
- Kant I. Introduction to the metaphysics of morals // *The Philosophy of law. An exposition of the fundamental principles of jurisprudence as the science of right*. Edinburgh: T. & T. Clark, 1887. P. 20–42.
- Kawai M. Newly-acquired pre-cultural behavior of the natural troop of Japanese monkeys on Koshima Islet // *Primates*. 1965. V. 6. P. 1–30.
- Keats D. Cultural bases of concepts of intelligence: A Chinese versus Australian comparison // *Proceedings of Second Asian Workshop on Child and Adolescent Development*. Bangkok: Behavioral Science Research Institute. 1982. P. 67–75.
- Kelley A. E. Memory and addiction: Shared neural circuitry and molecular mechanism // *Neuron*. 2004. V. 44. P. 161–179.
- Kandel E. R., Pittenger Ch. The past, the future and the biology of memory storage // *Phil. Trans. R. Soc. London. B*. 1999. V. 354. P. 2027–2052.
- Kendrick K. M., Baldwin B. A. The effects of sodium appetite on the responses of cells in the zona incerta to the sight or ingestion of food, salt and water in sheep // *Brain Res*. 1989. V. 492. P. 211–218.
- Khayutin S. N., Dmitrieva L. P., Alexandrov L. I. Maturation of the early species-specific behavior. The role of environmental factors // *Physiology and General Biology Reviews*. 1997. V. 12. P. 1–45.
- Kimball M. M. A new perspective on women's math achievement // *Psychological Bulletin*. 1989. V. 105. P. 198–214.
- Kinlaw C. R., Kurtz-Costes B. The development of children's beliefs about intelligence // *Developmental Reviews*. 2003. V. 23. P. 125–161.
- Kitayama S. Culture and basic psychological processes – toward a system view of culture: Comment on Oyserman et al. // *Psychol. Bulletin*. 2002. V. 128. P. 89–96.
- Kitayama S., Markus H. R. Yin and Yang of the Japanese self. The cultural psychology of personality coherence // *The coherence of personality: social-cognitive bases of consistency, variability and organization* / Eds. D. Cervone, Y. Shoda. NY: Guilford, 1999. P. 242–302.
- Klix F., Lander H. Die strukturanalyse von Denkprozessen als Mittel der Intelligenzdiagnostik // *Intelligenzdiagnostischer Forschung in der DDR*. Berlin, 1967. S. 15–25.
- Klucharev V., Hytönen, Rijpkema M., Smidts A., Fernández G. Reinforcement learning signal predicts social conformity // *Neuron*. 2009. doi: 10.1016 / J. neuron. 2008.11.027.
- Kobayashi C., Glover G. H., Temple E. Cultural and linguistic influence on neuronal bases of «Theory of Mind»: An fMRI study with Japanese bilinguals // *Brain and Language*. 2006. V. 98. P. 210–222.
- Kobayashi C., Glover G. H., Temple E. Cultural and linguistic effects on neural bases of 'Theory of Mind' in American and Japanese children // *Brain Research*. 2007. V. 1164. P. 95–107.
- Kohlberg L. Moral development // *The cognitive-developmental psychology of James Mark Baldwin: Current theory and research in genetic epistemology* / Eds. J. M. Broughton, D. J. Freeman-Moir. Norwood, New Jersey: Albex Publishing Corporation, 1982. P. 277–325.
- Konorski J. Integrative activity of the brain. An interdisciplinary approach. Univ. Chicago Press: Chicago, 1967
- Korey W. The Soviet cage. Anti-Semitism in Russia. New York: The Viking Press, 1973.
- Kovas Y., Plomin R. Generalist genes: implications for the cognitive sciences // *Trends in Cognitive Sciences*. 2006. V. 10. P. 198–397.
- Koyama T., Kato K., Tanaka Z., Mikami T. Anterior cingulate activity during pain-avoidance and reward tasks in monkeys // *Neuroscience Research*. 2001. V. 39. P. 421–430.
- Lahav A., Saltzman E., Schlaug G. Action representation of sound: audiomotor recognition network while listening to newly acquired actions // *The J. of Neurosci*. 2007. V. 27. P. 308–314.
- Lahlou S. Lexical analysis: an approach to social representations of food // *Proceedings of the European interdisciplinary meeting: current research into eating practices. Contributions of social science*. Potsdam. RFA. AGEV publication series. V. 10. Supplementum to Ernharunds-Umschau. 1995. V. 42. 1995. P. 115–120.
- Lahlou S. The propagation of social representations // *Journal for the Theory of Social Behaviour*. 1996. V. 26. P. 157–175.
- Lahlou S. Functional aspects of social representations // *Representations of the social* / Eds. K. Deaux, G. Philogene. Oxford: Blackwell, 2001. P. 131–146.
- Langford D. J., Crager S. E., Shehzad Z., Smith S. B., Sotocinal S. G., Levenstadt J. S., Chanda M. L., Levitin D. J., Mogil J. S. Social modulation of pain as evidence for empathy in mice // *Science*. 2006. V. 312. P. 1967–1970.
- Larsson M. Semantic factors in episodic recognition of common odors in early and late adulthood // *A Review. Chem. Senses*. 1997. V. 22. P. 623–633.
- Laughlin P. R., Hatch, E. C. Silver J. C., Boh L. Groups perform better than the best individuals on letters-to-numbers problems: effects of group size // *Journal of personality and Social Psychology*. 2006. V. 90. P. 644–651.
- Lazarus R. S. Thoughts on the relations between emotion and cognition // *American Psychologist*. 1982. V. 37. P. 1019–1024.
- Leknes S., Tracey I. A common neurobiology for pain and pleasure // *Nature Reviews Neuroscience*. 2008. V. 9. P. 314–320.
- Levine J. M., Resnick L. B. Social foundations of cognition // *Annu. Rev. Psychol*. 1993. V. 44. P. 585–612.

- Levis D. J. Psychobiology of active and inactive memory // *Psychological Bulletin*. 1979. V. 86. P. 1054–1083.
- Lewis M., Brooks-Gunn J. Social cognition and the acquisition of self. N. Y.: Plenum. 1979.
- Lewkowicz D. J. The development of intersensory temporal perception: an epigenetic systems/limitations view // *Psychological Bulletin*. 2000. V. 126. P. 281–308.
- Lewontin R., Levins R. Dialectics and reductionism in ecology // *Synthese*. 1980. V. 43. P. 47–78.
- Lieberman M. D. Intuition: A social cognitive neuroscience approach // *Psychological Bulletin*. 2000. V. 126. P. 109–137.
- Lieberman P. *Eve spoke. Human language and human evolution*. London: Picador, 1998.
- Lickliter R. An ecological approach to behavioral development: insights from comparative psychology // *Ecological psychology*. 2000. V. 14. P. 319–334.
- Lyman R. L. Cultural traits and cultural integration // *Behavioral and Brain Sciences*. 2006. V. 29. P. 357–358.
- DiMaggio P. Culture and cognition // *Ann. Rev. Sociol.* 1997. V. 23. P. 263–287.
- Maguire E. A., Gadian D. G., Johnsrude I. S., Good C. D., Ashburner J., Frackowiak R. S. J., Frith C. D. Navigation-related structural change in the hippocampi of taxi drivers // *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*. 2000. V. 97. P. 4398–4403.
- Mandler J. M. Thought before language // *Trends in Cogn. Sci.* 2004. V. 8. P. 508–513.
- Markova I., Moodie E., Farr R. M., Drozda-Senkowska E., Erös F., Plichtova J., Gaervais M.-C., Hoffmannova J., Mullerova O. Social representations of the individual: a post-Communist perspective // *Eur. J. of Social Psychol.* 1998. V. 28. P. 797–829.
- Mattila R. H., Seeley Th. D. Genetic diversity in honey bee colonies enhances productivity and fitness // *Science*. 2007. V. 317. P. 362–364.
- Maturana H. R. *Biology of cognition* // *Biological Computer Laboratory Research Report n 90*. University of Illinois: Urbana, 1970.
- Maturana R. H., Varela F. J. *The tree of knowledge*. Boston MA: Shambhala, 1987.
- Mayers N. A., Clifton R. K., Clarkson M. G. When they were young: Almost three remember two years ago // *Infant Behavior and Development*. 1987. V. 10. P. 123–132.
- Mayers N. A., Perris E. E., Speaker C. J. Fifty months of memory: a longitudinal study in early childhood // *Memory*. 1994. V. 2. P. 383–415.
- McCauley C., Parmelee C. M., Sperber R. D., Carr T. H. Early extraction of meaning from pictures and its relation to conscious identification // *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance*. 1980. V. 6. P. 265–276.
- McDonough L., Mandler J. M. Very long-term recall in infants: Infantile amnesia reconsidered // *Memory*. 1994. V. 2. P. 339–352.
- Mead G. H. The philosophical basis for ethics // *International Journal of Ethics*. 1908. V. 18. P. 311–323.

- Mead G. H. *Mind, self, and society*. Chicago: Chicago Univ. Press, 1934.
- Meier-Pesti K., Kirchler E., El-Sehity T. The euro as a source of European identity // *Changes of social representations from 1997 to 2002. Euro-Workshop (IAREP)*. Vienna. Austria. 3th-5th of July 2003.
- Mekel-Bobrov N., Sandra L., Gilbert P. D., Evans E. J., Vallender J. R., Anderson R. R., Hudson S. A., Tishkoff Lahn B. T. Ongoing adaptive evolution of ASPM, a brain size determinant in *Homo sapiens* // *Science*. 2005. V. 308. P. 1720–1722.
- Meltzoff A. N. Infant imitation and memory: Nine-month-olds in immediate and deferred tests // *Child Development*. 1988. V. 59. P. 217–225.
- Meltzoff A. N. Towards a developmental cognitive science. The implications of cross-modal matching and imitation for the development of representation and memory in infancy // *The development and neural bases of higher cognitive functions / Annals of the New York Academy of Sciences*. 1990. V. 608. P. 1–37.
- Meltzoff A. N. What infant memory tells us about infantile amnesia: long-term recall and deferred imitation // *J. Exp. Child Psychol.* 1995. V. 59. P. 497–515.
- Meltzoff A. N. Origins of the theory of mind, cognition and communication // *J. Commun. Disord.* 1999. V. 32. P. 251–269.
- Mesoudi A., Whiten A., Laland K. N. Toward a unified science of cultural evolution // *Behavioral and Brain Sciences*. 2006. V. 29. P. 329–383.
- Midgley M. *The ethical primate. Humans, freedom and morality*. London and New York: Routledge, 1994.
- Mikhail J. Universal moral grammar: theory, evidence and the future // *Trends in Cognitive Sciences*. 2007. V. 11. P. 143–152.
- Miller G. Signs of empathy seen in mice // *Science*. 2006. V. 312. P. 1860–1861.
- Miller N. E. Liberalization of basic S-R concepts: extensions to conflict behavior, motivation, and social learning // *Psychology: A study of science. Study 1. Conceptual and systematic. V. 2 General systematic formulations, learning, and special processes / Ed. Koch S.* New York, Toronto, London: McGraw-Hill Book Company, Inc. 1959. P. 196–292.
- Mills D. L., Coffey S. A., Neville H. J. Language acquisition and cerebral specialization in 20-month-old infants // *Journal of Cognitive Neuroscience*. 1993. V. 5. P. 317–334.
- Moliner P. A two-dimensional model of social representations // *European Journal of Social Psychology*. 1995. V. 25. P. 27–40.
- Moll J., de Oliveira-Souza R., Eslinger P. J., Bramati I. E., Mourão-Miranda J., Andreiuolo P. A., Pessoa L. The neural correlates of moral sensitivity: A functional magnetic resonance imaging investigation of basic and moral emotions // *The Journal of Neurosci.* 2002. V. 22. P. 2730–2736.
- Moll J., Zahn R., de Oliveira-Souza R., Krueger F., Grafman J. The neural basis of human moral cognition // *Nature Rev. Neurosci.* 2005. V. 6. P. 799–809.
- Moscovici S. Attitudes and opinions // *Annual. Rev. Psychol.* 1963. V. 14. P. 231–260.
- Moscovici S. Les représentations sociales // *Communication présentée au colloque sur les représentations sociales*. P., 1979.
- Moscovici S. On social representation // *Social cognition: Perspectives on everyday life / Ed. J. P. Forgas*. London: Academic Press, 1981. P. 181–209.

- Moscovici S. Why a theory of social representations? // Representations of the social: Bridging theoretical traditions / Eds. K. Deaux and G. Philogene. Oxford: Blackwell, 2001. P. 8–35.
- Mugny G., Carugati F. Social representations of intelligence. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
- Mulcahy N. J., Call J. Apes save tools for future use // Science. 2006. V. 312. P. 1038–1040.
- Murdock G. P. Culture and society. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1965.
- Murrone J., Gynther M. Implicite theories or halo effect? Conceptions about children's intelligence // Psychological Reports. 1989. V. 65. P. 1187–1193.
- Musacchia G., Sams M., Skoe E., Kraus N. Musicians have enhanced subcortical auditory and audiovisual processing of speech and music // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2007. V. 104. P. 15 894–15 898.
- Nadel L. Multiple memory systems: what and why, an update // Memory systems / Eds. D. L. Schacter, E. Tulving. A Bradford Book, The MIT Press: Cambridge, Massachusetts, London, England, 1994. P. 39–63.
- Nadel L., Moscovitch M. Memory consolidation, retrograde amnesia and the hippocampal complex // Current opinion in Neurobiology. 1997. V. 7. P. 217–227.
- Nader K., Schafe G. E., Le Doux J. E. Fear memories require protein synthesis in the amygdala for reconsolidation after retrieval // Nature. 2000. V. 406. P. 722–726.
- Navon D. Forest before trees: the precedence of global features in visual perception // Cognitive Psychology. 1977. V. 9. P. 353–383.
- Neisser U. The multiplicity of thought // British Journal of Psychology. 1963. V. 54. P. 1–14.
- Neisser U. The concept of intelligence // Human intelligence: perspectives on its theory and measurement / Eds. R. Sternberg, D. K. Detterman. Norwood, NJ: Ablex Publishing Co., 1979. P. 179–189.
- Nelson K., Fivush R. The emergence of autobiographical memory: A social cultural developmental theory // Psychological Review. 2004. V. 111. P. 486–511.
- New Japanese–English Character Dictionary / Ed. J. Halpern. Tokyo: Kenkyusha, 1990.
- Nicholls J. G., Patashnick M., Mettetal G. Conceptions of ability and intelligence // Child Development. 1986. V. 57. P. 636–645.
- Nichols S. Folk concepts and intuitions: from philosophy to cognitive science // Trends in Cognitive Sciences. 2004. V. 8. P. 514–518.
- Nisbett R. E., Peng K., Choi I., Norenzayan A. Culture and systems of thought. Holistic versus analytic cognition // Psychological Review. 2001. V. 108. P. 291–310.
- Nisbett R. E., Miyamoto Y. The influence of culture: holistic versus analytic perception // Trends in Cognitive Sciences. 2005. V. 9. P. 467–473.
- Nishijo H., Yamamoto Y., Ono T., Uwano T., Yamashita J., Yamashita T. Single neuron responses in the monkey anterior cingulate cortex during visual discrimination // Neuroscience Letters. 1997. V. 227. P. 79–82.

- Nosulenko V. N., Barabanshikov V. A., Brushlinsky A. V., Rabardel P. Man-technology interaction: some of Russian approaches // Theoretical Issues in Ergonomics Sciences. 2005. V. 6. P. 359–383.
- Oatley K., Johnson-Laird P. N. Towards a cognitive theory of emotions // Cognition and emotion. 1987. V. 1. P. 29–50.
- Osgood C. E., Suci G. J., Tannenbaum P. H. The measurement of meaning. University of Illinois Press: Urbana, 1957.
- Ost S. Doctors and nurses of death: a case study of eugenically motivated killing under the nazi «euthanasia» programme // Liverpool Law Review. 2006. V. 27. P. 5–30.
- Oxford Universal Dictionary. Oxford: Oxford University Press. 1981.
- Oyserman D., Coon H. M., Kemmelmeier M. Rethinking individualism and collectivism: evaluation of theoretical assumptions and meta-analyses // Psychological Bulletin. 2002. V. 128. P. 3–72.
- Panksepp J. The basics of basic emotion // The Nature of emotion. Fundamental questions / Eds. P. Ekman, R. J. Davidson. New York, Oxford: Oxford University Press, 1994. P. 20–24.
- Panksepp J. The neuro-evolutionary cusp between emotions and cognitions: Implications for understanding consciousness and the emergence of a unified mind science // Consciousness and Emotion. 2000. V. 1. P. 15–54.
- Pantev C., Oostenveld R., Engelien A., Ross B., Roberts L. E., Hoke M. Increased auditory cortical representation in musicians // Nature. 1998. V. 392. P. 811–814.
- Parent S., Shevell M. The «first to perish». Child euthanasia in the Third Reich // Arch. Pediatr. Adolesc. Med., 1998. V. 152. P. 79–86.
- Peeters G., Czapiński J. Positive – negative asymmetry in evaluations: the distinction between affective and informational negativity effects // Stroebe W., Hewstone M. Eds., European Rev. of Social Psychology. Vol. 1. New York: John Wiley and Sons Ltd., 1990. P. 34–60.
- Peng K., Ames D. A., Knowles E. D. Culture and human inference: perspectives from three traditions // Handbook of cross-cultural psychology / Ed. D. Matsumoto. N. Y.: Oxford University Press, 2001. P. 243–263.
- Perner J., Ruffman T. Episodic memory and autoethic consciousness: developmental evidence and a theory of childhood amnesia // J. of Experimental Child Psychology. 1995. V. 59. P. 516–548.
- Perner J., Aichorn M. Theory of mind, language and temporoparietal junction mystery // Trends in Cognitive Sciences. 2008. V. 12. P. 123–126.
- Perris E. E., Mayers N. A., Clifton R. K. Long-term memory for a single infancy experience // Child Development. 1990. V. 61. P. 1796–1807.
- Pessoa L. The neural correlates of moral sensitivity: A functional magnetic resonance imaging investigation of basic and moral emotions // The Journal of Neuroscience. 2002. V. 22. P. 2730–2736.
- Pessoa L. On the relationship between emotion and cognition // Nature Reviews Neuroscience. 2008. V. 9. P. 148–158.
- Petitto L. A., Marentette P. F. Babbling in the manual mode: evidence for the ontogeny of language // Science. 1991. V. 251. P. 1493–1496.
- Petitto L. A., Holowka S., Sergio L. E., Ostry D. Language rhythms in baby hand movements // Nature. 2001. V. 413. P. 35.

- Piaget J. Play, dreams, and imitation in childhood. New York.: Norton, 1951.
- Piaget J. Intellectual evolution from adolescence to adulthood // Human Development. 1972. V. 15. P. 1–12.
- Piattelli-Palmarini M. Evolution, selection and cognition: From “learning” to parameter setting in biology and in the study of language // Cognition. 1989. V. 31. P. 1–44.
- Plutchik R. A general psychoevolutionary theory of emotion // Emotion: Theory, research, and experience. V. 1. Theories of emotion / Eds. R. Plutchik, H. Kellerman. NY: Academic Press, 1980. P. 3–33.
- Popper K. R., Eccles J. C. The Self and it's Brain. Berlin: Springer, 1977.
- Procyk E., Tanaka J. L., Joseph J.-P. Anterior cingulate activity during routine and non-routine sequential behaviors in macaques // Nature Neurosci. 2000. V. 3. P. 502–508.
- Pulvermüller F. Brain mechanisms linking language and action // Nature Rev. Neurosci., 2005. V. 6. P. 576–582.
- Raghunathan R., Pham M. T. All negative moods are not equal: motivational influences of anxiety and sadness on decision making // Organiz. Behav. And Human Processes. 1999. V. 79. P. 56–77.
- Randerson J. Does a hook hurt a fish? The evidence is reeling in // New Scientist. 2003. May 3. P. 15.
- Raudsepp M. Why is it so difficult to understand the theory of social representations? // Culture and Psychology. 2005. V. 11. P. 455–468.
- Rendell L., Whitehead H. Culture in whales and dolphins // Behavioral and Brain Sciences. 2001. V. 24. P. 309–382.
- Ribot Th. Les maladies de la mémoire. Paris.: Félix Alcan? 1901.
- Richerson P. J., Boyd R. Not by genes alone: how culture transformed human evolution. Chicago: University of Chicago Press, 2005.
- Robins R. W. The nature of personality: genes, culture, and national character // Science. 2005. V. 310. P. 62–63.
- Rogoff B. Apprenticeship in thinking: cognitive development in social context. N. Y.: Oxford University Press, 1990.
- Rolls E. T. The brain and emotion. Oxford, New York, Tokyo: Oxford Univ. Press, 1999.
- Rorty R. Born to be good. The New York Times Book Review, 2006, August 27.
- Russel B. An Outline of Philosophy. London: Allen & Unwin, 1927.
- Rust J., Golombok S. Modern psychometrics. London: Routledge, 1989.
- Rutland A. Social representations of Europe amongst 10–16 year old British children // Papers on Social Representations. 1998. V. 7. P. 61–75.
- Rätty H., Snellman L. Does gender make any difference? Common-sense conceptions of intelligence // Social behavior and personality. 1992. V. 20 (1). P. 23–34.
- Samuels R. Innateness in cognitive science // Trends in Cognitive Sciences. 2004. V. 8. P. 136–141.
- Sara S. J. Retrieval and reconsolidation: toward a neurobiology of remembering // Learn. and Mem. 2000. V. 7. P. 73–84.

- Sayen S. Einstein in America. The scientist's conscience in the age of Hitler and Hiroshima. N. Y.: Crown Publishers, Inc., 1985.
- Schacter D. L., Tulving E. What are the memory systems of 1994? // Memory systems / Eds. D. L. Schacter, E. Tulving. A Bradford Book, The MIT Press: Cambridge, Massachusetts, London, England, 1994. P. 1–38.
- Schachter S. The interaction of cognitive and physiological determinants of emotional state // Advances in Experimental Social Psychology / Ed. L. Berkowitz. New York: Academic Press, 1964. P. 49–79
- Schaik C. P. van, Ancrenaz M., Borgen G., Galdikas B., Knott C. D., Singleton I., Suzuki A., Utami S. S., Merrill M. Orangutan cultures and the evolution of material culture // Science. 2003. V. 299. P. 102–105.
- Schneirla T. C. A theoretical consideration of the basis for approach-withdrawal adjustments in behavior // Psychological Bulletin. 1939. V. 37. P. 501–502.
- Schneirla T. C. An evolutionary and developmental theory of biphasic processes underlying approach and withdrawal // Nebraska simposium on motivation. V. 7. / Ed. M. R. Jones. Lincoln: University of Nebraska Press, 1959. P. 1–42.
- Schwarz N. Feelings as information. Informational and motivational functions of affective states // The Handbook of motivation and cognition: Foundations of social behavior. V. 2 / Eds. E. T. Higgins, R. M. Sorrentino. New York: Guilford Press, 1990. P. 527–561.
- Sebanz N., Bekkering H., Knoblich G. Joint action: bodies and minds moving together // Trends in Cognitive Neurosci., 2006. V. 10. P. 70–76.
- Semin G. R. On the relationships between representations of theories in psychology and ordinary language // Current Issues in European Social Psychology / Eds. W. Doise, S. Moscovici. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.
- Sherrington Ch. Man on his nature. The Gifford lectures 1937–8. Edinburgh: Penguin Books, 1955.
- Shvyrkova N. A., Shvyrkov V. B. Visual cortical unit activity during feeding and avoidance behavior // Neurophysiology. 1975. V. 7. P. 82–83.
- Singer T., Seymour B., O'Doherty J., Kaube H., Dolan R. J., Frith C. D. Empathy for pain involves the affective but not sensory components of pain // Science. 2004. V. 303. P. 1157–1162.
- Skinner B. F. Genes and behavior // Evolution of social behavior and integrative levels. The T. C. Schneirla Conference Series. V. 3 / Eds. G. Greenberg, E. Tobach. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers: Hillsdale, New Jersey, 1988. P. 77–83.
- Slobin D. I. (ed.) The ontogenesis of grammar. N. Y.: Academic Press, 1971.
- Smith C. A., Ellsworth P. C. Patterns of cognitive appraisal in emotion // Journal of personality and Social Psychology. 1985. V. 48. P. 813–838.
- Sneddon L. U., Braithwaite V. A., Gentle M. J. Do fishes have nociceptors? Evidence for the evolution of a vertebrate sensory system // Proc. R. Soc. London. 2003. V. 270. P. 1115–1121.
- Solomon R. C. The passions. Garden City, New York: Doubleday Anchor, 1976.
- Sousa R. de. Emotion // The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2003 Edition) / Ed. E. N. Zalta. <http://plato.stanford.edu/archives/spr2003/entries/emotion>.

- Spearmen C.* The abilities of man. N. Y., 1927.
- Squire L. R.* Memory and Brain. New York: Oxfbrd Univ. Press, 1987.
- Steels L.* Experiments on the emergence of human communication // Trends in Cognitive Sciences. 2006. V. 10. P. 347–349.
- Sternberg R. J.* Implicit theories of intelligence, creativity and wisdom // Journal of Personality and Social Psychology. 1985. V. 49. P. 607–627.
- Sternberg R. J.* Cultural explorations of human intelligence around the world // Online readings in psychology and culture (Unit 5, chapter 1) / Eds. W. J. Lonner, D. L. Dinnel, S. A. Hayes, D. N. Sattler. 2002. <http://www.edu/~culture> Center for Cross-Cultural research, Western Washington University, Bellingham, Washington USA.
- Sternberg R., Conway B., Ketron J., Bernstein M.* People's conceptions of intelligence // Journal of Personality and Social Psychology. 1981. V. 41. P. 37–55.
- Sternberg R. J., Grigorenko E. L.* Intelligence and culture: how culture shapes what intelligence means, and the implications for a science of well-being // Philosophical Transactions. Royal Soc. London: Biol. Sciences. 2004. V. 359. P. 1427–1434.
- Stipek D., Graliski J.* Gender differences in children's achievement-related belief and emotional responses to success and failure in mathematics // Journal of Educational Psychology. 1991. V. 83. P. 361–371.
- Strassmann J. E., Zhu Y., Queller D. C.* Altruism and social cheating in the social amoeba *Dictyostelium discoideum* // Nature. 2000. V. 408. P. 965–967.
- Striano T., Reid V. M.* Social cognition in the first year // Trends in Cognitive Sciences. 2006. V. 10. P. 471–476.
- Stutterheim C. von, Nüse R.* Processes of conceptualization in language production: language-specific perspectives and event construal // Linguistics. 2003. V. 41. P. 851–881.
- Stutterheim C. von, Nüse R., Serra J. M.* Cross-linguistic differences in the conceptualisation of events // Acquisition des langues: tendances récentes / Eds. C. Noyau, M. Kihlstedt. Revue Française de Linguistique Appliquée. 2002. V. 2. P. 89–105.
- Tan L. H., Chan A. H. D., Kay P., Khong P., Yip L. K. C., Luke K.-K.* Language affects patterns of brain activation associated with perceptual decision // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2008. V. 105. P. 4004–4009.
- Tang Y., Zhang W., Chen K., Feng Sh., Shen J., Reiman E. M.* Arithmetic processing in the brain shaped by cultures // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2006. V. 103. P. 10 775–10 780.
- Tangney J. P., Stuewig J., Mashek D. J.* Moral emotions and moral behavior // Annual Review of Psychology. 2007. V. 58. P. 345–372.
- Tappan M. B.* Language, culture, and moral development: a Vygotskian perspective // Developmental Review. 1997. V. 17. P. 78–100.
- Terracciano A., Abdel-Khalek A. M., Adam N., Adamovová L. et al.* National character does not reflect mean personality trait levels in 49 cultures // Science. 2005. V. 310. P. 96–100.
- Thompson E., Varela F. J.* Radical embodiment: neural dynamics and consciousness // Trends in Cognitive Science. 2001. V. 5. P. 418–425.
- Thornton Ch.* Creativity and runaway learning. 2003. <http://scholar.google.com/scholar?hl=en&lr=&q=cache:xVPNQSiuv6sJ:www.cogs.susx.ac.uk/users/christ/papers/creativity-as-learning.ps+Thornton+Chris+Creativity+and+runaway+learning>.
- Thurstone L., Thurstone T. G.* Factorial studies of intelligence // Psychometric monographs. 1941. N 2. P. 15–41.
- Tobach E.* Evolutionary aspects of the activity of the organism and its development // Individuals as producers of their own development: A life span perspective / Eds. R. M. Lerner, N. A. Busch-Rossnagel. New York: Academic Press, 1981. P. 37–68.
- Tomasello M.* The human adaptation for culture // Ann. Rev. Anthropology. 1999. V. 28. P. 509–529.
- Tomasello M.* Plenary lecture // The Third International Conference on Cognitive Science, Moscow, 20–25.06. 2008.
- Tononi G., Edelman G. M.* Consciousness and complexity // Science. 1998. V. 282. P. 1846–1851.
- Toomela A.* Culture of science: strange history of the methodological thinking in psychology // Integrative Psychological and Behavioral Science. 2007. V. 41. P. 6–20.
- Tosini D.* Medium as a basic concept of sociology: contributions from systems theory // Social Science Information. 2006. V. 45. P. 539–560.
- Trewavas A.* Aspects of plant intelligence // Annals of Botany. 2003. V. 92. P. 1–20.
- Tsuchiya N., Adolphs R.* Emotion and consciousness. Trends in Cognitive Sciences. 2007. V. 11. P. 158–167.
- Tulving E.* Memory and consciousness // Canadian Psychology. 1985. V. 26. P. 1–12.
- Tulving E.* Episodic memory and common sense: how far apart? // Philosophical Transactions. Royal Soc. London: Biol. Sciences. 2001. V. 356. P. 1505–1515.
- Turkewitz G., Kenny P. A.* The role of developmental limitations of sensory input on sensory/perceptual organization // Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics. 1985. V. 6. P. 302–306.
- Von Uexküll J.* A stroll through the worlds of animals and men // Instinctive behavior. New York: Int. Univ. Press, 1957. P. 5–80.
- Vanderwolf C. H., Kelly M. E., Kraemer P., Streather A.* Are emotion and motivation localized in the limbic system and nucleus accumbens? // Behav. Brain Res. 1988. V. 27. P. 45–58.
- Varmuza S.* Epigenetics and the renaissance of heresy // Genome. 2003. V. 46. P. 963–967.
- Vergès P.* L'Evocation de l'argent: Une methode pour la definition du noyau central d'une representation // Bulletin de Psychologie. 1992. V. XLV. P. 203–209.
- Vernon P. E.* The structure of human abilities. New York: Wiley, 1950.
- Voelklein C., Howarth C.* A review of controversies about social representations theory: A british debate // Culture & Psychology, 2005. V. 11. P. 432–454.
- Vornanen A.* The finnish prototype of an intelligent person // Poster-presentation at the 25<sup>th</sup> International Congress of Psychology, Brussels, 19–24 July, 1992.
- Waal F. de.* Chimpanzee Politics. Johns Hopkins University Press, 1989.

- Waal F. de. Good natured. The origins of right and wrong in humans and other animals. Cambridge, M. A.: Harvard University Press, 1996.
- Waal F. de. Putting the altruism back into altruism: The evolution of empathy // *Annual Review of Psychology*. 2008. V. 59. P. 279–300.
- Wagner W. Description, explanation and method in social representation research // *Papers on Social Representations*. 1995. V. 4. P. 1–21.
- Waldmann M. R. A case for the moral organ // *Science*. 2006. V. 314. P. 57–58.
- Waller B. N. What rationality adds to animal morality // *Biology and Philosophy*. 1997. V. 12. P. 341–356.
- Watson G. Psychology in Germany and Austria // *Psychological Bulletin*. 1934. V. 31. P. 755–776.
- Weaver I. C. G., Cervoni N., Champagne F. A., D'Alessio A. C., Sharma S., Seckl J. R., Dymov S., Szyf M., Meaney M. J. Epigenetic programming by maternal behavior // *Nature Neuroscience*. 2004. V. 7. P. 847–854.
- Wechsler D. The measurement and appraisal at adult intelligence. Baltimore: Williams and Wilkins, 1958.
- Weinryb B. D. Antisemitism in Soviet Russia // *The Jews in Soviet Russia* / Ed. L. Kochan. London, New York, Toronto: Oxford University Press, 1970. P. 288–320.
- Werner H. Comparative psychology of mental development. Science Edition. New York, 1961.
- Werner H. Foreword // Witkin H. A., Dyk R. B., Faterson H. F., Goodenough D. R., Karp S. A. Psychological Differentiation. Studies of development. N. Y., London: John Wiley and Sons, Inc., 1962. P. V–VII.
- Werner H., Kaplan B. The developmental approach to cognition: its relevance to the psychological interpretation of anthropological and ethnolinguistic data // *American Anthropologist*. 1956. V. 58. P. 866–880.
- Wheeler M. A., Stuss D. T., Tulving E. Toward a theory of episodic memory: the frontal lobes and auto-noetic consciousness // *Psychological Bulletin*. 1997. V. 121. P. 331–354.
- White Leslie A. The science of culture. New York: Farrar, Straus and Cudahy, 1949.
- White Leslie A. The concept of culture // *American Anthropologist*. 1959. V. 61. P. 227–251.
- Whitehead H. Cultural selection and genetic diversity in matrilineal whales // *Science*. 1998. V. 282. P. 1708–1711.
- Whiten A., Goodall J., McGrew W. C., Nishida, T., Reynolds V., Sugiyama Y., Tutin C. E. G., Wrangham R. W., Boesch C. Cultures in chimpanzees // *Nature*. 1999. V. 399. P. 682–685.
- Whiten A., Horner V., Waal F. de. Conformity to cultural norms of tool use in Chimpanzees // *Nature*. 2005. V. 437. P. 737–740.
- Whittlesea W. A., Price J. R. Implicit/explicit memory versus analytic/nonanalytic processing: Rethinking the mere exposure effect // *Memory and Cognition*. 2001. V. 29. P. 234–246.
- Williams J., Daws J., Best D., Tilquin C., Wesley F., Bjerke T. Sex-trait stereotypes in France, Germany, and Norway // *Journal of Cross-Cultural Psychology*. 1979. V. 10. P. 133–156.
- Williams J., Giles H., Edwards J., Best L., Daws J. Sex-trait stereotypes in England, Ireland and the United States // *British Journal of Social and Clinical Psychology*. 1977. V. 16. P. 303–309.
- Wilson E. O. Consilience. The unity of knowledge. New York: A. A. Knoff, 1998.
- Winawer J., Witthoft N., Frank M. C., Wu L., Wade A. R., Boroditsky L. Russian blues reveal effects of language on color discrimination // *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*. 2007. V. 104. P. 7780–7785.
- Witkin H. A. A cognitive style approach to cross-cultural research // *International Journal of Psychology*. 1967. V. 2. P. 233–250.
- Witkin H. A., Dyk R. B., Faterson H. F., Goodenough D. R., Karp S. A. Psychological differentiation. Studies of development. N. Y., London: John Wiley and Sons, Inc., 1962.
- Wong N., Lu F. G., Shon S. P., Gaw A. C. Asian and pasific American patient issues in psychiatric residency training programs // *Mental health and people of color. Curriculum development and change* / Ed. J. C. Chunn et al. Washington, D. C.: Howard University Press, 1983. P. 239–265.
- Wolff P., Medin L. D., Pankratz C. Evolution and development of folkbiological knowledge // *Cognition*. 1999. V. 73. P. 177–204.
- Wright R. The moral animal. Evolutionary psychology and everyday life. N. Y.: Vintage Books, 1995.
- Wundt W. Outlines of Psychology. Leipzig: Engelmann, 1897.
- Wyer R. S., Srull T. K. Memory and cognition in its social context. Hillsdale. N. Y.: Erlbaum, 1989.
- Xu F. The role of language in acquiring object kind concepts in infancy // *Cognition*. 2002. V. 85. P. 223–250.
- Yang Sh., Sternberg R. J. Conceptions of intelligence in ancient Chinese philosophy // *Journal of Theoretical and Philosophical Psychology*. 1997a. V. 17. P. 101–119.
- Yang Sh., Sternberg R. J. Taiwanese Chinese people's conceptions of intelligence // *Intelligence*. 1997b. V. 25. P. 21–36.
- Yurevich A. Has 60 years of research in psychology really gone astray? // *Integrative Psychological and Behavioral Science*. 2007. V. 41. P. 21–27.
- Zajonc R. B. Feeling and thinking. Preferences need no inferences // *American Psychologist*. 1980. V. 35. P. 151–175.
- Zavisca J., Hout M. Does money buy happiness in unhappy Russia? Berkeley program in Soviet and post-Soviet studies. <http://repositories.cdlib.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1034&context=iseees/bps>. 2005.

**Научное издание**

Ю.И. Александров, Н.Л. Александрова

**СУБЪЕКТИВНЫЙ ОПЫТ,  
КУЛЬТУРА И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ**

Редактор – *О. В. Шапошникова*

Оригинал-макет и верстка – *С. С. Фёдоров*

Корректор – *И. В. Клочкова*

Лицензия ЛР № 03726 от 12.01.01

Издательство «Институт психологии РАН»

129366, Москва, ул. Ярославская, 13

Тел.: (495) 682-51-29

E-mail: [rio@psychol.ras.ru](mailto:rio@psychol.ras.ru)

[www.ipras.ru](http://www.ipras.ru)

Сдано в набор 25.03.09. Подписано в печать 02.04.09

Формат 60×90/16. Бумага офсетная. Печать офсетная

Гарнитура ГТС СНАРТЕВ. Усл. печ. л. 10. Уч.-изд. л. 18

Тираж 800 экз. Заказ .

Отпечатано с готовых диапозитивов в ППП «Типография „Наука“»

121099, Москва, Шубинский пер., 6